

индекс 84471

ВЗНАМЯ

ISSN 0130-1616

12/2016
декабрь



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

В ы х о д и т с я н в а р я 1 9 3 1 г о д а

с о д е р ж а н и е 12/2016 декабрь

- 3 Виталий Кальпиди. Свердловские стансы. *Стихи*
- 9 Виктор Шендерович. Савельев. *Повесть*
- 52 Марина Бородицкая. кочерга за кушаком. *Стихи*
- 54 Ася Датнова. Оккупанты. *Повесть*
- 90 Денис Безносов. бежево-серый кислород. *Стихи*
- 93 Слава Сергеев. Впечатлительные люди. *Записки времен украинской войны*
- 105 Николай Байтов. некая умная нефть. *Стихи*
- 111 Сергей Каледин. Госпожа удача. *Рассказ*
- 120 Александр Денисенко. Мальвы наломаны. *Стихи*
- 126 Юлия Беломлинская. Лотерейный билет. *Рассказ*
- 134 Олег Хафизов. Райсуд. *Рассказ*

г о д М а н д е л ь ш т а м а

- 139 Павел Нерлер. Осип Мандельштам: рождение и семья

о б р а з м ы с л и

- 170 Дмитрий Иванов. Время Че – XXI век

с ю ж е т с у д ь б ы

- 183 Анатолий Королев. Стена с глазами. *Заметки о злоключениях постмодерна из первых рук*

п е р е у ч е т

- 196 Инна Булкина. Критика.ru. «Торжество обертонов»

р е з о н а н с

- 201 Рената Гальцева. Попутные отклики

н а б л ю д а т е л ь

р е ц е н з и и

- 204 Полина Щекина. — Вадим Демидов. #Яднаш
- 207 Ольга Аникина. — Андрей Пермяков. Темная сторона света
- 209 Елена Сафронова. — Путешествие из Конотопа в Москву.
Мемуары поручика Ржевского
- 211 Иван Стариков. — Уйти. Остаться. Жить. Антология
литературных чтений «Они ушли. Они остались» (2012 – 2016).
*Составление: Б.О. Кутенков, Е.В. Семенова, И.Б. Медведева,
В.В. Коркунов*
- 214 Ксения Приходько. — Георгий Радов. Гречка в сферах
- 217 Сергей Кормилов. — Л.А. Колобаева. От А. Блока до
И. Бродского. О русской литературе XX века
- 221 Марианна Бойко. — Владимир Коркунов. Кимры в тексте

с п е к т а к л ь

- 225 Анаит Григорян. Последний котильон. По мотивам
произведений Бориса Голлера «Сто братьев Бестужевых»,
«Вокруг площади», «Петербургские флейты». – *Учебный
театр «На Моховой» (СПб). Режиссер Юрий Красовский*
- 228 Содержание журнала «Знамя» за 2016 год
- 237 Именной указатель авторов журнала «Знамя»
за 2016 год



Виталий Кальпиди

Свердловские стансы

* * *

Ты что, дурак? Опять расселся тут?
В траве — жучьё. Теплоцентраль. Бродяги.
Метель ментов (они нас заметут).
В ларёк — не видно кто — сгружает фляги.

И этот звук похож на гимн страны,
где воскресают мёртвые со скуки,
чтоб к женщинам подкрасться со спины,
в копну волос по локоть сунув руки.

Спроси: зачем? И я предположу:
так добывают перхоть снегопада, —
она придаст любому миру
погоду рая на просторах ада,

где все сидят на корточках, в грязи,
а мимо них походкою невинной
идёт Мария с плёнками УЗИ,
где чётко виден крестик с пуповиной.

Пока в тебе не выключили свет,
пока ты прожигаешь дыры взглядом
сквозь небеса, которых, кстати, нет
(они лежат разобранные — рядом),

важней тебя то пыль со щёк щегла,
то волосатых рыб ночное бденье,
то женщина, которая легла
плевать мотыльками наслажденья;

то пустота в скафандре воробья
с не северокавказскою горбинкой

Об авторе | Виталий Олегович Кальпиди родился в 1957 году в Челябинске, автор книг стихотворений: «Пласты» (1990), «Аутсайдеры-2» (1990), «Стихотворения» (1993), «Мерцание» (1995), «Ресницы» (1997), «Запахи стыда» (1999), «Хакер» (2001), «Контрафакт» (2010), «В раю отдыхают от Бога» (2014), «Izbrannoe=Избранное» (2015. Премия им. Бажова 2016 г.). Лауреат премий имени Аполлона Григорьева, имени Бориса Пастернака, премии «Москва-Транзит» и др. Главный редактор многотомного издания «Антология современной уральской поэзии» (www.marginaly.ru). Представлены стихи из новой книги «Сосны». Предыдущая публикация в «Знамени» №8, 2011. Живет и работает в Челябинске.

следит за тем, как наблюдаю я
кузнечиков, измученных лезгинкой,

как рыжий Бог на Сталина похож,
особенно когда накинет китель,
как к демону (навряд ли это ложь)
приставлен ангел с опцией — «хранитель».

Смерть — идеально сделанный батут:
подбрасывает вверх людскую серость.
А я, дурак, на нём разлётся тут,
и жизнь моя вокруг меня расселась.

Поэт изобретает немоту,
хотя при этом выглядит нелепо:
мычит с щекотной бабочкой во рту,
пока она его возносит в небо.

* * *

Глянь, нарядившись твоей сединою
я пробежал по двору.
Не представляю, что будет со мною,
если я завтра умру.

Жаль воробьёв, что не выучат идиш
в срок до девятого дня.
Ты состоишь из того, что не видишь
больше на свете меня.

Кто бы ни клацнул в прихожей ключами,
молча лежи на боку.
Я не хотел бы являться ночами,
но не прийти не смогу.

Буду шарахаться, биться о стену,
пыль за комодом жевать,
даже дыханье твоё как измену
жуткую переживать.

И не от вафельной мокрой салфетки
утром следы на щеке, —
просто так мёртвые делают метки,
схожие с меткой Пирке.

Смерть — новогодняя ёлка кривая
лестничной клетки в углу;
людям звонят, и они открывают
с острой гирляндой во рту, —

не дожидаясь, чтоб крика быстрее
лопнули слёз пузыри,
вносят в квартиру кошмар брадобрея
и застревают в двери.

Смерть — это самое раннее детство
вечности тёплой, как рот,

вот бы попробовать не отсидеться,
а перейти её вброд.

Ну, а с изнанки куда интересней:
только усядется грунт,
каждый из мёртвых захочет — воскреснет
сроком на сорок секунд.

Я их потрачу на гибкую вичку,
чтоб, как мальчишка-пастух,
в тополь (полёт загоняя в синичку)
гнать обезумевший пух.

Весь в седине тополиной, отвесной
я пробегу по двору.
Как же ты будешь мне не интересна,
если я завтра умру.

* * *

Смотрел TV. На фразе: «Форрест,
беги...», — мне стало жутко, ведь
так за окошком хрустнул хворост,
что это были пальцы ведьм.

Они в свои играют игры,
с сосны облизывая клей,
чтоб та себе под ногти иглы
могла вогнать... — ан, нет ногтей,

а есть твои сухие руки,
уже артритные на треть,
ты ими утром слой старухи
с лица пытаешься стереть.

Все пары в старости неряхи, —
тем паче мы, когда вдвоём
лежим практически во прахе
и поцелуем губы трём.

А к четырём на кухне сумрак
наступит на седую мышь,
где ты, достав еду из сумок,
не зажигая свет, сидишь.

Скажи, с какого перепуга
ты застаёшь меня врасплох
и, как ребёнка, память в угол
всё время ставишь на горох:

там я с ахматовской молодкой,
стою, как будто под венцом,
наполненный твардовской водкой
и заболоцким холодцом;

там ты у старой водокачки
ревёшь, не открывая рот,

пытаясь, стоя на карачках,
назад произвести аборт.

«Взамен любви, которой нету,
ты нежность вымещал на мне...» —
захочешь крикнуть ближе к лету,
а вот осмелишься — к зиме,

и отопительные трубы
ударят палками в набат,
и за окном оскалит зубы
себя жующий снегопад,

и каждый с собственного края,
спиной друг к другу на кровать
мы ляжем, глаз не закрывая,
чтоб смерть свою не проморгать.

Свердловские стансы

То похвала, то пахлава,
то задом наперёд
скажи сто тысяч раз «халва» —
во рту начнётся мёд.

Я ангелов кормлю вилок
капустным и шепчу:
«Welcome, пернатые, welcome,
я вас поймать хочу...»

Метель в Свердловске — это миф:
здесь просто воздух сед,
но, ватку снега разломив,
кровавый видишь след.

(Я слышал выстрелы в раю,
и смех, и даже дождь,
переходящий в смерть мою,
похожую на дочь).

С коричневым загаром вый
гудит сосновый бор —
не выкорчёвываемый
вегетативный хор.

Торчит глухонемой старик
в тени своих старух.
Чтоб вырвать у него язык, —
схвати за кисти рук.

Он не Харон, хотя не раз
тестировал Исеть,
и знает, что не мы, а нас
разочарует смерть.

(За неуплату отключён
собак осенний лай,
а докрасна нагретый клён
кровит, как самурай).

Я с лысой бабочкой во рту,
не открывая рта,
жену целую на лету
туда, где пустота.

Послушайте: «фьи-фьи...», —
вот так — не в унисон
летят альцгеймеры любви
над парком Паркинсон.
(Шмеля потрогай за лицо,
сорви с него мундир,
он там мохнатее кацо,
усатый, как Шекспир).

Не суйся в жалкий суицид,
не надо полумер.
«Ты должен гибель заслужид», —
сказал бы Агасфер.

О, хорошо на свете всё
«on-line» и даже — «off-»...
Подписано: *бабай Басё,*
и *смерть его* — *Бажов.*

Стихи, посвящённые юному челябинскому поэту, решившему стать революционером

Москва воняет. Пахнет Питер. Пермь
благоухает, почивая в бозе,
где не великолепный Питер Пэн
как рифма — чересчур претенциозен.

И разбодяжив Екатеринбург,
свердловских *нарк* «дошёл»: над ним в кювете
столб отфонарный дробит Микки Рурк
двумя руками, — так он ярче светит.

Не путешествуй! Место знай своё!
Сиди на нём, чтоб появился глянец,
пока не вспыхнет в небе: «Ё-моё,
мы, кажется, *приехали* —



ЛЯБИНСК».

Он уязвим, гремуч, пахуч, пархат,
похож на циркуль, проглотивший штанген,
и всё же умудряется порхать, —
под «Ан» закамуфлированный Ангел.

Пусть для него полоний — полонез,
а колумбарий — клумба, а не зданье,
но он не бес, свалившийся с небес,
а так себе — *небесное* созданье.

Скажи «Брэд Питт» — откликнется питбуль;
тут снег намят, как шарики из хлеба,
накатанные пальцами грязнуль,
практически свисающими с неба.

Для них в земле зарыт аккордеон
с набором чёрных безымянных клавиш,
и горе нам, когда играет он
пространствами южноуральских кладбищ.

Пока мы с беляшами здесь стоим
и дышим производными напалма,
русалками набит Иерусалим
а Вена — бритвами, а Пиза — чем попало.

а Гамсуна всё время лупит Кнут,
а Карфаген разрушен в «саркофаге»,
и пусть кузнечики коленки изогнут,
чтоб не забыть, как выглядит



Постился Блок до смерти, *блокпосты*
принадлежат поэтам:
их языки, как ящериц хвосты, —
отброшены (шевелиются при этом).

И ты, стоящий посреди страны,
её зеро подцвечиваешь красным...
Да будут твои умыслы умны,
а помыслы избыточно прекрасны!

Чтоб сделать выстрел из карандаша,
возьми графит, сдави его до крови,
езжай в Озёрск, придумай УПШ,
и УПШ всегда тебя прикроет.

Челябинск

Виктор Шендерович

Савельев

повесть

*Что-нибудь о загубленной жизни —
У меня невзыскательный вкус.*

С. Гандлевский

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Савельев проснулся оттого, что кто-то рвался снаружи в балконную дверь. Он лежал несколько секунд с оборвавшимся сердцем, прежде чем сумел вспомнить, кто он и где. Отель, Израиль... Как звать этот город? И что он здесь делает?

В чернильной мгле за стеклом чужое море, беснуясь, отгрызало куски пляжа, и дверь ходила ходуном. Спать было невозможно. Оставалось думать, и Савельев покорно лежал в дребезжащем мраке с открытыми глазами. Думать не получалось: страх расплзался, как чернила по промокашке, древний бессмысленный страх. Кто-то ломился в дверь.

Савельев нащупал выключатель, и страх вытеснила внезапная злоба, когда ночник осветил пространство, в котором он лежал. Что за идиотский отель она ему сняла? Какая-то недоделанная кубатура, даром что на море. Что толку в этом море?

Он собрался с силами и пошел на войну с балконной дверью, но войну проиграл: рама начинала биться в падучей, едва он переставал вжимать ее в косяк.

Об авторе | Виктор Анатольевич Шендерович (р. 1958) — прозаик, драматург, публицист. Автор более сорока книг. Лауреат российских премий «Золотой Остап» (1996), «Золотое перо России» (1997), «Журналистика как поступок» (2003). Автор сатирических программ «Куклы» и «Итого», выходивших на телеканале НТВ в девяностые годы. Двукратный лауреат телевизионной премии «Тэффи» (1996, 2000). После ликвидации в России независимого телевидения сотрудничает с радио «Эхо Москвы», радио «Свобода». Лауреат премии Московской Хельсинкской группы в номинации «За защиту прав человека средствами культуры и искусства» (2010). Тексты Виктора Шендеровича переведены на английский, немецкий, французский, персидский, украинский, польский, эстонский и финский языки.

В «Знамени» публикуется с 1998 года. Предыдущая публикация — «Анекдот сильней, чем Геродот» (2013, № 2).

От автора | Во исполнение Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» некоторые слова в этой повести заменены другими словами или точками.

Сэкономили на стеклопакетах, евреи... Савельев оскалился в отчаянной усмешке: ну и что теперь делать, а? Третий час ночи!

Он чувствовал себя идиотом.

Повело, называется, ката на грядки.

Таня эта обнаружилась в фейсбуке месяц назад. «Леонтовская студия, 1986 год...» Студию он помнил, помнил Леонтова — сутулого, в вечном свитере, давящего в пепельнице дешевые папиросы... Вроде бы умер он недавно. Вообще на отшибе доживал, ни слуху ни духу... Но говорили: вроде умер.

Да, Леонтов, кумир молодости. Он вспомнил его каркающий голос, свои стихи, Ленку Стукалову, пожизненный шрам на сердце, и следом, конечно, Гальперина. Вспомнил Элика Шадрова и свою детскую ревность: у того вдруг напечатали подборку в «Новом мире»...

А вот эту Таню помнил нетвердо, осталось только на краешке памяти теплое звуко сочетание — Таня Мельцер — и ощущение, что целовались. Да, целовались, конечно, с кем он там не целовался! У него был табун поклонниц в этой студии, у юного гения, а что он гений, было решено с самого начала. Гений, любимчик и мартовский внесезонный кот в законе.

Четверть века прошла, блин.

Далеко внизу, на краю избитого морем пляжа, в слабом круге одинокого фонаря, пыталась взлететь пальма.

Какого рожна, подумал Савельев. Ностальгия пробила, любви захотелось напоследок... Да, думал он, плавая лбом стекло оконное и успевая изойти тоской оттого, что эта строка не его; да, любви! И ведь успел даже придумать, что она любила его всю жизнь, эта Таня Мельцер! А с чего вдруг женщина после смерти мужа отыскивает друга юности и зовет его приехать?

А еще — ее знакомая, поклонница таланта, узнала об их старой дружбе и ищет встречи с Савельевым: не против ли он поужинать? Когда он был против молодых поклонниц? Вот и рванул навстречу сюжету, на сердечный авось.

А она прислала в аэропорт болтуна-неряху в кипе: «Таню вызвали на работу, она просит прощения, она потом вам позвонит».

От присланного остро пахло потом. Савельев довольно демонстративно приоткрыл окно, но чудака даже не заметил этого и всю дорогу терзал разговорами о литературе: что вы думаете о том, об этом... Дико раздражали Савельева эти расспросы, — главным образом потому, что самого Савельева костлявый в кипе даже не упомянул!

Зато с трепетом спросил про Гальперина: вы с ним знакомы? как он, что? Даже по отчеству назвал врага, аж лицо скрутило у Савельева от этой соли на рану. Он что, справочное бюро?

— А вы меня не узнали? — вдруг улыбнулся водила.

— Признаться, нет, — холодно ответил Савельев.

— Я же в леонтовскую студию приходил, — обрадовал костлявый.

— А-а.

— У меня к вам просьба имеется... — завел он, и Савельева наполнило привычной ненавистью: все вокруг писали стихи и хотели, чтобы он помог их издать! Но энтузиаст хотел другого — поговорить пару часиков, под запись, о леонтовской студии для книги воспоминаний.

Кругом графоманы.

— Двадцать минут, — сухо сказал Савельев. — Завтра, в лобби.

— Где?

— На рецепции!

— А когда?

— Позвоните утром, — оттягивая обузу, сказал Савельев. — У вас же есть мой телефон?

— Да, Таня дала. Но... это... — Бедолага замялся. — Это дорого очень. Может, сейчас договоримся?

Савельев перевел дыхание: раздражение накопило в нем неотвратимо.

— Хорошо. Завтра, в четыре.

— Годидзе! — Неряха аж причмокнул от радости, что провернул свое дельце, и на радостях дал газа. Савельев вцепился в сиденье: водить еще толком не умел дурачок этот, машину дергало все время. Слава богу, хоть довез целым в этот странный отель...

Нетания называется город, вспомнил Савельев, лежа в темноте под грохот балконной двери. Таня — Нетания...

Но что за работа такая, что нельзя снять трубку?

Еле отвязавшись от пахучего мемуариста (поужинать приглашал, дурачок), Савельев добил вечер прогулкой, вернулся в номер и еще час бессмысленно шарил по Интернету, косясь то на айфон, то в фейсбук. Потом Интернет рухнул, и он тоже рухнул в ожесточении в постель, — чтобы проснуться среди ночи с оборвавшимся сердцем.

Кто-то рвался в балконную дверь.

Когда он очнулся, было светло, и дверь потряхивало совсем легонько. Предутренний сон вытек из памяти, оставив по себе непонятную тоску. Савельев нашарил на тумбочке часы и не сразу навел глаза на резкость. Полежал еще, вспоминая сюжет, в который попал, и, заранее раздражаясь, пошел проверять айфон.

Айфон был как айфон; никто в него не звонил.

— Сука, — сказал Савельев и побрел в ванную.

На завтраке его царापнуло то, что смутило еще при заезде: огромный отель был почти пуст и недоделан даже; какие-то смутные румыны ковырялись в углу с розетками, обломки строительного мусора лежали вдоль стен, отсутствующее окно хлопывало полиэтиленом...

Официантка принесла кофе, круассан и липкую коробочку джема, — это был здешний завтрак, и на этом завтраке он был один. А с чего он взял, что будет иначе? Она сказала «у моря», — вот Савельев и подумал, что какой-нибудь «Шератон». Классом ниже его давно не селили.

И почему он вообще согласился, что его селит — она? А вот, поди ж ты, полезло из души гниловатое, сладко-волнующее: женщина платит... Господин приехал! И эта еще, молодая поклонница обещанная... Вот и расковыривай теперь коробочку джема на стройплощадке!

Савельев был зол на себя, но досада еще была готова перейти в лирический сюжет. Надо увидеться, подумал он. Мало ли что у нее случилось вечером, — может, чем-то хорошим сердце и успокоится.

Ему очень хотелось любви. К себе, разумеется, к кому же еще?

Савельев снова набрал ее телефон — безответные гудки.

Он поднял руку и злобно-терпеливо держал ее в воздухе, дожидаясь, пока его заметят. Второй кофе был тут за деньги. Черт с вами, запишите на номер! Только кэш, сказала официантка. Да что ж такое!

Шекелей у него не было. Банкомат в магазине, сказала официантка, магазин на площади. И по-английски, главное, сказала: по-русски тут еще не понимают, Израиль называется!

Искать банкомат Савельеву было лень, — раскопал и показал официантке мятую бумажку в пять евро: возьмете? Поджала губы, кивнула, принесла кофе. Ну, хоть так.

Он велел себе не расстраиваться по мелочам и ни о чем не думать, — авось прояснится само! Берег моря, три свободных дня, худо ли? Но мысль о досужем куске времени отозвалась привычной горечью.

Стихов давно не было.

А ведь были когда-то! Все становилось стихами в те первые московские годы, все перекликалось между собой и возвращалось в мир желчью и нежностью. Он боялся смерти и торопился жить, — оттого и писал взახлеб, и трахался с настойчивостью, изумлявшей Литинститут.

Но смерти не случилось, а случился слух о таланте, оvationи на читках, уважительный отзыв классика — настоящего, битого еще при Сталине... Все это детонировало внезапными новыми временами, когда вдруг стало *можно*, — а он сразу почувствовал эту грань и начал играть на опережение.

Смерть как-то подзабылась, а в будущем открылся нешуточный простор. Юная жилистая худоба, пшеничная челка, серые лермонтовские глаза на скуластом лице: смерть бабам! (Ростом его природа тоже не обделила, Лермонтову делать нечего рядом.)

Дурь вдохновения отпускала свой товар щедро — и спустя четверть века Савельев помнил, каково это, когда сам становишься веной, в которую вставлена волшебная игла! Это было круче секса. В постели оставалось ощущение недостатка, да и сам симулировал, — а когда перло стихами, дописывался до полного освобождения и шатался потом по городу, счастливо опустошенный...

Савельев встал, чуть не расплескав кофе, и вышел наружу. Ветер освежил его, но принес только пустоту. Ни строчки не принесет ему больше никакой ветер, — это Савельев понял давно, а жизни, будто в насмешку, оставалось еще много, вот он и занимал ее разными способами. Этой Таней, например...

Официантка недобро посматривала в сторону Савельева, как будто он сбежит из-за чашки кофе, — ну не дура? Из гордости Савельев постоял на ветру дольше, чем хотелось, и побрел отдавать свои пять евро. И тут, оборвав понапрасну савельевское сердце, заквакал навстречу айфон, оставленный на столике.

Номер был не Танин, московский, неприятно-знакомый. Савельев, брезгуя, не вносил его в телефонную книгу, но глаза все помнили...

Это и «корпоративом» еще не называлось в те годы — просто позвали выступить и посулили сто рублей. Удивляясь такой пруже, юный Савельев поперся на край города почитать стихи... Был успех, просили еще, и он остался у микрофона — и вернулся к столам триумфатором.

Крупного помола человек жестом, как муху, согнал сидевшего напротив — и указал на освободившееся место. Ну, за сто рублей можно и посидеть. И на втором слове оказалось, что детина этот, владелец кооператива, тоже воронежский. Мало сказать: чуть ли не с соседних улиц отправлялись в белокаменную за биографией!

Подставленная для хлопка ладонь, улыбка до мясистых ушей:

— Зёма!

Слова этого Савельев не знал, догадался по звуку: земляк, земля... Слово было армейское, а от армии Савельева бог миловал.

Ляшин же, к чьим берегам прибило в тот день савельевскую жизнь, любил повспоминать про священный долг, пересыпая пахучие сюжеты густым матом. Матом он разговаривал и на другие темы и вообще был плоть от плоти народной. Веселая сила сочилась из земляка, бессмертием пахивало от каждой секунды: вот уж кто не собирался умирать никогда!

«Все под контролем» — было любимое его выражение, и сразу становилось понятно: не врет! Савельева потянуло к Ляшину, как диабетика к коробке с инсулином.

Через пару дней он зашел к новому приятелю в офис и задохнулся от тайного восторга: Ляшин был богат. Кабинет с секретаршей, и какой секретаршей! Массивная мебель, коньяки в шкафах, телевизор в полстены...

Богатство подчиняло Савельева. Никогда он не видел такого, — да и где ему было такое увидеть? Смежные комнаты в хрущевке, вечный стыд безденежья... Ляшин, впрочем, взлетел на свои вершины вообще со дна.

Настоящие вершины были у «зёмы» впереди, что там серванты с коньяками! Многие из шедших на взлет в те годы стали потом частью пищевой цепочки, — многие, только не Ляшин.

Савельев начал захаживать на уютные задворки Земляного вала, находя странное удовольствие в офисном киче, в брутальном взгляде нового приятеля на мир, в грязноватых диалогах под пузатенькую бутылку, о цене которой было стыдно и приятно думать. Играючи принял положение младшего, жизни не знающего: гнилой интеллигент в обучении у народа...

И хотя подчеркнуто валял дурака, изображая приниженность, — приниженность была настоящая, и Савельев смущался, чувствуя это.

Четверть века просвистела в ушах, и почти всех выдуло вон из савельевской жизни, а Ляшин остался. От него звонили, и Савельев знал, зачем звонят, и не снимал трубку.

Савельев расплатился, злобно дождался сдачи еврейскими монетками — и снова вышел на пляж, побитый ночным ураганом.

Море дышало приятным остаточным штормом, и кусок первозданного неба поглядывал на Савельева в дырку меж облаков. Постояв немного с инспекторским видом, он направился на ресепшн, твердо решив добыть Интернет и поработать.

Прорежется эта Мельцер, никуда не денется, а он покамест колонку напишет, вот что! Эссе эдакое, про кризис либерализма. Давненько от него Европа людей не получала...

Савельев взбодрился. Все-таки он не хрен с горы, а важная часть культурного процесса!

Вялая девица на ресепшне даже не извинилась, халдейка, за упавший Интернет. Савельев хотел прочесть ей лекцию о том, что не надо экономить на клиентах, но инглиша не хватало, а тут еще в спину пялилась какая-то тетка. Прилюдно позориться не хотелось, и, сооротив гримасу, Савельев двинулся в сторону номера.

И обернулся на свое имя.

Тетка смотрела уже не из зеркала.

Что это и есть Таня Мельцер, Савельев скорее догадался, чем увидел. Изобразил улыбку: привет. Но обмануть не получилось ни себя, ни ее. Она была некрасива, хоть сейчас и прощайся. Да еще в какой-то нелепой хламиде.

«Какого хрена приперся?» — в тоске подумал Савельев. Ну, целовались. Так ей же восемнадцать лет было!

Но при чем тут возраст. На Савельева смотрела странная женщина. Смотрела — он вздрогнул — почти ненавидящим взглядом. Потом отдернула глаза и заговорила, теребя в руках сумку.

— Прости, вчера не могла: вызвали на работу, забыла телефон...

Она говорила, глядя Савельеву за плечо. Врать эта женщина не умела.

— Ну, хорошо, какая разница, — перебил Савельев, почти не скрывая раздражения. — Здравствуй.

Тетка посмотрела ему в глаза:

— Здравствуй.

И он вспомнил.

Как в потрескавшейся кинохронике, увидел сквер на Поварской, скамейку, худосочную девушку с запрокинутой головой, нежную жилку у глаза... Глаза эти закрылись тогда мгновенно. Поцелуй казался предвестием полной власти, и юный поэт успел прикинуть маршрут до проверенного убежища на чердаке, но ему вышел облом: Таня не пошла. Вторая попытка затянуть девицу в омут тоже не удалась, а третьей он и не делал: целовался уже с другими... Жизнь-то одна!

А Таня Мельцер все приходила на его выступления в леонтовский подвальчик — и смотрела вот этими жалкими глазами из третьего ряда какого-нибудь. Однажды подошла: «Вот. Это тебе».

Это была книга в серой замшевой обложке, отстуканная на «Оптиме» и сшитая под обрез: его стихи. Первая книга! Тираж четыре экземпляра, — так и написала на последнем листе. Недавно выпало на него это рукоделье из книжных завалов...

Жизнь пролетела в мозгу у Савельева и вернулась в лобби отеля, где стояла, глядя на него, некрасивая женщина в хламиде. И девица, не отрываясь, смотрела на них из-за стойки: даже проснулась, дрянь, почуяв сюжет.

— Пойдем куда-нибудь, — сказал Савельев.

Они вышли из отеля и, отворачиваясь от ветра, цугом побрели по улице, — он и некрасивая тетка чуть впереди. Пальмы кивали головами, что-то зная о происходящем.

Пустое кафе на берегу ждало только их.

Савельев заказал салат: он был голоден; Мельцер есть отказалась, закурила, глядя в сторону и лишь иногда бросая на него внимательные взгляды. Было странно, но интересно. Что этот сюжет не про любовь, Савельев уже понял. А про что? И — как насчет обещанной молодой поклонницы? Савельев постеснялся спрашивать сразу, но, в общем... э-э-э...

Незнакомая чужая женщина собиралась с силами, чтобы заговорить. Савельев решил не помогать, наблюдал. Море ходило валами за ее спиной.

— Ну, — весело спросила наконец Таня Мельцер. — Как жизнь?

В неестественно бодром голосе звучал вызов, и он принял его, отрезав без подробностей: жизнь — нормально!

— Ты хотела меня видеть, — напомнил он через несколько секунд.

— Да, — ответила она. — Давно не виделись.

Не виделись они и вправду бог знает сколько лет, но в простых словах Савельеву послышался опасный смысл, и мир вокруг начал заполняться знакомым гулом...

Он помнил, когда это началось, и дорого дал бы, чтобы забыть.

Душа взмывала куда-то — и перед тем как вернуться, успевала увидеть Савельева снаружи.

Потом начались фобии, и панической атаке предшествовал все тот же предательский гул в голове. За Савельевым кто-то следил, и этот кто-то имел право на его жизнь. Савельев не верил в бога, но это был точно не бог. Это была конкуренция, а не власть.

Потом в его жизнь вошли тяжкие сны. Это я, беззвучно кричал он, но никто не верил ему, и все проходили мимо — его женщины, его жена... Пограничник сверял лицо с фотографией и просил пройти куда-то, и обрывалось во сне савельевское сердце: попался! И он просыпался в холодном поту.

И раз за разом сутулый старый поэт из прошлой жизни кашлял, давя в пепельнице папиросу, и всматривался исподлобья... И качал головой: ты не Савельев.

И только Ляшин радостно кричал «зёма!» и хлопал ладонью о ладонь.

И сейчас, в прибрежном кафе на чужом краю света, пока валуны воды шли на него и оседали за спиной малознакомой женщины, — Савельева пробило холодом вдоль хребта: в прошлом расплзалась дыра. Между ним и этой женщиной было что-то важное!

Он быстро глянул в глаза напротив. Ненависти не было там — была печаль, и была тайна. Незнакомая Таня Мельцер пришла рассказать ее и не могла решиться...

— Говори, — прохрипел Савельев. В горле вдруг пересохло. Он вспомнил, как кто-то рвался ночью в балконную дверь.

— Я не знаю, с чего начать, — ответила женщина.

— Начни с чего-нибудь.

Она помолчала, глядя вбок, а потом спросила:

— Как ты себя чувствуешь?

В кармане снова заквакал айфон, и Савельев почти крикнул в раздражении:

— Перестань валять дурака! Говори, зачем пришла!

— Не кричи на меня, — ответила женщина, и он похолодел: ему не показалось. Она смотрела ненавидящими глазами. Айфон продолжал блямкать, вибрируя в кармане и доводя до бешенства. Савельев, не глядя, настиг и задал звонком.

— Зачем — ты — меня — позвала?

— А ты зачем приехал? Довести дело до конца? — Она почти шипела на него, и злые огоньки горели в зеленых глазах. — Расстроен? Ну, извини. Овчинка выделки не стоит, кисло винцо...

— Не говори глупостей! — крикнул Савельев, готовый подписаться под каждым ее словом.

И услышал:

— Я хотела тебя убить.

Он даже не удивился, а спросил только:

— За что?

Женщина не ответила. Она смотрела вбок. Принесли салат; официантка спросила что-то, потом переспросила. «Нет, спасибо», — ответил ей Савельев, так и не поняв, о чем была речь.

Они снова остались одни, и знакомая ему Таня Мельцер, помолчав, сказала:

— Это все неважно. Прости. Не надо было мне приходиться...

Савельев почувствовал вдруг невыносимый голод.

— Я поем, пока ты меня не убила?

Шутка не разрядила ситуации, и он стал запихивать в себя куски еды, впрямь ощущая странное счастье оттого, что жив. Он ел, а она смотрела вбок. Потом Савельев поднял глаза: женщина опять рассматривала его, как будто видела впервые.

— И все-таки, — сказал он с заново оборвавшимся сердцем.

Таня Мельцер покачала головой.

— Не надо. Это мои заморочки. Ты ни при чем. Прости. Правда, не надо. Повидались, и все.

— Хорошо, — сказал он. И осторожно спросил: — Как ты жила?

Внезапная красота осветила лицо женщины, сидевшей напротив. Он не поверил глазам: Таня Мельцер улыбалась.

— Я была счастлива, Олег. Я была счастлива.

Савельев женился на исходе «совка» — на дочери известного московского поэта. Не первого ряда был поэт, но из приличных. Да неважно это! А важно

было, что Ленка Стукалова вышла замуж! И добро бы просто замуж — вышла за Гальперина!

Имя счастливица ранило Савельева в самые потроха.

Гальперина он давно вынюхивал издалека, как зверь вынюхивает зверя крупнее себя. Тот был чуть старше по паспорту и сильно старше по биографии — неполная мореходка, чукотские экспедиции, лечение от запоя и хромая нога в придачу. Шутки про Байрона Гальперин принимал с веселым спокойствием: самоощущением был не обделен.

И вот — Стукалова! Тоненькая, приветливая, недоступная. Единственная. При ней Савельев разом терял свой победительный напор и становился трепещущим мальчиком, но этот ледок так и не растаял...

Громом среди ясного неба стала весть об их свадьбе. И непонятно было даже, где они могли познакомиться! Савельев перестал спать; все ворочался, представляя нежное забытье красавицы в руках умелого соперника... Потом стиснул зубы и решил выбить клин клином.

Юля любила Савельева и была вполне себе хороша (зубы только крупноваты), но если вычесть из комбинации папу-совписа, то, в общем, ничего особенного; это был билет в клуб, и Савельев понимал приоритеты.

Жена поняла их не сразу, а поняв, застыла в иронической гримасе, плохо скрывавшей тоску. Беременность пришлось очень кстати: она переключилась на будущего сына, а Савельев отвалил в собственные сюжеты. Все рухнуло гораздо позже, когда Савельев и думать забыл о жене, а тогда было не до того: он шел наверх, назло тем двоим...

Судьба разворачивалась на зависть миру, ничего не знавшему о скелете в савельевском чулане. Публикации шли десятками, его уже вовсю показывали по телевизору и приглашали в престижные тусовки; гонорис кауза, так сказать, — и самого по себе, но и как представителя касты!

Тесть ему симпатизировал. Потом-то перестал, а вначале — симпатизировал очень. С ним, намертво застрявшим в шестидесятничестве, Савельев был почтительно-ироничен, поняв однажды, что в новом литпроцессе сам значит уже гораздо больше. А вот тещи сторонился: дочернего неравенства она не простила и твердо держала холодноватый тон; даже внук не размягчил обиженного материнского сердца.

Лешка рос смешным и симпатичным, но не от этого колотилось учащенно савельевское сердце, не от этого! Он услышал про себя однажды, что он — безусловный «номер раз» в своем поколении. И хотя говорила это цэдээловская тусовочная тетка, на которую в прочее время было наплевать, Савельев тут же полюбил ее как родную и чуть не переспросил: лучше Гальперина?

Но когда у того вышла подборка в «Знамени», Савельев долго не мог заставить себя открыть журнал: боялся, что стихи понравятся. Потом все-таки прочитал и несколько дней ходил с испорченной душой. Дьявол! Стихи были настоящие...

Он следил за Гальпериним, ревниво ловя встречный интерес, но встречного интереса не было, и это неподдельное равнодушие было уже совершенно невыносимо. Савельева не держали за человека, его не принимали в клуб!

А компания собиралась славная — то в гальперинской квартире на Хорошевке, то на десяти его сотках в Перхушково... Земля слухом наполнилась! Старшие привечали хромого как равного, а Савельев все валандался в ЦДЛ и светился на презентациях (только появилось тогда это слово, вобравшее в себя мечту бывшего советского народа о бесплатном обеде).

Потом какой-то добрый человек перенес с Хорошевки оброненную по его адресу усмешку и слово «штукарь», и в тот вечер Савельев отдал себе, наконец, отчет в том, что ненавидит Гальперина.

Он уже и Стукалову не любил — ненависть забрала все силы.

Существование счастливец отравляло собственные стихи: с ужасом понял Савельев, что соревнуется, примеряет написанное к чужой мерке, все пытается подняться туда, в холодноватое отчаяние гальперинских текстов...

Весть о том, что Стукалова ушла от хромого, пролилась сладким бальзамом на эти раны. Савельев остро захотел подробностей и легко узнал их: Гальперин сам выгнал жену после пьяного скандала. Развязал, значит. Это обрадовало Савельева дополнительно...

С новыми силами он организовал рывок в стратосферу, и через третьи руки улетела за океан книга стихов — к великому нобелиату, с элегантно-дарственной... Савельев затаился в ожидании ответа. Отзыв пришел нескоро, косвенный и небрежный. Говоря прямо, Савельева отшили.

В день, когда он узнал это, его, озлобленного на судьбу, столкнуло на улице со Стукаловой. Она обрадовалась ему, и он вцепился в этот шанс. Он должен был ее трахнуть, должен! Речь шла уже не о любви: Савельев вышел на тропу мести.

Но и мести не получилось: едва он включил интимный регистр, как непроницаемая стена встала перед ним. Отвратительнее же всего было то, что Стукалова, кажется, обо всем догадалась.

— Я люблю другого, — сказала она, беспощадно глядя ему в глаза.

Он ехал потом домой, ненавидя себя, Стукалову, жену с ее зубами... всех, вообще всех! Нет, он не был счастлив. Никогда не был. А Таня Мельцер — была. И улыбалась ему — через минуту после слов «я хотела тебя убить».

Савельев вздрогнул, вернувшись в настоящее: моря не было за ее спиной, все снова поглотила серая пелена.

— Ну, хорошо, — глупо ответил Савельев на сообщение о чужом счастье. За окном хлестало струями ливня и мотало взад-вперед пальмы. — Ну и погодка у вас.

Он вдруг сообразил, что просидит тут бог знает сколько времени: деваться было некуда.

— В феврале всегда так, — ответила Таня.

— Давно ты тут? — спросил Савельев, и странное напряжение снова повисло между ними.

— С девяносто пятого.

Голос ее дрогнул. Все это почему-то имело отношение к его жизни, и Савельев двинулся наугад:

— Расскажи.

— Что? — вздрогнула женщина.

— Расскажи, — настойчиво повторил он.

Она пожала плечами:

— Уехала. С мужем.

— Я его знаю?

Она замолчала и отвела глаза, и в наступившем провале Савельев едва подавил паническую атаку. Бежать! В ливень, куда угодно, только подальше отсюда...

Разговор вернулся в ту же тревожную точку. Женщина подыскивала слова, не решаясь произнести какое-то одно, главное, и в кармане, напоминая о савельевском рабстве, снова отвратительно квакал недодушенный айфон.

Почему он так старался понравиться «зёме»? Савельев боялся думать об этом: жесткая сила давно подчинила его душу...

На ляшинский тридцатник Савельев намарал и исполнил в застолье веселый стишок. Ляшин уже был депутатом; и сам раздался, и кооператив распух в

корпорацию. Десятилетие прошло не напрасно, — «зёма» жил в охотку, чужа и удивляя товарищей по мелкоолигархическому цеху: личная линия парфюма, коневодство...

А еще он — пел. Любил взять в ресторане микрофон и, помахая в такт ручищей, исполнить из Высоцкого. Многим нравилось, да и куда им было деться?

Юбилейный стишок Савельева имел успех, а гуляли в центровом месте, прямо указывавшем на новый статус «зёмы»: одной obsługi шныряло десятка три. Гость был отборный — свой же брат депутат, министры вперемешку с авторитетами да звезды эстрады вприкуску... Савельев знал многих в этом зале, и его знали почти все: поэтическое десятилетие тоже не прошло даром.

Морок подступил внезапно и объял душу целиком. Савельев сидел за столом и в это же время ясно увидел себя вчуже — словно с невидимой телекамеры, облетающей этот небюджетный ад на останкинском кране: не вижу ваших рук! ваши аплодисменты!

Он перекалывал себе на тарелку присмотренный кусок осетрины (осторожно, чтобы легло сбоку от салата) — и ясно видел это общим планом. Слышал гул и посудный звон, смотрел на чью-то жену, что-то говорившую ему, и с ужасной отчетливостью видел шевелящиеся, густо напомаженные губы. В ноздри бил сладкий запах ее духов, и причудливо расчлененный ананас в вазе смотрелся зловещей шуткой...

Савельев извинился и на ломких ногах, в росе холодного пота, пошел в туалет, продолжая видеть себя снаружи.

Две пригоршни холодной воды не помогли: гул продолжался. Он распрямился и с опаской посмотрел в лицо, смотревшее из зеркала. Это лицо было уже почти незнакомо ему.

Выходя, Савельев оглянулся. Тот, в зеркале, смотрел тревожно и продолжал смотреть, когда Савельев закрыл дверь.

Холодный вечерний ветер обнял его с жалостью, — уже не юношу, бывшего поэта, клоуна на чужом пиру. Все еще будет хорошо, сказал он неверными губами. С какой стати? — усмехнулся тот, что жил внутри. С какой стати все должно быть хорошо?

Свиньячья рожа, при серьге и жилете, явившись из темноты, просунула к лицу Савельева узкую пачку. Савельев отпрянул и помотал головой: не курю.

— Помнишь меня? — спросила рожа.

Савельев снова мотнул головой и услышал собственный голос, сказавший: — Нет.

— Да ладно! — всхрюкнув, хохотнула свинья. — Ла-адно! Загорди-ился...

И погрозила Савельеву пальцем.

Этот ужас преследовал потом Савельева. Он пытался выхаркать самую возможность знакомства с этой рожей — и не мог. Самое отвратительное заключалось в том, что рожа, несомненно, была видена раньше, и подлая память безжалостно раскладывала веер вариантов: тусовки, фестивали, сауны...

Как-то закурило Савельева в те годы. Как-то само собой все это с ним случилось.

Жена давно взяла устало-снисходительный тон: лети, дорогой, пособирай пыльцу. С Ляшиным у нее заискрило сразу, и больше Савельев к «зёме» жену не брал — ни на Коста-Браво, ни на дачу...

На даче — государственной, с овальными бирками на мебели — Савельев писал для Ляшина книгу, байки из депутатской жизни. Писал со стыдным удовольствием: литобработка, при тучном гонораре, была анонимной. Сначала он даже не поверил ушам, услышав цифру, решил: перекурил кальяна друг-зёма, попутал нолики...

Но все было на самом деле: и нолики, и личный ляшинский шофер, и милицейская машина сопровождения — с кряканьем и ветерком, вдоль глухой пробки на Кутузовском; просторные недра Рублевки, шашлычок, отменно приготовляемый холуем, откликавшимся на погоняло «Лукич», рассказы «зёмы» о жизни элиты с громкими хохотунчиками и матерком...

Элита обитала тут же, за заборами.

Приобщился Савельев, что говорить. Для того ли разночинцы разохлые топтали сапоги? Да вот, видать, для того.

Потом наступили новые времена, и Ляшин быстро посерьезнел вместе с ними. Боль за Россию появилась в нем, нешуточная тревога об отечестве проступила в раздобревшем теле. Война опять-таки. Чечены, млять, задолбали, мрачно ронял «зёма», но оживление выдавало его.

Мрачность была государственной, а оживление — свое: под вторую чеченскую Ляшин отжал с поляны конкурента, не угадавшего с происхождением. Депутатский запрос в прокуратуру сопровождался статьей о подвигах чечена в лихие девяностые. Не хотелось Савельеву писать ту статью (даже анонимно не хотелось), — но Ляшин, собственно, и не спрашивал: это было поручение.

Савельев закочевряжился для порядку, но «зёма», чисто по-дружески, пошел навстречу, поговорил как с человеком, дал слово, что чеченец — бандит настоящий. Да тот и похож был на бандита!

И Савельев сварганил убойный текст.

Он писал, легко вживаясь в бойкий стиль комсомольской газеты: он почти пародировал! Это было упражнение на тему, утренняя хроматическая гамма профессионала. Разминка пальцев заняла два часа, а денег дала столько, что Савельев еще неделю ходил со шкодливой улыбкой на лице.

Все было неплохо, и только стихи как отрезало, так и с концами. Отчаяние ушло куда-то. А было когда-то первосортное отчаяние, было — горькое, настоящее! Оно давало подъемную силу строке, оно держало строфу на расправленных крыльях любимого четырехстопника с сердечным перебоем цезуры посредке...

Но какие там цезуры! — давно был телеведущим Олег Савельев, ироничным красавцем и колумнистом: кругом говно, а я ромашка... И не раз и не два корежило его от зрительского полу-узнавания: ой, вы же в телевизоре выступаете... ну, в этой передаче, да? еще стихи читаете!

«Вы юморной», — похвалил его однажды незнакомый тинейджер, тормознув скейт, на котором катил по тротуару в незнаемое жесткое будущее. Юморной! Савельев кивнул кислой мордой и побрел прочь, но тут же остановился: прихватило сердце.

Это случилось с ним в первый раз, и он испугался. Все вдруг стало совсем просто и страшно, и женщина в легком платье прошла мимо, успев удивиться отчаянию, застывшему в глазах незнакомца.

Машины в вечерней пробке, подобные похоронной процессии, ползли по Садовому с длинными тенями наискосок, и кто-то строгий смотрел сверху, как стоит на тротуаре сорокалетний Олег Савельев, пытаясь понять: напоследок ему эти тени, это солнце, эта женщина... — или еще дадут пожить?

Его отпустили пожить, — и снова поволокло волоком через какую-то дрянь, и не было сил взять в руки судьбу, и обморок продолжался...

И кто-то продолжал следить за ним.

Савельев выждал, пока доблямкает айфон в кармане куртки, и отключил его, отрезал с шеи проклятый поводок! И поднял глаза на стареющую женщину, нервно давившую в блюдце окурков.

На Таню Мельцер из позабытой леонтовской студии. Не видевшую его четверть века. Уехавшую в Израиль. Овдовевшую. И позвавшую в гости, чтобы убить.

Передумавшую, — хотя это, кстати, еще вопрос.

Савельев вдруг сообразил, что в сумке, которую женщина держит на коленях, может лежать пистолет. Идиотская мелодрама! Смешно и глупо, но погибнуть можно на раз.

— Говори, — сказал Савельев, косясь на неухоженные освободившиеся руки. — Не бойся.

И, подождав, сам ответил на вопрос про покойного мужа.

— Я его знал?

Она кивнула, чуть замешкавшись.

— Расскажи.

— Олег, — сказала Таня и повторила, будто прислушивалась к звуку его имени. — Олег... Я ведь спросила: как ты себя чувствуешь?

— В чем дело? — выговорил Савельев и услышал, как с шумом ходит кровь в его голове. А потом услышал, как из гулкого провала:

— Помнишь пансионат «Березки»?

Его бросило в такой жар, что он даже не успел удивиться: откуда ей известно?

Его привезли в эти «Березки» на пятисотом «мерине» через пустой январский город и смеркающиеся просторы. Стояли веселые девятностые, и за корпоративы платили очень хорошо. Кот-охотник, Савельев отпустил «мерс» — и остался в пансионате до утра.

В баре, куда он поднялся ближе к ночи, обнаружился желанный женский коллектив, уже разогретый шампанским. Их было пятеро, и все из его давешней публики; унылый пьяница за соседним столиком только подчеркивал беспронимательный характер этой новогодней лотереи.

Савельева, разумеется, позвали пересесть, и он пересел и начал осматриваться.

Толстуха в углу была совсем никакая, гранд-дама с начесом отпадала по возрасту и парткомовским повадкам; еще две были в приятной бальзаковской стадии, причем одна приступила к атаке сама: прислонилась к Савельеву бедром и, как бы в приступе неудержимого смеха, начала его нежно потискивать. Эту крепость не надо было и штурмовать.

Пятой была тихоня, сидевшая напротив. Чуть слышно сказала: Лена. Она смотрела, как Савельев валяет дурака, — но валял-то он дурака с хохотушкой, а поглядывал на нее. И, расчетливо посерьезнев на паузе, встретил прямой взгляд серых глаз, и его окатило теплом. Это был выигрышный билет.

Когда она встала, выпуская подругу в туалет, Савельев затаил дыхание: при девушке были не только глаза. Она была уже его, эта Лена. Он понял, зачем остался тут до утра.

Коллектив пришлось брать измором, но, наконец, до всех дошло, что пора идти. Хохотушка с досады пошутила напоследок в адрес юных женских чар, Савельев сделал вид, что не расслышал, и они с сероглазкой остались почти одни.

Они, буфетчица за стойкой, навсегда задравшая голову в телек, — да взявшаяся, откуда ни возьмись, компания в углу.

У Савельева сразу заныло в животе, когда он увидел эти спины и бицепсы. Один из силачей в открытую рассматривал девушку, и Савельев, уже накрывший ладонью тонкое запястье, потерял нить разговора. Надо было уходить, но он понял это поздно: атлет шел к их столику.

Он присел, развернув стул к Лене, почти спиной к Савельеву. И, подчеркнуто вежливый, — той холодной вежливостью, за которой стоят совсем другие возможности, — протянул ей руку и назвал свое имя...

Воспоминание об этом затейливом имени много лет потом отравляло Савельеву жизнь; однажды он нагрубил незнакомому продюсеру, внезапно оказавшемуся тезкой того январского ужаса...

Девушка, оцепенев, протянула руку. Детина сказал «очень приятно» и оставил ладошку в своей огромной ладони. Лена попробовала высвободиться, но атлет играючи придержал ее, и она бросила несчастный взгляд на Савельева.

И Савельев сказал:

— Э-э...

Сказал жалко-миролюбивым голосом: мол, зачем это? И вмиг себе опротивел.

Но детина как будто ждал этой реплики.

— Что «э»? — спросил он, обернувшись. — Что «э»? Ты крутой, да? Крутой?

— При чем тут «крутой», — поморщился Савельев и услышал:

— Пошел на ... отсюда.

Кровь бросилась в голову. Девушка рванулась к выходу, но атлет легким движением руки вернул ее на стул. Савельев вскочил:

— Прекратите...

Он хотел сказать «хулиганить», но понял, как это книжно прозвучит, и скис. Атлет побрезговал даже вставать навстречу, — встали и подошли вразвалочку двое его дружков.

— На ... пошел, — повторил детина.

— Вы... — начал Савельев — и получил по лицу. Детина и тут не стал вставать: дотянулся, чуть подавшись вперед. Нервы у Савельева сдали, и он истошно закричал, подскочив к барной стойке:

— Позовите милицию!

Но никого уже не было за стойкой: телевизор веселил пустоту.

Девушка рванулась понапрасну — огромная рука держала ее капканом. Савельев бросился к двери, споткнулся о выставленную ногу и под гогот негодяев ссыпался вниз по лестнице, к вахте.

— Позовите милицию!

Дядька в хаки, едва глянув, вернул взгляд в веселящийся телевизор. Савельев продолжал барабанить в стекло, и дядька открыл форточку. Савельев прокричал что-то, указывая наверх.

— Из-за девки повздорили? — уточнил вахтер.

— Вызовите милицию! — заорал Савельев. — Не ваше дело! Звоните сейчас же!

— Вы мне не указывайте, что мне делать, — воспитательно произнес дядька и глянул с неприязнью, но все-таки передвинулся к телефону. И, потыкав в кнопки, сказал бесцветным голосом:

— Пансионат «Березки», охрана. У нас инцидент тут. Драка была в буфете... Нет, сейчас нет. Крови нет. Понял.

И, повесив трубку, сказал Савельеву.

— Ждите.

— Они приедут?

Дядька пожал плечами:

— Может, приедут.

— Как «может»!

— Вы просили — я позвонил. Ждите.

Охранник закрыл форточку и снова уставился в телевизор.

Душу Савельева охватила ватная слабость. Он вышел на улицу и остановился, обожженный холодом.

Колючий воздух драл горло, тело потрясывало крупной дрожью. Стояла ночь; с верхних этажей доносилось телевеселье, где-то прогудел поезд. Одинокая машина, качнув фарами на колдобине, вырвала из тьмы клок пространства и повернула, не успев даже обнадежить савельевское сердце. Никакой милиции не было тут и быть не могло; промерзшая саванна лежала вокруг.

Савельев вернулся в пансионат — снова отвратительно зевнула входная дверь, — и обреченно постучал в стекло; дядька даже не повернул головы. И Савельев, постояв в беспамятстве, на нетвердых ногах пошел наверх.

Два пролета лестницы он еще уговаривал себя, что идет в бар, но на втором этаже ноги сами повели его в номер. Сверху донесся отчаянный женский крик, потом еще раз. «Помогите!»

Именно в этот момент его душа отделилась от него впервые.

Не он, а кто-то другой шел по коридору, вынимал из кармана ключ с деревянной балбешкой, пытался попасть им в замочную скважину, входил в номер, закрывал за собою дверь...

Все это было укрупнено и происходило замедленно, как во сне, и впечатывалось в память навсегда.

Савельев лежал в темноте, боясь услышать новый крик сквозь некрепкие стены пансионата. На всякий случай, повернувшись на бок, даже обхватил голову руками. Его колотило, и о сне не было речи.

Он видел однажды, как умирает человек после удара ножом: угонщик прынул в живот хозяина «Волги», сбежавшего вниз, на снег, в тапках и рубашке. Так тот и лежал, скрючившись, за милицейской лентой, когда Савельев вышел утром из подъезда; лежал, а над коченеющим телом стоял служивый человек и что-то записывал.

Савельев не хотел, чтобы так стояли над ним.

Поздний «совок» расплзся в бандитскую кашу, смерть была теперь делом одной минуты, неосторожного движения, взгляда... Он не виноват, он сделал все, что мог. Он пытался вступиться, он вызвал милицию! Это их проблемы!

Потом, лежа калачиком, он почти уговорил себя, что ничего страшного не случилось. Ну, трахнут ее, мало ли девок трахают, — может, ей даже понравилось, сучке... Сучка, повторил он с удовольствием, сучка! Но сознание возвращало ему его ложь.

Потом он забылся, и там, в забытии, раз за разом, как в мясорубке, его прокручивало через один и тот же сюжет: как с проклятой лестничной площадки он идет не в номер, а наверх, навстречу ножу. Он просыпался с оборвавшимся сердцем, в испарине облегчения и стыда, и все начиналось снова: забытие — лестница — страх — тоска...

Под утро над ним сжалились и дали немного сна. Сквозь это новое забытие в дверь стучали, но Савельев и там, во сне, договорился с собой, что ему показалось.

Когда он очнулся, за занавеской сиял солнечный полдень. Он лежал, медленно отделяя сон от яви. И почти убедил себя, что ничего не было. Не могло быть просто!

Но номер не прошел, и через пять минут Савельев изучал свое отражение в зеркале, охваченный тяжелой ненавистью мазохиста. Он уже понимал, что вынуть эту ночь из жизни не получится никогда.

Не рискуя идти на завтрак, поэт решил сбежать. Напился из-под крана, наскоро сгреб вещи, натянул на глаза лыжную шапочку и вышел за дверь. И снова, как в кино, увидел все это общим планом: коридор пансионата, фикус в фойе и

человека в «аляске», шмыгающего мимо будки вахтера (слава богу, за стеклом сидел другой)...

На крыльце, едва глотнув воздух, Савельев уткнулся в трех курящих теток и в одной из них с ужасом опознал «парткомовскую». Они кинулись к нему:

— Вы знаете? Вы слышали?

— Что случилось? — проговорили губы Савельева.

И тетки наперебой рассказали ему, что случилось.

Савельев слушал и качал головой, озабоченный только конспирацией. За него волновались? Почему? С Леной? Да, посидели, и он пошел спать. Нет, не слышал. Да что такое, говорите же!

К Лене пристали какие-то местные бандиты. Кто-то вступился за нее, и его сильно избили. Очень сильно! Лена вызвала «скорую»... Они так боялись, что это был Савельев, стучали ему...

— Я спал, — сказал Савельев, стараясь, чтобы голос прозвучал сокрушенно. И спросил:

— Кто это был?

Тетки не знали: парня увезла «скорая». Весь пол в крови... Господи, какой ужас! Почти час ехали! Лена беденькая, спит в номере, укололи снотворное...

— Ужас, — покачал головой и Савельев, умоляя небеса только о том, чтобы эта зевучая дверь не открылась и в проеме не появилась Лена. Бежать! На станцию, на свободу. Забыть все это!

Снотворное... Какого бы снотворного выпить?

Когда он добрался домой, его вырубил безо всякого снотворного.

Почти двадцать лет гноилась в Савельеве эта ночь, и никто не знал о ней. И вот — берег чужого моря, и странная женщина из прошлого выволакивает на божий свет его неоплаченные квитанции.

Гул ветра заполнял тишину. Потом на кухне грохнули об пол ножи-вилки, и чей-то крик на иврите детонировал смехом. Звуки жизни наполнили кафе. Женщина глядела внимательными глазами, и прожитое держалось на волоске.

Откуда она знает про «Березки»?

Экстрасенс, услужливо подсказала голова, она экстрасенс. Но душа не поверила: Савельев вспомнил, как отводила глаза Таня Мельцер, говоря о покойном муже. Что-то было спрятано в этой теме...

«Я хотела тебя убить».

Хватит!

Ему уже не хотелось ни вечной любви, ни приключений с поклонницами — ничего. Спрятаться в своей норке с вай-фаем, а потом улететь отсюда и жить, просто жить: без призраков, рвущихся в балконную дверь, без женщин-провидиц из прошлого...

Он не хотел ни вспоминать это прошлое, ни даже пытаться понять, как оно оказалось в общем доступе.

Она сумасшедшая, сказал он себе. Просто сумасшедшая, и все. Нервность эта, курево постоянное, дерганный взгляд, руки...

— Ладно, Олег, — сказала Таня. — Все прошло. Как получилось, так и получилось.

Вовсе не бредом звучали эти слова, но Савельев предпочел ничего не слышать.

— Ладно, — повторил он ровным терапевтическим голосом. — Проехали. Все живы.

И снова исказило гримасой лицо женщины, сидевшей напротив, и тогда Савельев извинился и пошел в туалет. Ему не надо было в туалет, — надо было срочно остаться одному.

Бог, благо тут рядом, услышал его молитвы: когда Савельев вернулся в зал, хляби небесные исчерпались; за окнами, как ни в чем не бывало, покачивалось синее море, и пустое пространство кафе наполнялось светом.

Они прощались так, будто заключили тайный пакт о не-назывании вещей своими именами, и через пять минут Савельев с облегчением смотрел вослед неуклюжей женщине, шедшей через площадь в кофе-хламиде, с дурацкой сумкой наперевес...

Она сутулилась и смешно перешагивала лужи толстоватыми ногами.

Душа Савельева была устроена таким прекрасным образом, что умела санировать неприятности, и с детской внезапной радостью он подумал: свобода!

Морок прошел. Он новыми глазами осмотрел пейзаж и вдохнул полной грудью — впервые за много часов.

Его вдруг заполнило острое ощущение бытия, и в ожидании *кабалы** — что они знают о кабале? — он вышел на свежий воздух: подышать, поозираться, запомнить секунду счастья. Не было уже ни близкой смерти, ни памяти о позоре; даже урагана не было, и этого оказалось достаточным для блаженства. Еще минуту назад он думал менять билет, — но, может, остаться, раз такое дело?

Но блаженство было недолгим: принесли *кабалу*, и он включил айфон, чтобы посмотреть забытый пин-код... И поморщился, когда чертова машинка еще только приветствовала его мелодичным звоном.

Предчувствия не обманули Савельева: три звонка были с проклятого номера, три! Плюс звонок от самого Ляшина.

Прятаться глупо, подумал Савельев. Надо все обдумать и перезвонить, как ни в чем не бывало.

Однажды в дорогом застолье на свежем испанском воздухе (корпоративы теперь происходили по большей части там) разговор зашел о нефтяном переделе на далекой родине, и Савельев удачно вставил чужую шутку: мол, все шубы мира могут поместиться в одну моль...

И услышал оглушительную тишину. Увидел взгляд Ляшина — и испугался, так ничего и не поняв. Стук одинокой вилки и короткий кашель нарушили эту тишину через несколько звенящих секунд.

Потом Савельева ввели в курс дела, сказавши негромко и почти с восхищением: ну, ты даешь!

И он испугался еще сильнее.

«Моль» — было забытым лубянским погонялом того, кто вел теперь страну к ее великим победам...

Ляшин, с чьей подачи Савельев попал за тот стол, даже не подошел к нему, а в Москве позвонил и коротко распорядился: приезжай на палку. Савельев изобразил обиду, но Ляшину были по барабану извивы поэтического самолюбия.

— Что слышал, ...! — орал он. — Залупаться будешь? И рыбку съешь?..

И еще минуту лилась в савельевское ухо грязная ляшинская брань.

— Я перезвоню, — ответил Савельев, пытаясь сохранить остатки достоинства.

И перезвонил ведь. Ляшин был зол, но уже не орал.

— Ты меня подставил, братуха, сильно подставил. Меня из-за тебя запалят, они там мнительные...

У Савельева оборвалось сердце — и вовсе не из-за Ляшина:

— Объясни им, что я не знал...

* Кабала (ивр.) — здесь счет.

— Вот сам и объясни!

Несколько дней после этого Савельев ловил себя на том, что негромко разговаривает вслух. Его невидимым собеседником был кто-то очень сильный, но понимающий, не жестокий. Тот, который усмехнется и скажет: ну что вы, какая фронда, Савельев свой, свой, он просто не знал!

Кому он это скажет? От этого вопроса отдельно холодело савельевское сердце...

Несчастный поэт прошевелил губами до полной бессонницы, а потом написал спасительный текст — о благодати власти, пустоголовости оппозиции и опасности либерального реванша. Сам озаботился рассылкой своего творения — и поднял глаза наверх, ожидая отпущения греха.

Сначала позвонил Ляшин и ржал в ухо: можешь, сучонок! Тебя хвалят, все зашибись.

Потом позвонили те, которые хвалили, и пригласили встретиться.

Разговор пошел неожиданно ласковый: вы талантливый человек, давайте жить дружно... мы же не людоеды. И предложили руководящий пост в издательском доме! Глянец, финансирование, десятка плюс гонорары, машина с шофером...

Это был новый поворот, и совсем не тот, про который пелось у Макаревича. Отказаться было невозможно, да и манило, манило! Силу вдруг почувствовал Савельев, необычайный прилив энтузиазма! Хрен с ними, со стихами: он будет формировать повестку, продвигать смыслы!

Машину звали BMW, шофера — Коля, секретаршу — Даша, и все это пришлось очень кстати, особенно Даша, которая, рифмуя сюжеты, была похожа на ту длинноногую курву, останавливавшую савельевское сердце в старом ляшинском офисе на Земляном Валу.

Куратор давал установки: власть несовершенна, но она везде несовершенна; оппозиция еще хуже... «Правительство — единственный европеец?» — подсказывал Савельев. Вот-вот. И давайте, как вы умеете: легко, с иронией...

Савельев вживался в кураторскую шкуру, когда писал свои передовицы; иногда он чувствовал, что *этот* живет в кишках.

В кишках жил и Ляшин.

Савельевское назначение «зёма» воспринял как личный успех, а журнал — как вотчину: присылал заказуху, приезжал с вискарем, ломал график, при всех называл Савельева «Олежек» и «братуха» — и чуть ли не распоряжался в журнале!

А у Савельева уже были друзья в Администрации, и друзья не чета «зёме»: тонкие, образованные, в меру голубые; с ними можно было поговорить на общие темы, посмаковать цитату, поднять самооценку, ощутить себя руководящим интеллектуалом в этой темной и дикой стране...

«Зёма» со своими блатными прихватами раздражал Савельева, и это место натирало все больше.

На внезапные вести о ляшинских неприятностях савельевское сердце среагировало такой радостью, что он сам удивился высоте этой волны — и даже смутился немного. А дело было серьезное: «зёма» оказался под подозрением в похищении человека... Ничего личного, делили бизнес.

С тайным ужасом Савельев понял: он хочет, чтобы Ляшина посадили. Чтобы тот исчез из его жизни навсегда. Чтобы перестал улыбаться, хлопать по спине, называть «Олежек». Чтобы его опустили там, в камере. До сердцебиения хотел этого Савельев, до сточенных зубов, — но не замесили, видать, цемент для той стены, о которую расшибется «зёма»: все уладил, гад.

Уладил через месяцок, а до того — приперся к Савельеву на глазах у всей редакции и внаглую заперся с ним в кабинете. Давай, братуха, давай, напиши

про меня. Благотворительность, ..., все дела. Атака врагов! Савельев пытался откосить от этого ужасного позора, изображая тактическое благоразумие: все же знают, что мы знакомы! Пускай лучше кто-нибудь другой...

— Ты напишешь, Олежек, — отрезал Ляшин. — Ты! И кончай мне, ..., советовать. Советчик. Ты делай, что говорят!

— Я не буду этого писать, — сказал Савельев, глядя в стол, и почувствовал на темечке холодные глаза «зёмы».

— Думаешь, я — все? — тихо спросил Ляшин, и страшно стало от внезапной этой негромкости. — Думаешь, меня не будет?

И еще один кусок тишины повис между ними.

— Ты ошибаешься, Олежек. Я буду.

— При чем тут?.. — с досадой произнес Савельев и вспомнил другое «при чем тут» — перед пощечиной, в проклятом пансионате, и похолодел от этой рифмы.

— Что, ел-пил, а теперь в сторону? — уточнил «зёма».

— Костя, — ответил Савельев. — При чем тут ел-пил! Ничего не в сторону. Я попробую помочь. Дай подумать.

— Ну, думай, — разрешил Ляшин, с грохотом отодвинул стул и вышел. У поэта стало кисло в животе. Только тут он понял, как боится «зёму».

«Твой друг отличился». Да какой друг!

Савельев отмахивался от подколов, но отмахивался робко: боялся, что передадут «другу». И, конечно, написал что-то... ну, так, вообще... по касательной... больше о презумпции невиновности...

В общем, зафиксировал участие.

Ляшин, конечно, отбился и без него: дело закрыли. Да и неприкосновенность же.

И тогда «зёма» устроил большой мальчишник в честь победы над супостатами. Савельев был позван, и не было воли сказать «нет» и придумать отмазку тоже не получилось. Он приволокся, стараясь двигаться между струйками: то ли гость, то ли просто так, зашел понаблюдать... Типа, записки охотника.

Ляшин все видел, дьявол.

— Олежек, — сказал он громко. — Совесть наша. Не надо нами брезговать. Ты чувствуешь себя как дома. Ешь, пей. Отдыхай!

И громко рассмеялся, но в глазах горели злобные огоньки.

От прилюдного унижения Савельев решил напиться и напился так, что даже весело стало от своей пропащей жизни. В сауне, где неизменно заканчивались все ляшинские мальчишники, он испытал дикий прилив мужских сил, и полез драть какую-то мармеладову, но встретил отпор.

Разные обломы случались в мужской жизни Савельева, но проститутки ему еще не отказывали.

— Ты чего? — спросил он, ошалевший от такого поворота. И услышал:

— Константин Палыч велел вам не давать.

Онемевший Савельев прирос к лавке. Нимфы хихикали. Ляшин, в простынях, как в тоге, возлегал на наблюдательном пункте, в обнимку с двумя, и они тоже хихикали.

— Это я решил тебя поучить, Олежек! — сообщил он через всю сауну. — Чтобы ты помнил себя, рифмач, Ладно! Ксюша, обслужи человека. Я незлопамятный.

И все рассмеялись, и громко гыкнул на хозяйскую шутку сидевший тут же, голышом, ляшинский помощник, Соркин. И Соркина этого возненавидел тогда Савельев такой ненавистью, какой не было никогда в его жизни...

Он и звонил теперь, блеклый хмырь из ляшинской сауны. Звонил — и через полмира дергал поводок, облежавший савельевскую шею.

Сидя в баре и поглядывая наружу, где все тянулся, удлинняя тени, этот странный день, Савельев решил: сейчас позвоню напрямую! И, отложив выключенный айфон, стал искать интонацию.

Следовало сказать как можно беззаботнее: прости, Костя, пропустил звонок; денег сейчас нет, но отдам обязательно...

А если не согласится?

В эту ловушку Савельев попал год назад. Под патриотический рок-фестиваль на пленэре ему отломили из казны пол-ляма, и не рублей. (Втянувшись, он и сам думал теперь на сленге, принятом в этом новом мире: лямы, ярды...)

Пол-ляма упало на распил, и отпиленное в должный час мягко легло на счета дочерней фирмы, поднимавшей в небо этот дутый дирижабль.

Фирма состояла из Савельева и хмыря Соркина, присланного «зёмой», чтобы Савельев, чистый человек, не марался сам. Берег друга «зёма», вел по жизни отцовской рукой...

Кроме сметы, имелся спонсорский контракт, и спонсором тоже был Ляшин, со своими конями и парфюмами. Под это дело они и выписали, с размаху, Делона, шута старенького. Типа, шутка. Типа, не пьет одеколон! Делон закапризничал, и вместо него Савельев подписал, в последний момент, павлина подешевле, а цифру в смете менять не стал. Чего, в самом деле? Вокруг-то пилили миллиардами...

Фестиваль прошел с успехом, «Россия, Россия», Первый канал и все дела — и Савельев прикупил себе, на радостях, черногорской землицы для строительства долгожданного личного рая...

Тут-то и грянуло громом среди ясного неба: Ляшин требует бабки назад! И за Делона разницу, и от фестиваля долю. Он же пробивал его!

«...лавэ в кассу верни!»

А денег уже и не было. Был дом с видом на Адриатику и неторопливые православные братушки, делавшие там посильный евроремонт... Савельев пытался объяснить это «зёме», но тот и слушать не стал, дал месяц на возврат: полторашка зеленых, ты понял, брат.

А на отчаянное риторическое: откуда я возьму? — брат ответил просто:

— Не скребет.

Не деньги были нужны упырю, догадался Савельев, — так длилась бессрочная ляшинская месть. Сладостное удовольствие получал «зёма» от очередной дозы савельевского унижения, и с холодом в сердце понял несчастный, что эта мука ему — пожизненно.

Месяц прошел, и пропущенные звонки означали объявление войны. Надо было срочно сказать что-нибудь Ляшину, но солнце уже сползло к Яффо, и снова набухало дрянью небо, и мотало ветром пальмы на набережной, а Савельев никак не мог решиться.

Он лежал в номере, шевеля губами, и отключенный айфон лежал рядом.

Сердце окатило ужасом, но звонил не Ляшин, а телефон в номере. День за окном померк, и полминуты прошло, прежде чем лежащий во мраке Савельев смог унять бешеный стук в груди.

Кого ему тут бояться? Но брать трубку было страшно, и Савельев не шевелился, пока аппарат не умолк.

Потом он нащупал выключатель, щелкнул им и поднял запястье над головой. Семь часов — это вечера, что ли? Это он заснул, не раздеваясь? Но кто звонил? Сердце ухнуло снова.

Разбитый тяжелым сном, Савельев встал и умылся, стараясь не делать резких движений. Он спустился вниз, чтобы продышаться на свежем воздухе, но на улице снова выло и мотало в темноте пальмы, и, постояв в дверях, — открывало и закрывало перед ним эти двери, открывало и закрывало... — гость Нетании отправился в ресторан.

Там, слепо уставившись в меню, так толком и не очнувшийся, Савельев продолжал тяжело думать о своей горестной жизни.

...Ближе к выборам в журнал прислали комиссара, взявшегося вообще из грязи, — желтушного короля с лексиконом сутенера, — и в редакции начался караул. Заказуха шла полосами, тексты ставили, уже не спрашивая Савельева, и только что пальцами не показывали на бесправного главреда!

Когда же, забытый сын Аполлона, он пришел в комиссарский офис и начал излагать свое профессион де фуа, то услышал в ответ, хотя и с акцентом, но по-русски:

— Будешь выеживаться, пойдешь на ...

Савельев задохнулся и ничего не ответил, вышел. В истерике, с криком об уходе по собственному желанию, позвонил куратору и услышал оттуда не матом, но гораздо страшнее:

— От нас — так — не уходят.

Савельев набрал в грудь воздух, чтобы спросить: что, собственно, за угрозы? — но передумал и выдохнул тихонечко.

Умница-куратор все понял, сам сбавил тон и мягко предложил соратнику не волноваться, а продолжать работать. Такое время! После выборов будет легче, а сейчас — так. И Савельев остался, сцеволла эдакий. Мучился, но терпел...

Эх, думал несчастный, вяло четвертую тушку безответной рыбы, вот бы разом случилось, чтобы ни «зёмь», ни кураторов, ничего вообще, а только свобода и берег моря. И чтобы кто-нибудь любил...

Сам Савельев любить не умел и знал это. История со Стукаловой отшибла в нем что-то, и много лет он только сводил счеты за то свое главное поражение. Бумеранги нелюбви стали прилетать к нему все чаще и били все ошутимее...

Женю он подобрал на литературных курсах. Совсем девочка, она была, в некотором смысле, идеалом, ибо взамен не требовала ничего. Савельев мог приехать в любое время — и в любое время уйти. Он был великий эмир, а она — благодарная наложница. Мысль, что можно принести ей цветы или хоть фрукты, просто не приходила ему в голову. Он сам был подарком!

Эта лафа длилась полтора года, а потом она вдруг стала занята, и женские дни пошли подряд. А потом ее телефон перестал откликаться на его звонки. Раньше-то и трех гудков не бывало: хватала трубку...

Столкнувшись с переменой статуса, Савельев раздражился, как ребенок, у которого отняли игрушку. Он еще не наигрался в нее, верните!.. А через месяц столкнулся с бывлой наложницей нос к носу.

Сначала он вздрогнул запоздалым страхом провала, ибо дело было в кафе, где он встречался иногда с одной искательницей приключений. (У них был ритуал — искательница выпивала два бокала вина, и они шли к ней, благо жила в подъезде напротив. Это так и называлось у них: пойти через дорогу. Без бокала вина красotka не давала — встречаются же еще принципиальные люди!)

Но в тот раз Савельев назначил встречу какой-то журналистке из глянца, а вошла Женя. Вошла, увидела его и остановилась как вкопанная.

— Привет, — сказал Савельев, выдержав паузу. — Как дела?

— Хорошо, — ответила бывшая наложница, и в глазах у нее блеснуло что-то, не виданное Савельевым: гордость! Даже голову вскинула. И Савельев увидел вдруг, что девочка выросла в нежную красавицу, и его полоснуло по сердцу пониманием: это уже не ему.

— Ну, я тебя поздравляю, — через силу усмехнулся Савельев.

И тут в кафе вошла незнакомка.

Савельев успел подумать: вот бы это и была журналистка! Стриженная на бобрлик, стройная, кареглазая... Отлично бы получилось: и гордячку щелкнуть по задранному носику, и новый сюжет! Незнакомка пошла к ним, и Савельев сказал себе: да, вот оно...

И тут Женя ей улыбнулась.

Савельева убила эта улыбка: он никогда не видел такого счастья на ее лице! Они поцеловались, Женя с незнакомкой, нежно и в открытую, и маленькая эмануэль подняла на Савельева карие прекрасные глаза, в которых светились торжество и ненависть.

Женя держала кареглазку за руку, боясь оторваться. Она была сконфужена и горда.

— Это Лина.

— Очень приятно, — осклабился Савельев.

— А вас я знаю, — жестко пресекла диалог кареглазка. И по-хозяйски обняла подругу. Савельев пожал плечами, по возможности безразлично. Ноги сами вынесли его из кафе.

Он побрел по улице и в окно увидел, как они опять целуются...

Савельев был раздавлен. Во-первых, это вообще нечестно! И потом: за что его ненавидеть? Он ведь только хотел, чтобы его любили! Ведь это же правильно, чтобы его любили! Почему его никто не любит?

Как-то вдруг опустел его мужской пейзаж: поклонницы повыводили замуж и нарожали детей; оставшиеся сюжеты проседали и становились унылым бытом, а семейная жизнь давно держалась на обезболивающих...

Сын, недавно, ко всеобщему облегчению, отселенный, относился к Савельеву с почтительной иронией. «Папаша у меня звезда», — услышал Савельев как-то басовитый голос отпрыска и следом — его лающий хохоток. Сыночек в ту пору заканчивал школу: вымахал ростом под шкаф, сделал на шее татуировку с драконом и водил в свою комнату девиц, едва здороваясь с родителями. Мать он еле терпел и не скрывал ожидания свободы.

Юля прижилась в этом вакууме и только иногда уезжала куда-то на выходные... Куда? Савельев даже не интересовался: он давно закинул за мельницу семейный чепец. Зубы у жены с годами стали как будто еще крупнее, а сама высохла. Своя мышьяная жизнь была у нее, какая-то Валя, подруга, куда-то они ездили вместе, и слава богу...

Но однажды Савельев услышал: были у батюшки. Что? Он почувствовал тошноту. Какой батюшка? Артемий, ответила жена.

Он взгляделся в ее глаза и увидел в них смиренное сочувствие к недоделку. Это подчеркнутое христианское прощение вызвало в Савельеве ярость, которую он еле подавил.

Он пропустил какой-то поворот, и теперь уже было поздно дергаться. Исповеди, куличи, телефонный разговор о чудотворной иконе, слово «разговеться»... Савельева чуть не стошнило. Он не верил ушам.

Дома стало совсем мучительно. Иконы повсюду. Принципиально некрасивая, неприязненно ровная. Встречи на кухне, молчание. Тебе чай или кофе? Чай. Звонила Леше, у него все в порядке. Понял.

Савельев и раньше ложился в кабинете, просто потому, что торчал допоздна в фейсбуке, а тут... Неловко стало в одной постели.

Втроем с Христом — тесновато.

Волна запаха прилетела прежде, чем Савельев увидел это несчастье рядом с собой: костлявый тип, который вез его из аэропорта, стоял у столика. Пинком выброшенный из воспоминаний, Савельев не смог скрыть неприязни.

— А я вас потерял! — радостно сообщил ему человек в кипе.

О, черт! Савельев только сейчас вспомнил о назначенном интервью. Бред, бред...

— Мне сказали, что вы здесь! — продолжал докладывать костлявый. — Я звонил в номер, но никто не отвечал...

— Я доем? — кротко спросил Савельев, делая над собой усилие, чтобы не отодвинуть дурачка, вместе с запахом, прочь от стола.

— Да-да, конечно! — разрешил тот. — Я подожду!

Савельев кивнул и перевел дыхание.

Через полчаса, в лобби отеля, он вспомнил этого Боруховича. Вот так же сидел, по-турецки, в ногах у первого ряда, выставив вперед костлявую руку с шишечкой микрофона. Прозвище у него было — Шизик. Первый «тамиздат» пришел к Савельеву именно со стороны Боруховича — Набоков, что ли? Да, точно, Набоков. С иностранцами он общался, ишь ты, даром что шизик...

В леонтовской студии Борухович работал булгаковским лагранжем, вел подневные записи: кто выступал, что читал... Сам он стихов не писал, — то есть писал, наверное, но стеснялся показывать. И вот теперь, в память о Леонтове, хочет издать книгу о студии, собирает свидетельства...

Все-таки он умер, подумал Савельев, кивая так, как будто сам хотел издать книгу воспоминаний о Леонтове, да вот, Борухович опередил.

— А как он умер?

— Вы не знали? Рак легких.

— Ах, да... — как бы припомнил Савельев, лоя себя на том, что играет мужественную скорбь. И хотя телекамер тут не было, а был неопрятный эмигрант с микрофоном, — воспоминание о покойном учителе вдруг сдетонировало по-настоящему, и на глазах у Савельева выступили всамделишные слезы.

Душа вспомнила свое начало — весну, студию, молодость! — вспомнила так ясно, как будто сама была жива, и все было впереди. Савельев заговорил прерывающимся голосом, объятый внезапной нежностью к забытому учителю — и счастьем от этого волнения.

Жизнь возвращалась к нему, — лучшее, что в ней было. Это должно остаться, должно! Мало ли что с кем случилось потом! Рембо замолчал в восемнадцать, и что? А Леонтов высоко ценил савельевский дар — так и сказал тогда в интервью: дар!

В том леонтовском интервью Савельев впервые увидел свою фамилию, набранную типографским шрифтом — ах, вот было счастье! Восемьдесят шестой год, боже мой!

— У меня есть эта статья, — улыбнулся Борухович. — У меня все ходы записаны.

— Да?

— Да. И все стихи, которые вы там читали.

— И в звуке?

— Конечно! И качество приличное. У меня же «Грюндиг» был, мне его Грабин оставил, когда его выслали. То есть не мне: он оставил зятю — ну, Дима

Красовский, знаете. Биолог, еще в «Глыбах» печатался! Он потом сидел по христианским делам...

Борухович радостно множил подробности, но жизнь советской «диссиды» была неинтересна Савельеву, — ему хотелось воскресить свою!

— Простите, — мягко прервал он, стараясь набирать воздух сбоку, — а можно переписать эти записи?

— Ваши?

— Ну, и мои тоже, — интеллигентно согласился Савельев.

— Конечно! Они у Тани есть. Она вам не показывала?

— Нет.

И вдруг возможность заглянуть за портьеру кольнула сознание. И, отложив воскрешение души, Савельев спросил ровным голосом:

— А вы с Таней дружите — с тех пор?

И вдруг исказилось гримасой честное лицо Боруховича, вспыхнуло румянцем.

— Да, с тех пор дружу! — отчеканил он с комической гордостью.

О господи, усмехнулся Савельев, надо же: несчастный влюбленный! Дон Кихот с «Грюндигом» вместо тазика... И вдруг отчетливо вспомнил про Боруховича этого — ну да, маячил всегда неподалеку! Чуть ли не пытался навязаться в компанию, когда Савельев уводил Таню целоваться в скверике...

Так это, стало быть, соперник! Здра-асьте...

Савельев чуть не рассмеялся от такого расклада. Но не забыл, куда и зачем вел разговор.

— А мужа ее — знали?

Борухович с облегчением закивал: речь уходила в сторону от него. И начал охотно рассказывать про покойного.

— Его звали — Там. Такое смешное имя. Это он уже здесь его взял, — вообще-то он русский был, из Москвы! Инвалид. Вам что, Таня совсем ничего не рассказала? Его покалечили в драке, давным-давно, еще в совке. Он за девушку вступился какую-то, ну, его и избили. Никого не нашли, конечно: бандитская страна! Таня, собственно, и привезла его сюда на лечение...

— Когда? — не своим голосом спросил Савельев.

— Сейчас скажу. — Борухович ответственно зашевелил губами, что-то складывая и вычитая, и доложил: — Это девяносто четвертый год был. Нет, девяносто пятый! — в девяносто четвертом я приехал, в декабре, а Таня уже потом... Я ее встретил в ульпане, весной; ну да: девяносто пятый. Она святая, святая! Она спасла его. Там же все плохо было: зрение восстановили кое-как, а разговаривать почти не мог... Голова была слабая! А потом уже вполне ничего: научился говорить и писал даже, но в основном на иврите...

Борухович прервал рассказ, подался вперед и встревоженно спросил:

— Что с вами?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Савельев стоял в коридоре пансионата «Березки» с деревянной балбешкой ключа в руке, а сверху неся отчаянный крик о помощи.

Тоскливо ныло в животе, и дверь в номер была рядом. Раздайся крик чуть позже, Савельев бы и не услышал ничего. Но он услышал, и притвориться было невозможно.

Савельев повернулся — и шагнул на лестничную клетку.

Подошвы были будто смазаны клеем, но идти было надо. И, словно видя себя со стороны, он покорно пошел навстречу крику о помощи, а потом побежал, задыхаясь и перескакивая через ступени.

И уже за пролет от гибельных подмостков, задекорированных под новогодний бар советского пансионата, он вдруг ясно увидел, как тремя пролетами ниже какой-то другой Савельев, вжав голову в плечи, пытается попасть ключом в личинку замка...

И успел усмехнуться этой картине.

Потом он обнаружил перед собой слово «бар» с ненужной табличкой о времени работы, перевел дыхание, распрямылся — и потянул на себя отполированную ладонями деревянную ручку. Шагнул внутрь и увидел — растерзанную сероглазую девушку, молящий взгляд этих глаз и трех распаленных самцов вокруг. Самцы разом обернулись к нему, и Савельев сказал:

— Отойдите от нее!

Он еще успел удивиться силе своего голоса.

Гипноз продержался несколько секунд, а потом тишина разбилась вдребезги. Его отшвыривали, но он пер на них снова и снова — и сорвал самцам их новогоднюю карусель, и тогда они начали его бить. Лена кричала, но вскоре крик стал доходить до лежащего глухо. Он пытался закрывать голову, но по ней уже били ногами, как по мячу, и голова моталась по полу.

Потом ничего не стало.

Потом был склеп без грамма воздуха, и, лежа под тяжелой плитой, он отчаянно пытался найти рифму к слову, которого не помнил. А вспомнить надо было скорее, тогда бы с груди подняли эту каменную плиту, но спасительного слова не было, и он снова терял сознание, чтобы очнуться в тяжком склепе.

Так прошла вечность, а потом началась другая. В этой второй вечности ему дали вдохнуть, и в белой пелене зазвучали голоса, но он не понимал слов. Везде была боль, и хотелось пить. Он застонал, и его поняли и дали воды, и тогда он догадался, что те, которые делают с ним что-то сейчас, не враги. И уснул наконец.

Когда он проснулся, мир состоял из тупой, уже привычной боли, размытого света и женской доброй руки на запястье. Он не знал, кто это, и не знал, кто он сам.

Зацепка таилась в далеком звоне чайной ложечки: где-то ехал поезд, и звенела ложечка в стакане, и кто-то лежал на верхней полке и смотрел, как солнце гоняет блик по стакану. Покачивало вагон, и небо промелькивало сквозь сосны, — но ни до, ни после этого ничего не было.

Прошло еще сколько-то времени (длиншегося тут без ночи и дня, сплошным потоком размытого света), прежде чем он разобрал слово «Олег». Оно повторялось женским голосом, и он догадался, что это имеет отношение к тому, кто ехал на верхней полке. Его снова везли куда-то, и было больно, но потом попытка прекратилась, и в жизнь вошел другой запах, и свет тоже стал другим.

Началась новая вечность, пропитанная уже знакомым женским голосом, который разговаривал с ним и называл «Олег». Были и другие голоса, тоже женские, но он научился различать этот. Легкая рука гладила плечо, а однажды его запястья коснулись мягкие губы, и это было очень хорошо.

Потом его посадили, но размытый туман сразу поплыл вбок, и руки помогли ему лечь, и он очень устал. Его снова везли куда-то и светили прямо в мозг, и чужой мужской голос что-то говорил. Он разволновался, но женский голос был рядом, и нежная рука никуда не исчезла, и его вернули в его постель.

Этот запах и этот ласковый голос назывались теперь — «домой».

Он научился сидеть и не падать, и, хотя тело ныло, так было гораздо лучше, а однажды из тумана выплыли очертания женщины. Он протянул к ней руку, и женщина заплакала, и стала гладить его по руке, и называть Олег, солнце, а он

гладил ее. Аятаня, говорила женщина, ятаня. Он не понимал, о чем она, а только гладил.

Мир стал проясняться. Пятно окна превратилось в нерезкое дерево и дом напротив. Кусок неба над крышей, сначала светлый и синий, потом розовел и темнел, и все начиналось сначала, и это было очень красиво. Просыпаясь, он ждал теперь, когда его посадят к окну.

Однажды откуда-то выпрыгнуло и заскакало смешное лягушачье слово «Москва» — и тут же связалось с той ложечкой в стакане, и вытянуло за собой, разом, гулкое здание вокзала с острыми крышами, рогатый троллейбус, разворачивающийся на площади, смуглых людей с поклажей на тележках, ясное майское утро — и молодого человека с чемоданом в сильной жилистой руке. И душу сполохом озарило счастливое предвкушение жизни и неперемного счастья в ней!

Тут больной догадался, что этого больше не будет никогда, и заплакал.

Его звали — Олег Савельев.

Таня часто повторяла это: «Ты — Олег Савельев. Ты!» — и гладила его, и плакала. И он кивал в знак согласия, потому что не хотел, чтобы она плакала. Он понимал теперь, что она говорит — не все, но многое, особенно если она говорила медленно.

Потом они поехали в большое путешествие. Таня пообещала, что все будет хорошо, что там будет красиво и тепло, и он выздоровеет и встанет на ноги. И он кивал и обещал ей выздороветь. Он хотел сказать это словами, но слов не получилось, и Таня выбежала из комнаты, закрыв руками лицо. Савельев разволновался, что она не вернется, но она скоро вернулась и гладила его, и говорила хорошие слова.

На новом месте было тепло, но сперва очень страшно, потому что Таня ушла, а он подумал, что она ушла навсегда, и стал кричать, и его кололи чем-то и кричали друг на друга, а он не понимал языка, и было совсем страшно. Но Таня вернулась, и целовала ему руку, и договорилась с ним, что сейчас уйдет, но обязательно вернется и всегда будет неподалеку. И она пришла, и все было хорошо.

Когда спадала жара, его вывозили по дорожке в сад. Это было хорошее путешествие — там, на скамейке, было легко дышать утром и вечером.

В саду он попытался думать. Это было непросто, и он очень уставал, но все равно ждал встречи с думательной скамейкой. Он хотел связать все, что с ним происходит, во что-то целое, но у него не получалось.

Так он прожил время света и время жары, время песка и время воды. Таня уходила, но он уже знал, что она вернется, и она всегда возвращалась.

Однажды он остановился, проходя мимо стекла. На него глядел незнакомый человек с искореженным лицом. Это был он, и он сам смог догадаться об этом! И решил расспросить Таню поподробнее об этом человеке.

Таня рассказала, что это ее друг, что ему скоро будет тридцать лет и его зовут Олег Савельев (я знаю, сказал он, и она погладила его по плечу); сказала, что он очень хороший человек и что недавно с ним произошло несчастье, но скоро все будет хорошо. И он выздоровеет, она дает слово...

Но той же ночью случилось ужасное.

Он спал или делал вид, что спал, а кто-то, войдя, встал посреди комнаты и начал всматриваться в темноту. Больной лежал, боясь пошевелиться, чтобы незнакомец не догадался, что он тут. Но тот догадался и, медленно повернувшись в сторону кровати, сказал: ага. Слушай. Я тебе что-то расскажу...

Больной испугался во сне, проснулся и заплакал.

С тех пор он боялся оставаться в темноте, и даже при свете засыпать стало страшновато. Он знал, что человек вернется, и ему предстоит что-то узнать. И точно: однажды, когда он уплыл куда-то под теплым присмотром ночника, в

палату бесшумно вошел обещанный незнакомец и сказал: не бойся. Закрой глаза.

Ослушаться было нельзя, и гулом полета наполнило уши, а потом незнакомец сказал:

— Смотри.

Савельев открыл глаза, и невыносимо резануло светом, и звон тарелок ударил в уши, а потом он увидел великое множество людей за столами и среди них, почему-то, сразу — одного, с блюдом осетрины в руках.

Да-да, сказал голос, правильно. Узнаешь?

И он узнал.

Из узнавания потянуло холодом озноба, смешанным с каким-то казенным запахом, предвестием ужаса.

Полуосвещенная лестница вела наверх и заканчивалась металлической дверью, из-за которой неслась женский крик о помощи. Идти туда было нельзя ни в коем случае, и подошвы были словно смазаны клеем, но он все шел, как во сне... все шел и шел...

А человек, кладущий теперь на тарелку кусок осетрины (кладущий осторожно, чтобы ничего не отломилось и легло аккуратненько, сбоку от салата), — да, именно этот человек стоял в ту ночь, сгорбившись, несколькими этажами ниже и пытался попасть ключом в личинку замка, и никак не мог этого сделать: дрожали пальцы.

— Это Савельев, — сказал голос провожатого. И повторил с расстановкой: — Это и есть Савельев.

— А я? — спросил больной.

— А тебя нет, — просто ответил голос. — Ты умер.

И больной проснулся.

— Что с вами? — встревоженно спросил Борухович. Савельев сидел с оплывшим взглядом, и ходила тяжелым дыханием грудь. — Все в порядке? Вам плохо?

— Все в порядке, — ответил Савельев.

— Я могу прийти завтра, — сказал Борухович.

— Зачем?

— Ну, записать... про студию... Если вам надо отдохнуть.

— Да, — ответил Савельев. — Завтра.

— Во сколько?

— Я не знаю, во сколько! — вдруг закричал Савельев. — Я не знаю! Позвоните! И мы договоримся!

— Вы чего кричите? — поразился Борухович и вскочил с диванчика, засуетился, собирая манатки: диктофон, рюкзак, поломанный зонт, мокрую куртку... — Зачем вы на меня кричите? — взвизгнул он.

— Простите, — сказал Савельев. — Позвоните завтра.

Борухович вздрогнул — и снова не без опаски заглянул ему в глаза.

— Может, вызвать врача? — вдруг участливо спросил он. — Вам же плохо.

— Плохо, — сказал Савельев. — Вы — идите... Я — завтра...

Борухович постоял еще несколько секунд, кивнул и ушел.

Все сгнило, кроме памяти. Она любила его, потом боялась, потом ненавидела. Но, когда уходила из кафе, неловко перешагивая лужи расплывшимися ногами, в душе уже не было ничего, кроме жалости к себе.

К жизни, прошедшей так быстро.

...В тот январский день Таня Мельцер позвонила Савельеву — впервые за много лет. Она решила попроситься.

А, привет, как жизнь, вяло откликнулся он. Даже не спросил, просто упало с губ дежурной шелухой. Ее жизнь не интересовала его никогда.

Ничего, ответила она, подумав: интересно, он хоть помнит меня? С Новым годом... И тебя, милостиво вернул он. Я хочу подарить тебе что-то, сказала она. Он хмыкнул: мандарин под елочку? Лучше, ответила она; мы можем встретиться напоследок?

Савельев даже не стал устраивать ритуальных возражений по поводу «напоследок»; согласился без энтузиазма: ну, давай.

Он назначил ей встречу в кафе у своего метро, уделив аж полчаса, — потом его должны были увозить на выступление куда-то за город: новогодний корпоратив, святое дело. И все равно опоздал, и даже в эти унижительные двадцать минут не захотел изобразить внимание, рассеянно шарил глазами вокруг и даже успел сканировать цепким взглядом какую-то телку.

Таня решила: ну, вот и слава богу. Подарю, прощаюсь и уйду. На диванчике возле нее лежала книга, и она гладила обложку, прощаясь разом с ней, с молодостью, с Савельевым...

Пастернаковский томик нашелся в пожелтевших завалах в доме покойной тетки: «Сестра моя — жизнь», первое издание, 1922 год... Царский прощальный подарок, и она предвкушала реакцию.

— Ух ты, — сказал Савельев. — Здорово.

Повертел книгу в руках и положил ее в сумку.

— Спасибо.

И это было все.

Таня смотрела, не узнавая. За чашкой капучино напротив нее сидел незнакомый человек. Вдруг он улыбнулся:

— Помнишь, как мы целовались?

— Помню, — ответила она.

— А давай, я тебе завтра позвоню? — предложил Савельев вполне конкретно. И вдруг бешено заколотилось ее сердце. Дура, сказала она себе, ну вот же дура, а? Позвали назад каштанку...

А вслух сказала ровно:

— Позвони.

— Напишешь телефон? Я потерял...

Как будто дело было в этом.

Она аккуратно записала свой телефон, низко опустив голову: щеки пылали. Он ничего не заметил, — не царское дело замечать женское волнение, — и зачихнул бумажку в карман вельветового пиджонского пиджака.

— Снова потеряешь, — сказала она, пытаясь быть легкой.

— Ни-ни. Позвоню! — с шутилой угрозой-обещанием ответил Савельев и поднялся: ему пора было ехать на этот корпоратив.

Она шла домой, презирая себя и прислушиваясь к счастливому глупому сердцу.

Савельев не позвонил — позвонили из подмосковной больницы: в кармане человека, привезенного «по скорой», нашли ту бумажку с телефоном. Больше при пострадавшем ничего не было. Пиджак вельветовый, да. Состояние тяжелое.

Никаких подробностей по телефону рассказывать не собирались. Ележдавшись утра, с новокаиновым сердцем, пытавшимся обезболить этот ужас, Таня ринулась из Москвы.

В больнице у нее сердито потребовали его документы — и чуть не наорали, узнав, что документов она не привезла. В реанимацию, разумеется, не пустили,

к врачам — тоже. Вы документы привезите, нельзя без документов, мы в милицию сообщать должны! Через «скорую» удалось выяснить, откуда был вызов, и она поехала в эти «Березки» за вещами и паспортом.

Душа, балансируя над пропастью, пыталась догадаться о значении слов «стабильно тяжелое». От того, какое слово было здесь главным, зависела жизнь...

В пансионате сказали: он вещей не оставлял. Так «скорая» же! «Скорая» приезжала ночью — драка была в баре, кого-то увезли... — а Савельев уехал сам, утром. Нет никакой ошибки, девушка! Посмотреть его номер? А вы ему кто? Нет, девушка, в номер нельзя, там другие люди живут. Да точно, точно! А Савельев уехал утром, не волнуйтесь так.

Выйдя на крыльцо, она судорожно вбирала в себя счастливый теперь рождественский воздух, ничего не понимая, кроме того, что ее, кажется, пощадил: звонок из больницы, бессонная ночь, невыносимо медленная электричка, тоскливые больничные запахи — все это было тяжким сном, и сейчас она проснется!

Таня вернулась к администраторше и попросила разрешения позвонить. Та снизошла, скривившись.

Услышав савельевское «але», истерзанная этими мучительными часами, Таня еле сдержалась, чтобы не заплакать. У тебя все хорошо?

Но он вдруг напустился на нее в непонятной ярости: что со мной может быть нехорошо? что ты звонишь? у меня все прекрасно! оставь меня в покое! И она растерянно положила трубку под презрительным взглядом из-за стойки.

И почему-то поехала обратно в больницу.

Попросила показать вещи. Сомнений не было: пиджак был тот самый и весь в крови; в крови и грязных следах были брюки и рубаха. Все это было — Савельева. И ее записка с телефоном!

Таня спросила о состоянии: все то же, стабильно тяжелое. Дождалась врача. Услышала диагноз и невеселые перспективы: перелом черепа, кровоизлияние в мозг, сейчас в искусственной коме. Нужно время; о полном восстановлении, скорее всего, говорить не приходится, но все бывает, надо надеяться... Общие усталые слова.

О ком шла речь, она уже не понимала.

Нашла по цепочке врача из «скорой» и услышала уже известные подробности — девушка, вступился, избили... Да — высокий, лет на вид тридцать, волосы русые.

Дома она обнаружила себя стоящей у телефонного аппарата, но рука так и не подняла трубку, чтобы снова позвонить раздраженному, оравшему на нее, чужому человеку. Думать тоже не получалось.

За окнами длилась ледяная ночь; где-то у черта на куличках, распластаный на реанимационной кровати, лежал в коме человек без имени и документов — и его единственной связью с миром была записка с ее телефоном.

Она пошла на работу, но с обеда снова сорвалась в больницу.

На третий день ей удалось уговорить врача, и ее пустили в реанимацию. То, что она увидела, подкосило ее. Это было тело с обезображенным лицом, со свистом дышащее через катетеры. И это был Савельев.

Через два дня она увидела его фамилию на афише у Дома литераторов и несколько минут стояла перед ней в темном облаке собственных мыслей, а потом пришла в указанный день — с расчетливым опозданием, невидимой...

Пошлый двойник Савельева читал его стихи и отвечал на вопросы. Он был очень хорошо подготовлен, этот двойник, но обмануть ее было невозможно: на сцене стоял другой человек!

Он читал с эстрадной подачей, а ей ли было не помнить, как дрожал на взлете голос настоящего Савельева, юноши-бога со смертной тоской в глазах... Этот, под-

наторевший в успехе, был обласкан жизнью, и на лице матово мерцала привычка к популярности. С языка слетали бойкие ответы на все вопросы мироздания...

Но самое ужасное, отчего потемнело в глазах у Тани Мельцер, невидимо стоявшей в дверях за шторой: на выступавшем был вельветовый пиджак. Тот самый.

Она вышла вон и осторожно побрела по Большой Никитской: ноги подкашивались безо всякого гололеда... Она не видела, как двойник вдруг изменился в лице, потерял мысль и еле выпутался из фразы. На автопилоте договорив репертуар, человек в вельветовом пиджаке сбежал вон прямо со сцены — кружным путем, через ресторан, на Поварскую...

Он увидел в партере девушку из пансионата.

Сероглазка была уверена, что вечер отменят, и пришла в Дом литераторов, чтобы узнать у кого-нибудь телефон своего рыцаря. Она помнила месиво, в которое бандиты превратили это лицо несколько дней назад, и, онемев, смотрела на целехонького Савельева, а потом пошла за кулисы, но рыцаря как корова языком слизала...

Наутро, в больнице, Таню Мельцер дежурно опросил унылый мент. Более всего мента беспокоило, не собирается ли кто-нибудь подавать заявление по поводу произошедшего. Узнав, что нет, служивый заметно повеселел и даже поблагодарил Таню за понимание: смысла, сказал, все равно нет, а нас... это... Он замялся и, не доглаголив, умолк.

Главврач позвал Таню поговорить о дальнейшем. Больного надо скоро выписывать; они сделали все, что могли, а мест нет совсем. Он так понял, что она невеста, а близких родственников у пострадавшего нет: она готова забрать его под подписку?

Таня похолодела, вспомнив, что у Савельева есть мать — кажется, в Воронеже, — и она ничего не знает. Надо было найти ее, сказать что-то... Но что?

Всю последнюю неделю Таня Мельцер пыталась жить в энергосберегающем режиме, но пробки вылетали все равно. У нее не было сил думать еще и об этом.

И она сказала: да.

Всего неделю назад она сидела в кафе напротив человека, которого, еще девочкой, назначила своей судьбой. Судьбы не получилось, и, повзрослев, она решила красиво закрыть эту страницу. Но зачем-то оставила ему свой телефон на клочке бумаги...

Сама не понимала, зачем.

Теперь — поняла.

Кто-то приходил в его палату каждую ночь — и вел смотреть на настоящего Савельева. Там всегда был день, и всякий раз хороший день, то солнечный, то не очень, но всегда желанный.

Больной узнавал эти пейзажи: бульвары, улицы, дома... — и у него сладко щемило сердце. Он, несомненно, бывал здесь, вот здесь и вот здесь тоже! А вот — боже мой! — какое-то совсем родное место, где когда-то случилось что-то нежное...

Он знал, что вспомнит это, непременно вспомнит, потому что память расширилась и в голове уже начали появляться слова. Они складывались воедино — сами, и он испытывал от этого мучительное наслаждение, как будто когда-то умел делать это очень хорошо, а потом разучился...

Он наблюдал за местом, где обронил свою жизнь, он заполнял себя странством своей памяти, а жил вместо него — Савельев. Тот, настоящий. Здоровый, вальяжный и знаменитый. Спрятавшийся в ту ночь в номере подмосковного пансионата. Этот уцелевший Савельев по-хозяйски брал куски его жизни — то на московских улицах, то среди каких-то дач и яхт; он сидел в кафе и давал интервью, он раздевал женщин и что-то делал с ними.

И лишь иногда этот победительный человек вставал сусликом посреди улицы и с тревогой смотрел наверх, будто догадывался о чем-то.

Однажды больной почувствовал на себе пристальный встречный взгляд и проснулся, застигнутый с поличным, в своей палате, под ночником...

На следующую ночь незнакомец не повел его никуда, сказав: надо переждать. Он чувствует, что ты следишь за ним. Будь осторожен.

Больной сказал: но если он меня видит, значит, я все-таки есть? Есть — на самом деле? Ночной человек ничего не ответил. И тогда больной решил рассказать все Тане.

Его рассказ сделал с ней ужасное: Таня завyla, закусив себе ладонь. Она выла — и смотрела такими глазами, что он очень разволновался. И тогда она прижала его к себе, говоря:

— О господи, о господи...

И тогда он спросил:

— Я — настоящий?

И она ответила два раза, хотя он хорошо ее слышал.

— Да! Да!

— А он?

На это Таня ничего не ответила, а лица больной не видел. Она прижималась к нему, и он чувствовал все ее тело и оба бугорка. И вдруг подумал, что это важнее, чем ответ на его вопрос. И погладил ее по спине.

— Не бойся, — сказал он, — все будет хорошо.

И она заплакала хорошими слезами.

Они молчаливо договорились не вспоминать о втором Савельеве, но, расстроенный слезкой, он сам обнаружил их бедную жизнь — и начал осматриваться в ней. Он пил с их блюдца и дышал их воздухом. Его презентации и корпоративы, коста-бравы и рублики, бабы и редакции невидимо громоздились теперь вдоль стен иерусалимской квартирки, куда Таня перевезла больного, едва тот пошел на поправку.

Двойника можно было теперь встретить, выйдя ночью в уборную: его гримировали в кухне перед телесъемкой, а он смотрел перед собой летаргическим взглядом. Человек с искореженным лицом оставался тогда в туалете подольше, давая двойнику время исчезнуть. А потом ложился в постель и говорил Тане:

— Он опять был тут.

— Ну, что ты, — говорила она, — что ты! Все хорошо. Никого нет, только мы...

И обнимала его, а когда она его обнимала, он все забывал.

Рассвет встречал их дружелюбным криком муэдзина из динамика. Таня первой выходила на кухню и, воровато озираясь, стирала со стола ночной след пудры, выбрасывала забытую гримерную салфетку, открывала окно...

Они завтракали и занимались для зрения и для памяти, а потом Таня уходила учить иврит или сидеть с чужими детьми, а вместо нее, посидеть с Савельевым, приходила соседка.

Таня оставляла книги. Страницы вкусно пахли, но читать он не мог: слова рассыпались на буквы и не становились больше ничем. Зато они потихоньку начали складываться в его голове. В них пряталась и улыбалась музыка: найди меня. И он искал, но она всегда появлялась сама: вот она я!

Ему нравились цвета за окном — всегда яркие и сильные; даже темнота здесь была чернее и глубже, чем до путешествия. Он подружился с фиолетовым деревом и белым кустом: они были верными друзьями и всегда ждали его во дворе, когда он выходил посидеть на воздухе.

Но больше всего ему нравилась вечерняя игра, когда Таня зубрила по бумажке новый язык. Он повторял за ней слова, и это было так волшебное: адони,

слах ли, бэвакаша. Самые простые вещи превращались в шараду с разгадкой, и разгадка оставалась в нем навсегда.

Таня смеялась и завидовала его памяти: она запоминала иврит гораздо хуже...

Но иногда среди веселья она заглядывала в его глаза, пытаясь понять, что происходило в ее отсутствие. Однажды, сама понимая, как странно это звучит, осторожно спросила соседку: никто не приходил?

Та глянула пытливо: нет, а что?

Но московский двойник приходил теперь и среди бела дня. Лунатически озирался, заглядывал в холодильник, съедал какой-нибудь ломоть сыра, запивал соком и исчезал.

Однажды он привел с собой бабу и торопливо лапал ее в метре от несчастного инвалида, а потом прислонил к коридорной стене и отымел. Баба издавала ритмичные павлиньи крики. Застегиваясь, московский гость на миг застыл с привычным вопросом в глазах: где я? кто тут? — дернул головой, сбрасывая с себя морок, и исчез.

Следом растворилась баба, оставив по себе чудовищный запах парфюма.

От запаха ли, от самого ли гостя или от времени песка, особенно жестокого в тот год, у Савельева началась аллергия, и тело пошло красными рубцами: они проступали, как следы от невидимых шпицрутенов.

В один ужасный день двойник заявился с верзилой, называвшим его «братуха», и бедный иерусалимский жилец похолодел от страха, потому что ясно вспомнил этого человека: его большую потную руку, богатый аквариум в кабинете, похожем на антикварный салон, офис, вызывавший чувство стыда и опасности...

Этим воспоминанием прорвало какую-то мутную плотину, и в голову налетело ужасной дряни. День был погублен безнадежно, пахло армейским сортиром и лосьонами, и не спасали ни фиолетовое дерево, ни белый куст...

Словно почуяв слабое место, верзила стал заявляться к нему сам, без «братухи», тиранил и играл в прятки водящим.

— Зёма! — кричал он и громко ржал. — Ты задолбал уже прятаться, выходи. Пушкин, ..., — где ты?

Бедный больной сидел, забившись в угол, и боялся дышать. Тело горело от аллергии. Таня мыла потом полы с хлоркой и проветривала квартиру.

Однажды она предложила сыграть в веселую игру и выбрать себе другое имя. Здесь многие играют в такую игру! Надо просто взять другое имя — и перейти в него. А «Савельев» пускай останется лежать пустой шкуркой. И они перестанут нас мучить. Потеряют тебя из виду и забудут дорогу в наш дом. Правда же, хорошо? И мы наконец поживем вдвоем...

Таня говорила так просто и убедительно, но почему-то ему было нестерпимо жалко шкурку по имени «Савельев». Он так успел с ней сжиться...

— Но я же Савельев, — сказал он. — Ты сама говорила!

— Да, — ответила она, — но видишь: все думают, что настоящий Савельев — он. Ну, и пускай думают! Какая разница, правда? Разве в этом дело?

— А можно им объяснить?

Она покачала головой: нет. Они не поверят. Давай я лучше покажу тебе, какие красивые тут бывают имена! И она прочитала имена, и они действительно были очень красивые. И Бецалель — в тени Бога, и Ариэль — Бог-лев, и Шимшон — солнце...

Но они выбрали коротенькое — Там. Это означало — близнец. Там Мельцер. Правда, красиво?

— Очень, — сказала Таня.

— Значит, я буду теперь — Там? — спросил Савельев, притормозив у какой-то черты.

— Нет уж, — рассмеялась Таня. — Пускай он будет там. А ты будешь — здесь.

Он не понял, почему ей смешно, но не огорчился. Главное, что ей было хорошо, а он любил, когда ей хорошо. И тогда какой-то человек приехал к ним в квартиру и смотрел бумаги, которые доставала Таня, и сам доставал бумаги, и они все решили.

Там Мельцер жил теперь на окраине Иерусалима, а никакого Савельева не было.

Жизнь в новом имени длилась долго-долго и успела пропитать его теплом. Зуд прошел без следа. Мир расширился: он уже ездил с Таней в автобусе! Он садился впереди у окна и смотрел не отрываясь... Это было невероятно — этот белый город, это пространство, теряющееся в дымке. Это было настоящее приключение!

Посередке они выходили у какого-то сада и садились за столик под тентом, и смуглый человек, жужжа машинкой, делал им вкусный сок со смешным именем «микст».

Скоро этот смуглый человек уже узнавал их, и всегда был им рад, и шутил с Таней, а его хвалил за то, что он, Там Мельцер, все умел попросить сам, на иврите. Они были молодцы, потому что вставали рано и успевали обернуться до жары, а иногда он ехал назад с соседкой, а Таня ехала на работу...

В автобусе, едущем домой, он снова садился у окна и наполнял себя светом этого города, а вечером выходил во дворик. Он ждал Таню, глядя, как медленно тускнеет фиолетовое дерево и блекнет белый куст. Сидел — и тихонечко складывал слова в музыку.

Он всегда угадывал автобус, в котором возвращалась Таня. Сначала тот появлялся далеко-далеко, совсем маленьким, и поворачивал за холм, а потом выезжал из-за поворота уже большим, — и из него выходила Таня. А потом наступала ночь, в которой никто не мешал им и никто не являлся без спроса.

Так они жили, и время воды снова сменялось временем света, а потом наступало время жары и время песка, и все повторялось. Музыка становилась все ярче, и звуки уютились друг ко дружке, и было так сладко повторять их гортанным звуком и записывать новыми веселыми буквами...

В этих буквах сам собой вырастал белый город, расцветал куст и мелькала птица. Туда помещались Таня, дорога, идущая по холмам, смуглый человек с желтым стаканом сока по имени «микст» и воспоминания обо всем, что было и будет...

Туда помещался — мир.

Но однажды Таня сказала, что им надо попрощаться с этим домом, потому что они переедут в другой, у моря, и туда приедет жить ее мама.

— А знаешь почему?

— Почему? — послушно переспросил он. Она держала его за руки, и он знал, что все хорошо.

— Потому что у нас родится сын.

Он удивился и немного заволновался от этой вестии, но все случилось именно так, как сказала Таня. Она даже угадала, когда он родится, этот мальчик. Она была необыкновенная женщина.

Они называли его Савелий, что означало — испрошенный у Бога.

Сначала Савелий Мельцер был кусочком мяса, и все время кричал о чем-то своем, и мешал Таму Мельцеру слушать музыку, звучащую внутри, но потом из отлучки вернулось время света, и оказалось, что это не кусочек мяса, а человек.

Но еще сильнее, чем сын-человек, новосела поразило море. Оно было таким сильным, таким уверенным в своей правоте! Оно дышало полной грудью и

никого не боялось. Оно с размаху билось о камни, но это было не страшно, потому что Там Мельцер сидел на скамейке высоко-высоко и волны только грозились, а достать его не могли.

Он сидел лицом к морю и небу, и Таня была рядом, а в коляске лежал мальчик Савелий Мельцер, и в душе нарастали звуки, послушные ритму волн и ветра, и он уже умел поймать эти звуки и оставить их на бумаге навсегда.

Все длилось, менялось и возвращалось на круги своя; мальчик Савелий сам заковылял по дорожке, а потом пошел и стал быстро тянуться к небу...

Но однажды пришло время очень тревожной воды.

В тот вечер рано стемнело, а потом кто-то начал рваться в окно, и Там Мельцер застонал в тревоге.

— Это ветер, — сказала из темноты его жена Таня, — ветер...

Но посреди комнаты уже стоял тот, забытый, ночной человек. Он стоял молча, дожидаясь, пока Савельев проснется окончательно, и сердце лежащего обрвалось: да, он Савельев... Савельев!

Лежащий понял, что спрятаться не получилось, и его сердце охватила смертная тоска.

— Ну что, Савельев, — спросил призрак, — так и будем валять дурака?

— Я — Там Мельцер, — неуверенно сказал лежащий, заклиная темноту. Сказал вслух, и Таня снова проснулась:

— Да, мой хороший... Спи.

Она нашарила его голову на подушке и погладила ее.

Призрак дождался, пока Таня опять уснет, и негромко усмехнулся:

— Ну, спи... Мельцер. — И исчез. А человек остался лежать во тьме с открытыми глазами. Он уже не знал, кто он. Его не было нигде.

Настоящий Савельев пришел той же ночью и, подойдя к кровати, крепко сжал лежащему горло, перекрыв ему дыхание.

— Это моя жизнь! Моя!

Он говорил и в такт словам сжимал пальцы на горле:

— Ты понял? Моя!

Лежащий пытался кивнуть, но у него не получалось. Снять чужие пальцы с горла тоже не получалось, руки не слушались.

— Я буду жить так, как хочу, — тихо и яростно говорил пришедший. — Вон из моей жизни, ты понял? Я Савельев! Я!

Таня проснулась от хрипа. Лежащий рядом человек без имени судорожно хватал руками воздух, пытаясь вдохнуть.

«Скорая», приехав почти сразу, успела снять приступ удушья, но еще до этого, в панике перекапывая аптечку в поисках ампулы, Таня отчетливо услышала, как кто-то, уходя, тихо прикрыл входную дверь.

С той ночи жизнь превратилась в ожидание казни. Человек с исковерканным лицом знал, что его целехонький двойник вернется, и знал зачем.

Несчастный не решался сказать Тане, что он больше не Там Мельцер, как записано в ее бумагах, но Таня обо всем догадалась сама.

— Это я виновата, — шептала она, обнимая его. — Мы выбрали неправильное имя...

Но он уже был Савельевым и знал, что это насовсем. Жизнь снова не принадлежала ему: по душе, как по промокашке, расплзались грязные пятна чужой биографии.

Аллергические рубцы атели на теле. Спасения не было.

Но этой ценой он купил последнее блаженство...

Сначала вернулось из отлучки мучительное и сладкое имя: Ленка Стукалова. И тут же, откликнувшись на дактиль, она сама повернула из переулка и по-

шла по Малой Бронной. И Савельев встал ей навстречу, поднявшись со скамейки на морском променаде...

А в летнем московском кафе из-за столика поднялся загорелый мужчина с золотой цепью на шее, в белой дорогой рубашке. Он обнял Стукалову, но она прекратила объятие чуть раньше, чем хотелось мужчине, и не сняла солнечных очков...

Ленка прятала глаза. Она была несчастлива, и Савельева больно ранило это.

Он помнил ее юной и свободной. Необыкновенной! Та, что сидела теперь за столиком с чужим мужчиной, была почти неотличима от других. И лишь что-то в глазах, спрятанных за дымчатыми стеклами, цепляло внимательного прохожего.

Она дышала последним воздухом бабьего лета, она пила горький настой того недлинного дня, когда женщине еще заглядывают в глаза, но уже забывают проводить взглядом фигуру.

Савельев знал про нее все. Как вернулась к Гальперину и они прожили несколько лет — и все-таки расстались; как вышла потом замуж и родила дочь, и муж уехал по контракту в Штаты, и они перебрались следом, но там обнаружилась другая женщина...

Савельев знал все и отдал бы лучшее, что имел, — легкий утренний воздух, время света, дугу горизонта, все волшебство, посланное ему, весь алфавит, всю музыку... — за возможность сделать Ленку счастливой, вернуть ей улыбку, выпрямить спину!

Но у него не было хода в этой партии.

Таня увидела Стукалову, когда та шла по променаду вдоль моря. Она вспомнила ее, ибо нельзя забыть нож, которым вели тебе по сердцу, даже если им вели четверть века назад. Она посмотрела на Савельева и все поняла...

Настали тяжелые дни. Воздух в доме свернулся в сыворотку. Таня превратилась в печального молчаливого робота, и Савельев вздыхал с облегчением, когда она уходила на работу. Он не хотел, чтобы жена видела, как Ленка Стукалова садится рядом с ним на скамейку, как берет его за руку и как они смотрят вместе на море...

По ночам супруги лежали рядом, как две вражеские траншеи, а утром он старался не вставать, пока Таня не поведет мальчика в школу.

Однажды она разрыдалась. Она рыдала и выла, сидя на кухне, и мальчик Савелий Мельцер опасливо стоял в нескольких шагах, глядя на маму. Она выла, закрыв лицо руками. Савельев подошел к ней и осторожно погладил плечо, и тогда Таня разрыдалась еще сильнее.

Ночью он нашел в темноте ее голову на подушке и погладил ее. Она обхватила его руку и прижала к лицу. И он обнял ее.

Там Мельцер обнимал свою жену, а Савельев смотрел на них с холодной жалостью. В его жизни ничего не изменилось: он любил другую. Но его хода не было в этой партии, и время висело на флажке.

Московский Савельев сжирал последний воздух его жизни, превращая остатки дней в гниль и труху. Дружбан двойника, называвший своего раба «зёма» и «братуха», обучил того тупой армейской забаве: протыкать иглой цифру отжитого дня в календарике, и из этого решета несло смрадом.

Ленка уже не садилась на скамейку, где сидел Савельев. Она проходила мимо, сквозь гуляющих на променаде, а потом и вовсе забыла дорогу сюда, и воздуха перестало хватать для нормального вдоха; он добирал его теперь судорожным глотком...

Аллергия исполосовала тело Савельева красными несводимыми рубцами; зуд был нестерпимым, и его не брали никакие лекарства. Музыка ушла насов-

сем, и он навсегда спрятал ее в две папки с бечевками, серую и синюю, — и оставил их лежать на краю стола, на память о своей второй жизни.

Бытие съезжилось до попытки вдохнуть, смертной тоски и нового, темного желания: мести. Целыми днями, тихонько раскачиваясь (то на своей скамейке, лицом к морю, то в комнате, лицом в стену), больной преследовал своего гнилого двойника обмороками раздвоения; по ночам мстительный двойник перетапывался за дверью, подбирая отмычку.

Двери были заперты на оба замка, но отмычка находилась всегда. Им было не жить вдвоем, и оба знали это.

Савельев забывался тоскливой дремой, когда серый свет уже наполнял кубатуру комнаты, и в коротком провале всегда попадал в свой главный сон: как идет по полутемной лестнице вверх, навстречу судьбе, — а двойник с ненавистью смотрит на него снизу, не в силах простить собственного страха.

Под утро чужие сильные пальцы сжимали горло Савельева: «Это моя жизнь, моя».

Приступы ночного удушья стали постоянными, и шприц всегда лежал наготове. Таня теперь тоже не спала — скользила по тревожной грани забытья, боясь пропустить хрип умирающего. Врачи давно не говорили о выздоровлении; молчаливая их речь шла только о милосердии и сроке.

В последнюю ночь двойник не счел нужным мучиться с отмычками. Глухие удары и скрип дверной рамы означали, что срок пришел.

Таня, дрожа, нашарила выключатель. Родной человек с исковерканным исхудавшим лицом лежал с открытыми глазами, пытаясь вздохнуть. Дверная рама трещала под натиском. Таня бросилась к наполненному шприцу — в руке лежавшего уже почти не было жизни, — но сделать укол не успела: в дверном проеме стоял потный лысоватый мужчина с мучительно знакомыми чертами.

Он был в новехоньком концертном пиджаке из кремового вельвета — и с фомкой в руке. Костюм не застегивался на располневшем теле. Глаза были устремлены на лежащего: с запрокинутой головой и исковерканным лицом, тот пытался вздохнуть, но не мог.

Глаз в неестественно широкой глазнице наполнился ужасом, и тогда вошедший сказал:

— Я тебя предупреждал. Я Савельев! Я!

Таня бросилась на незваного гостя, но отлетела к стенке и упала; мир опрокинулся в туман. Когда она нашарила упрыгавшие очки и подняла голову, мужчина в кремовом пиджаке вытирал ладони о пиджак и смотрел на нее, что-то вспоминая.

Наконец он узнал ее и спросил:

— Помнишь, как мы целовались?

Улыбнулся потным лицом и пообещал:

— Я тебе позвоню.

...В квадрате окна, разбавляя свет ночника, появлялся день. В рассветной дымке проступала постель, женщина, сидящая на полу у постели, ненужный шприц под кроватью.

Человек лежал с приоткрытым ртом, запрокинув голову, словно изучал потолок стекленеющими глазами.

Больше в комнате никого не было.

Тама Мельцера похоронили на городском кладбище, а через две недели его вдова нашла в фейсбуке Олега Савельева, российского поэта и телеведущего, главного редактора...

Мысль об убийстве пришла в голову Тани на третью ночь, простая, как все важные мысли. Она даже не испугалась — так очевидно было, что человек в

вельветовом пиджаке должен умереть. И начала прокладывать тропинку к решению задачи — как будто речь шла о книжном детективе.

Она была спокойна и точна — ночью.

Днем было труднее. Надо было разговаривать с сыном, ходить на работу, отвечать на соблезновения, и, когда в середине дня Таня вспоминала о своем плане, она вздрагивала от тоски. Она догадывалась, что не сможет переступить рубеж.

Но наступала ночь, и сна все равно не было, и она возвращалась к решению задачи, как возвращаются к отложенному sudoku. Мыслями об этом было хорошо занимать голову.

Кто может запретить человеку мечтать об убийстве другого человека? Все это было наркотиком, сладкой дозой для мозга: а если так? не выходит... а так?

На восьмые сутки сценарий приобрел законченный вид.

В том, что пошляк клонет на приманку, сомнений у Тани не было: это сердце было падко на сладенькое, а кроме собственной нежной ностальгии, она положила в ловушку приманку понадежнее: молодую подругу, поклонницу таланта.

Прилетит, никуда не денется.

Ужин с вином, ожидание подруги... Ее звонок о том, что сегодня она не сможет вырваться, но просит уделить время завтра. Прозрачный, с легкой женской ревностью, намек: кажется, девушка ищет встречи наедине... Еще вино, воспоминания о юношеском поцелуе, глаза в глаза, сладкая ностальгия, готовность проводить его до номера...

Этот пустоватый, странный отель, с номерами по периметру и головокругительным колодцем пролета в середине, Таня обнаружила случайно: московская знакомая передавала с оказией два блока сигарет. Тогда-то она и попала туда. Ступни ног закололо, когда, выйдя из лифта, Таня пошла вдоль низковатой мраморной ограды...

Она заново ощутила страх, когда вспомнила это место на третью ночь бессонницы. Да, здесь!

Наутро Таня зашла в отель узнать о ценах, попросила разрешения посмотреть номер с видом на море. Вид был прекрасен, особенно с десятого этажа.

И снова сладко кололо пятки, когда шла по периметру к лифту. И странной радостью согрелось сердце от очевидной необитаемости этого этажа, от холодной, без единой зацепки, облицовки парапета...

Сколько секунд лететь отсюда до пола?

Успеет ли он закричать или будет только размахивать руками, пытаясь нащупать опору там, где ее нет? Успеет ли понять, за что? Жалко было, что не успеет, и ее фантазия начала рисовать кинематографические варианты, с монологом перед убийством... Но нет: догадается и отбежит от края.

Ни слова. Просто: попросить подержать сумочку, чтобы занять ему руки и освободить свои, и сразу — резкий толчок в грудь, и проводить за парапет, чтобы не зацепился ногами.

Камеры наблюдения в квадратах за стойкой портье перещелкивались со входа в отель — на лобби, а потом на выход из ресторана. Этажей в квадратах не было.

Таня почти не волновалась. В сердце не осталось ничего лишнего. Она проиграла заранее каждое движение, как прыгун в воду проигрывает в уме прыжок перед тем, как качнуть трамплин.

Былой возлюбленный ответил на письмо — и послушно, как компьютерный персонажик, пошел навстречу запрограммированной смерти... Таня двигалась по пунктам своего плана, успевая удивляться тому, как гладко все складывается, и как ничего внутри не мешает ей.

Но за день до савельевского прилета она проснулась в смятении.

Происходящее вдруг дошло до нее. Таня с ужасом обнаружила, что все это — на самом деле, и мысль об убийстве отозвалась ясным отвращением. Ее душа не хотела этого и твердо накладывала вето.

Мозг чувствовал себя обманутым. Он так старался, он столько всего придумал! Мельцер курила одну за одной, и бедный мозг этот, как курица с отрубленной головой, кудахтая, носился одними и теми же кругами.

Но Савельев уже летел в Израиль, и Таня просто спряталась в смятении.

Она курила на своей кухне, слушая, как дрожат стекла от ветра, — и лежал в обмороке на столе выключенный с вечера телефон. Добрый бедняга Борухович радостно взялся привезти гостя на место отмененного преступления.

Под утро ей удалось подремать, а потом она выпила кофе, проводила мальчика в школу — и пошла в ненавистный отель. Никакого плана не было, не было вообще ни одной мысли по поводу того, что делать с приезжим, если его нельзя убить...

И — помереть со смеху — ей было неловко, что она его обманула!

Подходя к отелю, она вспомнила свои криминальные расчеты и удивилась им, как наваждению: какая глупость, о господи! Агата Кристи, убийство в Нетании... И только дрогнуло сердечко, когда колодец пролета ушел наверх страшным напоминанием.

А потом — то хлестал, то утихал ливень за окном, и официантка роняла приборы, и кто-то смеялся на кухне, и малознакомый человек, которого она зачем-то вытащила сюда с другого конца света, жадно ел салат и пытался понять, что происходит, и не мог.

На нем не было вельветового костюма, и, в сущности, он был вообще ни при чем. Так странно было думать, что его тоже зовут Олег Савельев, как того юношу с пшеничной челкой, в которого она была влюблена когда-то, и что прошло четверть века, и что минувшей ночью она планировала убить его, столкнув в колодец лестничного пролета...

От этой мысли покалывало в пальцах.

Но он был жив и как ни в чем не бывало ел салат, а она сидела напротив, не испытывая никаких чувств. Все это уже не имело к ней отношения, и надо было просто пережить этот дурацкий день.

И внезапным счастьем отозвалась мысль о сыне — как придет из школы, и она накормит его обедом, а вечером он пойдет к друзьям, ее внезапно вытянувшийся красавец... А потом вернется домой и, войдя, крикнет внезапным баском: «Ма, я тут!».

Ее жизнь обрела равновесие; крылья беды и радости были равны. И при чем тут этот лысоватый с салатом?

Уже уходя, Таня увидела себя его глазами, — усталую тетку, в которую превратилась девочка из скверика на Поварской, — и ее пронзило прощальной жалостью ко всему, что не случилось.

Тоска прошла, и она уснула, счастливая тем, что все осталось позади. Но утром раздался звонок, и хриплый мужской голос сказал:

— Я все знаю.

...Взметнулась занавеска во внезапном проеме двери, и резкий порыв сквозняка поволок его к низкому парапету, к гибельной дыре пролета.

Савельев в ужасе оперся о скользкий бортик, и ладони успело обжечь малостью этой зацепки. Неодолимая сила продолжала тянуть его за парапет, и он понял, что это конец, но дверь со спасительным грохотом захлопнулась, и ветра не стало.

Еще во сне успев отбежать от пропасти, Савельев очнулся с пересохшим горлом и больной головой.

Колодец пролета остался в кошмаре. И зиял реальностью — в десяти метрах, за стенкой номера...

Полежав еще, Савельев негромко сказал:

— Все под контролем.

Но это сказал не он, а Ляшин, живший в нем, и ничего не было под контролем. Посвистывал ветер в щели, поколачивало балконную дверь, и темнота была в сговоре со всеми, кто не любил Савельева. А его не любил никто.

Гость Нетании крепко выпил на ночь глядя, надеясь на забытье, но вместо забытья дружной семейкой, взявшись за руки, пришли жажда, тошнота и головная боль, и теперь ему было очень плохо.

— Кому было бы лучше? — громко спросил темноту Савельев. — Если бы я стал калекой... Кому?

Никто не ответил ему. И тогда он сделал заявление для прессы. Он сказал:

— Я никому ничего не должен!

В балконную дверь продолжали ломиться.

— О! — кривляясь, крикнул Савельев. — Совесть! Наша со-овесть!

И снова услышал: это сказал Ляшин.

Зацепившись за имя, мозг, хохочущим калибаном, разом выволок из чулана все гнилье: неотвеченные звонки, дружанов, холуев, девок, кураторов...

Савельев тяжело встал и пошел к холодильнику. Вода была только газированная, с отрыжкой, — именно этого и не хватало Савельеву для окончательной ненависти к миру. Живот скрутило; жить не хотелось совсем. Надо было как-то договориться с собой, но для начала — с организмом. В аптечке нашлись волшебные американские таблетки для возвращения к жизни, и через час Савельев уже мог думать.

Итак, вот он (доброй ночи всем). Сидит за каким-то хером в Израйловке, на толчке, посреди шторма, раскачивающего пальмы, за дребезжащей балконной дверью, в гостиничном номере, оплаченном подругой юности. Или — вдовой?

Чьей, позвольте спросить, вдовой?

Он попытался вспомнить здешнее имя покойного — костлявый говорил... еще такое глупое имя... — и не смог. Какая разница! Эти наклейки можно менять, как на чемодане.

Месяц назад в Нетании умер он сам: Лелик Савельев, мальчик из Воронежа, московский студент, юный гений с пшеничной челкой, поступивший со своей жизнью так страшно и прекрасно в ту проклятую зимнюю ночь.

А его серый двойник, приросший тогда к полу, — лицом в дверь, сторбленной спиной к миру, — сидел теперь враскоряку на толчке посреди Нетании и думал, как ему жить дальше, при таком раскладе.

Сходить с утречка на могилу к себе самому? Ага, скажите еще: покончить с собой на этих еврейских камнях. (Убейте беллетриста, который выдумал это.)

Нет, нет. По-другому. Но как?

Молча дожить свою жизнь, вот как.

Но — какую именно?

Измученный Савельев заснул перед рассветом, и там, во сне, кто-то простил его с легким, вполне выполнимым условием, но условия прощения исчезли при первых звуках отвратительного жужжания...

Савельев повернул голову: жужжал айфон, поставленный на вибрацию; жужжал и ползал по прикроватной тумбочке. Было светло, и уже давно.

Пошли к черту, сказал Савельев всем, кто жил в этом айфоне. И остался лежать, глядя в залитый внезапным солнцем потолок. Он попытался вспомнить слова, услышанные во сне, восстановить условия перемирия... У него не получилось, — но главным все-таки было то, что это возможно, возможно!

Савельев дал себе время проснуться, не растеряв спасительного света в душе; спустился на завтрак, любуясь контролируемым парением стеклянного лифта. Старик в окне, в доме напротив, плавно взлетел навстречу...

Савельев выпил кофе на террасе и вышел наружу. Наполнил легкие приятным ветром, глубоко вдохнул, выдохнул. И тремя касаниями пальца вызвал из записной книжки номер Тани Мельцер.

Человек с исковерканным лицом смотрел на Савельева. Взаимное изучение длилось уже минуту.

Таня сидела рядом, глядя на того из них, который был жив.

— Это — три года назад, — сказала она наконец про фотографию. Московский гость кивнул. Он был растерян и тих.

За полчаса до этого Савельев коротко позвонил в ее дверь.

Таня сама позвала его приехать. Душевные силы разом оставили ее: она поняла, что не в силах больше подойти к отелю.

И вот этот человек сидел у нее за столом.

— Расскажи еще, — тихо попросил он.

Память Савельева услужливо вычистила все, что было связано с той январской ночью: он не помнил ни ее звонка потом, ни даже встречи накануне. И она рассказывала ему — про бесконечные электрички, про вызубренную дорогу в больницу, про врачей и сестричек, про нескончаемый холодный февраль, в котором пришлось бросить работу и вытягивать его из бездны...

Местоимения выдавали Таню, блуждая между «он» и «ты», но «ты» было все ближе. Спасенный ею, ставший совсем родным, давший ей сына и не переставший быть ее ребенком, исполосованный аллергией, несчастный, любимый, похороненный полтора месяца назад, — Там Мельцер растворялся в прошлом.

А вернулся Олег Савельев, постаревший любимый юноша со смертной тоской в глазах, и ее сердце отзывалось привычным сладким обмороком на взгляд этих глаз.

Располневший, потерявший дорогу, измотанный дрянной суетой, — это все равно был он, ее мальчик-счастье. Пришедший в раскаянии, по запасным путям судьбы...

И Таня замолчала, примагниченная их общей печалью, этим покорным молчанием, этой виной и готовностью вернуться в их бездонный сюжет... И Савельев поймал эту секунду и бережно донес ее до поцелуя.

Он был удивлен и счастлив тем, как просто даруется прощение. Ничего не надо было делать, только благодарить и возвращать. Не было ни прошлого, ни вины в нем, ни года, ни города — только мягкие, отдающие табаком губы и закрытые глаза...

Его — любили.

Но глаза женщины открылись, и в них стояла растерянность. Она медленно выходила из сна.

— Прости, — сказала Таня, — не надо...

— Надо, — угрюмо и беспомощно ответил Савельев. Она молча помотала головой и убрала руку из его руки, и нервным движением отодвинула вбок фотографию.

Но человек на фотографии все видел.

Он смотрел теперь на Савельева презрительно и печально, и свет ушел из души гостя. Благодарность вытекла из сердца, оставив досаду, а досаду сменило самолюбие.

— Таня... — бархатно сказал Савельев и приложил ладонь к ее щеке. И у нее снова затуманился взгляд.

Подлец, сообщило ему сознание. Савельев даже не стал спорить: не было времени на эти подробности. Он не мог допустить поражения! Это было бы уже слишком.

И в расчетливом порыве он приступил к делу.

Таня лепетала что-то про сына, который скоро придет из школы, про «не сейчас», но Савельев уверенно шел к цели. Он знал свою власть над этой женщиной, и торжество поселилось в его душе, когда он понял, что сломал ее.

Уже покорную, Савельев развернул жертву так, чтобы увидеть лицо соперника на фотокарточке. Его заводил этот лузер, этот беспомощный взгляд из неестественно широкой глазницы. Давай, давай, смотри! Ты хороший, а я живой!

И словно сполохом осветило пространство: он вдруг узнал квартиру. Вспотели ладони от этой памяти, но только раззадорило Савельева от молниеносной ясности сюжета. Ага. Ну, значит, так! И к черту сопля. Это его жизнь, его! И он будет делать в ней то, что захочет.

Он уже довел Таню до постели и совершал с ней ритуал, который, по заведенному обычаю, фиксирует победу мужчины над женщиной.

— Не так... — просила она. — Пожалуйста, не так.

— Так, — отвечал он.

Месть оказалась сладким наркотиком, и давно забытым кайфом пробило Савельева. Он грубо брал ее — за всех, кто не достался ему. За нее же, юную, на той скамейке, за сероглазку в пансионате, за наглуую девку в сауне, за презрительную эммануэль, за недоступную Ленку Стукалову...

За всех, кто посмел оставить шрамы на его мужской гордыне.

Ее тело напряглось, но он только подзавелся от жалкой попытки сопротивления. «Все под контролем», — сладко прохрипел Савельев и вышел на финишную прямую.

Едва переведа дыхание после финиша, он спросил:

— И где твоя знакомая?

Это был контрольный выстрел.

— Что? — В глазах использованной женщины темной водой стоял ужас.

— Знакомую твою — позовем? — усмехнулся памятный Савельев.

И ушел в ванную окончательным победителем.

Там психика дала слабину, и Савельеву стало стыдно, но ненадолго. Умное сознание тут же подкинуло ему давешнее «я хотела тебя убить», и он перевел дыхание. Поделом ей, заслужила.

Савельев быстро привел себя в порядок и прямо из ванной повернул в прихожую: прощание было явно лишним. Попрощались уже, считай. Он вышел из квартиры, но рука притормозила на дверной ручке.

Остановила Савельева память о каком-то слове, слышанном недавно. Что-то он не доделал в этой квартире...

И он вспомнил. Ах, да. Она же говорила: он писал стихи, этот Мельцер! Человек с поломанным лицом, соперник... Стихи!

Запрещая себе слышать низкий женский вой, несшийся из спальни, Савельев вернулся в квартиру и бесшумно метнулся наискосок, во вторую, малюсенькую комнату. Быстро сканировал тесное пространство, раз и навсегда убранный после смерти хозяина: этажерка, стул, письменный стол с лампой, старый комп...

Их было две — папки для бумаг, канцелярские, с завязками. Серая и синяя. Они аккуратно лежали на краю стола. Вес их приятно порадовал руки — папки были набитые, тяжеленькие. Савельев прижал добычу к груди и выскользнул вон из квартиры.

Кто-то поднимался снизу, и Савельев птицей взлетел на два лестничных марша. Через десяток секунд в квартиру вошел мальчишка.

— Ма, это я! — крикнул он. — А чего дверь открыта?

Савельев дождался, пока хлопнет дверь, и невидимкой слился вниз. Он даже успел подумать про идеальное преступление, но горячо возразил себе: нет, не преступление! Это мои стихи, мои.

Савельев, задыхаясь, шел через город в обнимку с папками, а потом неуклюже держал их одной рукой, а другой махал, как крылом, призывая такси. Потом — ехал на заднем сиденье, приводя в порядок дыхание и нежно поглаживая добычу, лежавшую рядом.

Сердце колотилось; он еле дотерпел до отеля. Ах, какой сюжет! Новая книга, вечер в ЦДЛ, изумление тусовки: возвращение поэта после многолетнего молчания! Тайная работа души, ага. Савельев усмехнулся: я еще всех умою.

Они у меня узнают, думал он, взмывая на стремительном лифте.

Что именно они узнают и кто «они», Савельев додумать не успел: едва войдя в номер, он бросил папки на кровать и сам бросился к ним в радостном мандраже, но потянул не за тот край бечевы и намертво затянул узел...

Терпежу не было расковыривать этот узел, и Савельев в два счета распахнул другую папку.

В глазах потемнело. Не веря увиденному, он разворошил листы...

Пресловутые рыболовные крючки рассыпались перед ним вместо букв. Чертова еврейская вязь, гомункулусы из семитской пробырки!

Стихи были на иврите.

Наутро в аэропорту его обшмонали так, как никогда не шмонали ни одного поэта.

Заглянув в паспорт, сотрудник коротко глянул в глаза Савельеву и переспросил: как ваша фамилия? — и пассажира пробило ужасом от этого простого вопроса.

Сотрудник кивнул понимающе и начал изучать визы. Потом подозвал еще одного человека, а тот — еще одного. Уже втроем они начали задавать новые вопросы, внимательно наблюдая за тем, как бегают глаза у пассажира и взмокает его лоб.

Зачем прилетал, где жил? Есть ли чек из отеля? Кто оплачивал? Почему поменял дату вылета? С кем встречался?

Савельев отвечал, холодея. Всю ночь накануне отлета он душил человека с поломанным лицом, а потом бежал через город с ворованными папками, и все его видели, и буквы иврита, выползая из-под картона, цеплялись за рукава и норовили забраться под обшлаг рубашки. Сна не было ни секунды!

Сотрудники безопасности, несомненно, знали обо всем, но не спрашивали впрямую, делая вид, что им нет нужды ни до убийства, ни до похищенных папок... Они играли с Савельевым, как кошка играет с мышкой; они видели его состояние и куражились, уже поймав.

Потом Савельева попросили пройти куда-то.

Он понял, что это конец.

В отдельной комнате к троим вопрошающим прибавились новые люди. Они перебирали его вещи, для виду уносили и приносили планшет, но наконец заинтересовались и папками, серой и синей: что там?

Он ответил апатичным голосом: рукописи. Ваши? Нет, ответил он. А чьи? Моего покойного друга. Как его зовут? Он замялся, вспоминая имя, и эта заминка тоже не ускользнула от внимания проверяющих.

Имени он не вспомнил и сказал просто: Мельцер.

Развяжите их, пожалуйста, ласково попросил проверяющий.

Савельев проклинал себя — надо было выбросить вчера эти папки! Но утренняя психика отказывалась признать поражение, и он решил взять их с собой, чтобы сварить хоть какой-нибудь бульончик из своей добычи...

А Мельцер заявила в полицию.

Почему он не подумал об этом? Нет: он подумал, но решил почему-то, что она не заметит, или не решится, или не успеет! Даже билет поменял, кинув этого дурачка Боруховича с его диктофоном... Понадеялся на русский авось!

А она успела.

Так глупо, так банально попасться!

Но только ли про папки речь? Холодом пробило шаткую теперь психику победителя: он вспомнил взгляд из огромной глазницы, свои руки на хлипкой шее. Погодите, в отчаянии крикнул кто-то внутри Савельева, но это же был сон!

Уже ни в чем не было уверенности.

Его попросили зайти за ширмочку и там раздеться. Совсем? Да.

Савельев стоял без штанов, в полуобмороке вяло соображая, что надо бы потребовать адвоката и связаться... — но с кем? с Ляшиным? кто его вызволит отсюда? Он представил себе ответный удар: его арест, несомненно, очередная провокация против России! — но и это не утешило почему-то.

Рослый человек, прощупав мышцы расставленных рук, безо всякого выражения на лице попросил Савельева повернуться и наклониться.

Голый, в одних носках, поэт стоял раком. Думать в этой позе не получалось, и он смиренно переживал один из самых удивительных моментов своей жизни безо всяких мыслей вообще.

В заднице у поэта ничего не нашли. Когда он вышел из-за ширмы, две девушки в форме выдавливали пасту из его тюбика и разламывали таблетки из аптечки...

И он вдруг подумал: они ничего не знают!

Нет, ну правда: при чем тут таблетки?

Таблетки унесли на анализ. Офицер, явно старший здесь, внимательно смотрел на Савельева, сидя чуть поодаль, и Савельев позволил себе встретиться с ним взглядом.

И улыбнулся, и вздохнул счастливо: нет, они ничего не знали!

Это была просто проверка!

С какой стати эта проверка, Савельев не хотел и думать. Какая разница? Главное: никто тут не знал ни про убитого инвалида по фамилии Мельцер, ни про мародерство. И женщина из прошлого, которую он трахнул из принципа, ничего не заявляла в полицию.

Он все рассчитал правильно!

Савельев был чист, и мало ли кому чего привиделось.

Через десять минут заметно озадаченные сотрудники безопасности отпустили подозрительного пассажира — и быстро провели через все пограничные формальности, чтобы тот успел на самолет.

Савельев сидел у окна, глядя на последние хлопоты техников у крыла, и в душе его стояла пустота: совсем ничего не было там, зеро. Общее сальдо, впрочем, позволяло считать поездку удавшейся: он был жив и на свободе. И он победил, победил!

С этим утешительным сальдо Савельев полез в дорожный рюкзачок за полетными наглазниками: едва напряжение отпустило, его сморило насмерть.

Спать, спать... Какое счастье!

Уже устраиваясь поудобнее с нашлепкой на глазах, уже проваливаясь в дрему, Савельев подумал, что все это и был сон — и кошмар январской ночи, и жизнь в полуобмороке, и вся эта поездка: странный отель, призрак с выломанной глазницей, женщина из прошлого...

Но невыключенный айфон блякнул из реальности, и путешественник, вздохнув, полез на ощупь в карман рюкзака: выключить машинку. И, на автомате, поднял наглазник, открыл письмо.

Письмо было от Ляшина: «Отпустили тебя? Хорошего полета».

И смайлик.

Тут же блякнуло второе: «Это была борьба с террором, зёма. Чтобы ты помнил себя».

Третье напутственное письмо от всеильного дружбана гласило: «Приезжай на палку».

— Ата бесэдер? — спросил на иврите участливый человек из соседнего кресла, и Савельев догадался, что только что застонал в голос.

— Are you OK? — переспросил сосед.

— О'кей, — ответил Савельев.

Он отключил айфон, откинулся в кресле и надвинул на глаза тряпицу. Грудь его тяжело вздымалась.

Самолет дрогнул и пополз в сторону взлетной полосы.

ЭПИЛОГ

Когда время песка, скрипя, поворачивается вспять
и нашаривает рука обезумевшие часы,
не спеши перейти рубеж темноты. Возвращайся в сон.
И не спрашивай у песка, почему он шуршит — в тебе.

Когда время воды придет колотиться в твоё окно,
отгрызая обреченный пляж и трясоти балконную дверь,
пришлеца в лицо ты узнать не пытайся — сойдешь с ума.
И не спрашивай у воды, далеко ли отсюда Стикс,

Но попробуй уснуть опять. Время света к тебе придет,
белый город встанет вдали, чтобы сниться теперь всегда.
Вдоволь воли, запас воды, бесконечный счастливый день...
И не спрашивай у небес, не напрасно ли это все.

Там Мельцер (1967–2013).

Перевод с иврита Олега Савельева.

2014–2016

Марина Бородицкая
кочерга за кушаком

* * *

Самими собой
 бываем лишь в детстве,
 а после
 притворяемся взрослыми,
 притворяемся старыми,
 притворяемся мёртвыми,
 и опять

* * *

Мальчик на коробочке с зубным порошком
 смотрит на коробочку с зубным порошком,
 а на той коробочке с зубным порошком
 тоже мальчик, но его не видно.
 Круглая картонка с картинкой цветной,
 сколько этих мальчиков, и первый — какой?
 Я спрошу у папы, прямо с порога...

Папа не ответит. Внучка скажет строго:
 — Твой, Марина, порошок — выдумка и сказка,
 мы идём в «Магнолию» за детской пастой,
 а ещё мы купим шоколадное яйцо! —
 Ну конечно, яйцо.
 Ну конечно, купим.

Хоровод

Всё несётся кувырком,
 жалко ёлку разбирать,
 кочерга за кушаком —
 Новый год пришёл опять.

Затихает шум дождя,
 не смолкавшего с утра,

Об авторе | Марина Яковлевна Бородицкая родилась в Москве, окончила МГПИИЯ им. М. Тореза. Работала гидом-переводчиком, учителем английского в школе. Переводчик английской, американской и французской классической поэзии. В 2006 году ей была присуждена премия Британского совета по культуре «Единорог и лев», в 2007-м премия «Инолиттл» журнала «Иностранная литература», в 2010-м переводческая премия «Мастер». Автор двух десятков детских и пяти «взрослых» книг. Дебют в «Знамени».

проступает след гвоздя,
что не виден был вчера.

Земляники вкус во рту,
чудо-знаки на руке:
тут и пуговка Манту,
и царапинка Пирке.

Эскимо и снегири,
море синее с огнём,
крикнем: «Ёлочка, замри!»,
мы вернёмся, мы вернём...

* * *

Грибы несусь в подоле,
от них намок живот.
У дедушки в «Спидоле»
политика живёт.

Какой дождливый август
над Кратовом повис!
Сопит незримый Аргус
из глубины кулис.

В башке шальной мотивчик,
в педалях звонкий зуд,
мне куплен первый лифчик,
мне джинсы привезут!

Я цепь сломала, въехав
на велике в кювет.
От венгров и до чехов
вся жизнь — двенадцать лет.

У дедушки в «Спидоле»
какой-то фейерверк,
а папа на гастроли
уехал в тот четверг.

В загранку на гастроли!
Подарков ждёт семья.
У дедушки в «Спидоле»
гремучая змея.

* * *

Бабушкой быть
чрезвычайно легко:
в сани впрягайся,
давай молоко,
лай и мурлычь,
охраняй и паси,
и шоколадные
яйца неси!

Ася Датнова

Оккупанты

повесть

КОРИНФАР

Когда медбрат вывел Роберта во двор, оказалось, что уже осень. Роберт стоял у подъезда сталинки, вдыхая клейкий сумрак. Москва пахла гарью железнодорожных путей и давно потушенной, залитой дождем помойки. Кадык на шее, покрытой серебряной щетиной, дергался, двигались глаза, прикрытые птичьими веками, волосы, стриженные Лёлей, торчали, и в негнущемся пальто с коротковатыми для его долгих рук рукавами он показался ей бедным, как зверь в зоопарке. Лёля нахлобучивала ему на голову кроличью ушанку, чтобы было прилично, но делалось только хуже, та съезжала, и, покрытая моросью, стала похожей на воронье гнездо.

— Уйди, голая, простудишься!

Она выскочила за ним во двор в пальто на ночнушку. Приоткрыв рот, она с пиететом смотрела на карету скорой помощи, круглые высокие щечки, круглые глаза, поднятые брови и все выражение лица делали ее похожей на пятилетнюю. Когда он умрет — Лёля одна ничего не сообразит.

— Куда его, вы говорите, в пятидесятую? — в который раз переспросила она, морща лоб, будто не в силах запомнить. Роберт уловил раздражение врача, скрытое за вежливостью.

Дверь хлопнула, скорая тронулась, включив маячок, огласив микрорайон тревогой. Лёля осенила зад машины неумелым крестным знаменем — почему-то двоеперстным.

Дома она распахнула балкон, перегнулась через перила, терзая живот, пытаясь рассмотреть через дворы улицу, но скорая уже скрылась.

В их жарко натопленной однокомнатной на Чапаева было тесно, хотя мебели мало. Дом провонял застоявшимся временем: валокордином, валерианой, калиной — запахом, который она в юности узнавала, когда входила в дома пожилых. Голубые обои выцвели и истончились, как крылья бабочек, с которых сняли пыльцу. Время жило в шкафу среди шерстяных юбок, свив гнездо из двух так и не пригодившихся на воротник норковых шкур, плоских, словно расплюснутых грузовиком, с дырками глаз на острых мордочках, и Лёлиного шиньона. В молодости она гордилась своими волосами — пушистыми, рыжими с искрой — так что обрезала их и отдала сплести.

Об авторе | Ася Датнова окончила сценарный факультет ВГИКа (мастерская А.Л. Кайдановского, Ю.Н. Арабова). Проза публиковалась в сборниках проекта «ФРАМ» («Амфора», составитель Макс Фрай), в журналах «Литературная учеба» и «Октябрь». Лауреат Волошинского конкурса в номинации малой прозы, шорт-лист премии «Русского Гулливера» в номинации «проза поэта».

Жизнь съезживалась, сдвигалась из внешнего в наличное, и наконец сократилась до размеров кровати — узкой, Роберта, и широкой Лёлиной тахты, где среди подушек, изменчивой картографии складок пододеяльника стоял приемник, с помехами ловивший радио Орфей, лежали подшивки журналов, распухшая записная книжка, счета за квартиру, прибор для измерения давления. Лёля страдала одышкой и давно не покидала квартиры, не спускалась во двор, и Роберт, хотя был младше, теперь тоже не уходил от нее далеко.

О большом мире в доме хранились свидетельства: собранные на побережье камни в коробках из-под конфет, сухой янтарь, окаменелости, чертовы пальцы. Лёля смотрела на руки Роберта, с узлами вен, распухшими суставами: «чертовы пальцы». Кусок тростникового стебля от «Тигриси» — брат Роберта встретился с Хейердалом на берегу Красного моря, еще до сожжения легкой лодки в Джибути. Стебель был соломенного цвета, изнутри белый и пористый, и странно было, что он побывал в своих странствиях дальше, чем Роберт. Их главными путешествиями стали поездки в больницу. В эти поездки они отправлялись по очереди, нельзя было быть в них вместе.

Фату-Хива, Гуимар, Тигрис, Ра. Амловас, бромгексин. Карсил, дюспаталин. Реладорм, фурадонин. Кто придумывает названия лекарств? Они похожи на считалочку-абракадабру, бормотание старой ведьмы.

Этамзилат — ремантадин,
феназепам,
пироксикам!

Они оба вели списки. Лёля мелким, неряшливым почерком, вытягивающимся в нитку, писала на всем, что под рукой — в записной книжке с телефонами, в тетрадах, по углам рецептов, она разрезала коробки из-под «Геркулеса» и писала на них. В ее списках были памятные даты всех родных и знакомых, дни рождения, смерти, свадеб, рост и вес, заболевания, диагнозы, советы врачей, кладбищенские адреса. Эти сведения перемежались в случайном порядке воспоминаниями о поездках: съеденном, увиденном, номер улицы и дома, артериальном и венозном давлении. Ее списки ветвились как деревья. Роберт вслед за ней круглым, разборчивым почерком, не каллиграфическим, а осциллографическим, заносил в крепко сшитые тетради под кожаной обложкой все, что мог вспомнить за целую жизнь. Его списки были строгими, скупыми: названия фильмов, даты жизни знаменитостей, даты выхода книг. Он никогда не вел дневника — только ряды цифр, словно отчитывался. В каком году был написан Бранденбургский концерт? Достань коричневую тетрадь и посмотри. Даты печатались в энциклопедиях, но то, что он слушал, читал и видел, составляло суть именно его жизни, его собственную биографию.

Оба взяли ткать эту паутину записей, как бы увязывающую их жизнь с общей. Записанное отделялось от памяти, улетало за пределы, и чем тщательнее они фиксировали, тем более становились пустыми. Единственным, что давало этим спискам порядок, выстраивало их, были они сами, Лёля и Роберт, а исчезни они — распадутся все смыслы, развяжутся и перестанут.

Вечерами Лёля сидела на кровати, завернувшись в стеганое одеяло золотого шелка, приятное на ощупь, как волосы девушки или шкурка пушного зверька, похожая на птицу в гнезде, выставив нос. Рыже-седые ее волосы были забраны в два хвостика аптечными резинками, на носу уточкой сидели очки-велосипеды. Одеяло протерлось на краях, ключьями торчала сизая вата — но Лёля никак не хотела с ним расставаться. Воздев на лоб очки, она читала вслух геркулесовый список всего, разбирая с трудом свой собственный почерк. Вчера она полушепо-

том-полубасом зачитывала ему названия лекарств, которые Роберт соединил с собой за последние полгода — он должен был запомнить, что говорить врачу.

— Энан сочетается с коринфармом, а амловас нет. Третьего января тысяча девятьсот восемьдесят второго года мы были на самой высокой точке Старого города на Тоомпеа, на трех смотровых площадках...

Они были на трех смотровых площадках, погода была слепяще солнечной, с ледяным ветром, потом поехали к морю и бродили вдоль него до темноты, радуясь холоду. К морю шли через сосновый лес, оно шумело за стволами как главная магистраль. Встречный ветер был таким сильным, что чайка летела на месте, перебирал и развеивал песок, как шелуху из сита.

Скорая встряла в пробку, вильнула и заскакала по обочине. Роберт шел по песку к морю, утопая, зимний песок скрипел под ногами. Креон. Аллохол. Коргард. Он оглянулся и увидел неподалеку Лёлю, сидящую на детских качелях на берегу, они висели на ржавых цепях, Лёля в черной шубе слегка покачивалась, уронив руки, качели скрипели, как маленькие мыши. Чайка летела над остроконечными крышами, черепицей, села на флюгер «Старый Томас», блеснув недобрый глазом.

В реанимации у него отняли мобильный. Роберт волновался, что Лёля не может ему позвонить. Через неделю его выпустили под расписку, а к концу октября он уже сам проводил Лёлю в Боткинскую, и каждый день ее навещал, проходя половину расстояния пешком.

От Ленинградки сюда сворачивал переулочек с толстыми тополями, и в его перспективе больница казалась мирным старомосковским особняком с бежевой осыпью уюта. Между корпусами пятым «сомнительным», шестым «дифтеритным» и седьмым «скарлатинным», в сквере с беседками, прогуливались пациенты в шейных корсетах. Если пройти в сторону главного входа, к «Динамо», окажешься в провинциальном городишке, газоны ограждены черными цепями, как набережные, редко проезжает машина и чахнут на клумбах последние петунии.

Было еще довольно тепло для этого времени года, солнечно, но уже по-зимнему между пятью и шестью вечера наступал темный час, время усталости и тоски — когда вдруг мерзнешь, и хочется полежать под одеялом с закрытыми глазами. Первый раз это случилось с ним вчера, накануне первого снега.

Тощая соседка Лёли по палате, желтолицая, в халате с розами, листала журнал, всматриваясь в рекламу дорогих и красивых вещей.

— Что бы вы сделали, если бы вам оставалось жить год? — спросила она, и Роберт нахмурился, но Лёля даже не поняла, вздернула брови и сказала, что никогда не думала об этом. Роберт демонстративно хлопнул дверью тумбочки. Соседка показала статью с загнутым уголком — в журнале объявляли конкурс исполнения желаний, «Оседлай свою мечту».

— Чтобы чего-то хотеть, силы нужны, — сказала соседка осуждающе. — Мне уже ничего не надо.

— Врачу денег сунула? — прервал ее Роберт, повернувшись к Лёле.

— Неудобно, он в ординаторской был не один.

Присели на застеленную кровать. Новый корпус выглядел богато, палаты с телевизором. Лёля показала, как поднимается и опускается изголовье кровати, если нажать на кнопку.

— Разденься, вспотеешь.

Она послушно потянула с плеч кофту, красно-коричневую, крупной вязки, с отложным воротом, запуталась в рукавах.

— Ничего не хочу, ничего, — тоскливо повторяла соседка, глядя в окно.

Врач зашел в палату, стремительностью подчеркивая профессионализм, и как будто принес с собой холод операционной. Роберт почтительно положил конверт в раскрытую врачом папку. Пока Лёля натягивала опять кофту, похожая на перевернутого на спину жука, Роберт следом за врачом вышел в коридор, они остановились у плаката, изображавшего человека в разрезе.

— Ну, — сказал врач, не зная, чего ждет от него Роберт, все уже было обговорено, — через месяц-полтора ложитесь на операцию. Хотя операция в ее возрасте... Воду сгоняйте. Не волноваться, лежать. И чуть что — звоните в скорую, не стесняйтесь.

Роберт нашел глазами на плакате желчный пузырь — выделенный зеленым цветом, он был как бобовый росток. Доктор разулыбался.

— Представляете, уговаривала меня, чтобы я вас вместе с ней в больницу положил и дал вам как супругам отдельную палату! Жена у вас — прелесть.

Роберт приосанился.

— Иначе я бы за ней так долго не ухаживал!

К моргу шли люди с гвоздиками в руках. Роберт отвернулся и стал смотреть в другую сторону, где ржавые, стриженные кусты издали были коричневыми, красными, а при приближении к ним рассыпались на тысячу веток, как картина распадается с цветового пятна на ряд мазков. В сердцевине грелись воробьиные стайки и там же гадили, бурые и красные ветки были в белых кляксах, напоминали снежнoгoдник.

Лёля с двумя узлами, парой пакетов и «индийской» сумкой, закутанная, сидела на вещах на тротуаре. На ней была черная шуба, сшитая из двух: рукава-фонарики и часть подола в пол кроличьи, бархатные, остальное каракулевое, на голове — розовый берет, из-под которого углами торчал расстеленный по макушке носовой платок, на ногах сбитые серые сапоги. Роберт метался у дороги, махал рукой, ловя машину. Он забыл снять синие бахилы. Водители мельком оглядывали их с Лёлей и проезжали, не останавливаясь. Наконец притормозила белая «Волга».

В салоне скверно пахло освежителем. Лёля, порывшись в сумке, извлекла из ее глубин тюбик морковной помады, сунула мизинец, поскребла и подмазала синеватые губы, глядясь в зеркало водителя. Достала из рукава торчавший на запястье платок с вышивкой, вытерла палец, поправила берет и обрадовалась.

— Какая я страшная!

Прижав лоб к стеклу, она рассматривала поток машин, вливающийся в жерло моста, — затем и сами они въехали под мост, стало таинственно, замелькали желтые лампы.

— Куда все едут?

— Утром — в город на работу, вечером — из города с работы.

— А днем?

— А днем... кружат по городу.

Роберт напустил на себя радостный вид.

— Вот, Люлёк, тебе и экскурсия по городу! Хоть выбрались.

Мимо проезжали как на ленте транспортера центральные улицы, вымытые витрины, зеленый туман строительства окутывал здания. Девушки ковыляли по мокрому тротуару на шпильках, швейцар в ливрее с позументом скучал у казино.

— Сто лет в центре не была! — Лёля повертела головой. — Мне не нравится. Вульгарно. Кругом б́утики.

Перевалившись через нее, Роберт хотел закрыть щель окна, чтобы Лёлю не просквозило. Лёля треснула его по руке.

— Тушик, отстань!

Водитель поглядывал на них, подняв лысые брови.

— Как-то чудно вы друг друга называете. Тушка.

— Тушик — это тушканчик. Это она меня когда-то назвала тушканчиком, а я ее в ответ, — Роберт вытянул губы, — с-ю-усличком. Правда, с тех пор мы успели забыть, кто из нас суслик, а кто — тушик...

— Давно женаты?

— Сорок лет будет.

— Сколько ж вам сейчас?

Лёля покосилась на Роберта и не ответила.

Пожились они в конце семидесятых, когда она вышла на пенсию по инвалидности. Но все равно считались молодоженами, и как молодоженам им дали путевку. Они даже не знали, что Таллин находится на море. Когда вышли из поезда, в воздухе плыл новый запах, словно к их приезду выстирали и вывесили сушить белье. Роберт сказал: «Морем почему-то пахнет». А потом заняли над вокзалом чайки.

Цвет времени был серым, но не пыльным и цементным московским — светлым, пенициллиновым. Шли по длинноколенной, напоминавшей о кузнечике, кружились и выходили обратно к Ратушной, посередине площади настигал звук колокола, оставляя на губах вкус меди, гари и соли. Город был холодным, отстраненным, чужим и каким-то образом стал третьим в их отношениях.

Может быть, не сам город, но море. Глубокое и темное, как чужая, великая мысль, которую нельзя понять и вместить в себя до конца. Шуршали и терлись друг о друга серые льдины, из моря в тумане выходило на берег судно на воздушной подушке.

Роберт искал камни в полосе прибоя. Вода уже убрала с них все лишнее и теперь через линзу показывала, какими они могут быть, помести их в правильную, проявляющую среду. Вынешь — поносишь в кармане и выбросишь: тусклый булыжник с налетом.

Откладывая, они раз, два в год стали ездить в Таллин не в сезон. В восьмидесятых брали номер в недавно отстроенной к Олимпиаде гостинице, черном сталагмите в двадцать восемь этажей, двухместный за девять рублей. Пили кофе с пирожными в варьете «Олимпия» — в поделенном на ярусы зале стояли столики, вращающиеся стулья были привинчены к полу, и на сцене полуголые девушки танцевали, серебрясь, как сельди. Страх эротической свободы радовался темноте зала. Кордебалетом занимался хореограф Калью Саареке — говорили, что до окончания войны он успел попасть в дивизию СС, а теперь был постановщиком танцевальных программ и главным балетмейстером республиканской филармонии. Его жену только в пятьдесят третьем выпустили по амнистии из Сибири.

Со сцены упитанный баритон пел «О, мое солнце», изображая страсть, сам же был похож на работника жилконторы. Он пел, обращаясь к Лёле — ее волосы были подсвечены рампой. Лёля наклонилась к Роберту и яростно прошептала:

— Сейчас зажгут свет, и все увидят, какая я старая!

Успели застать пожар шпиль Нигулисте и его восстановление. Потом все начало быстро меняться. Таллинн обзавелся удвоенными согласными, вытянулся словно дальний поезд и наконец зазвучал эхом. Сам обращенный в прошлое, город стал камерой хранения для их памяти. Рассказывать о нем было стыдно,

ведь жизнь от перемены мест не становилась лучше. Но Лёля уже рассказывала личное взахлёб совершенно неподходящему человеку.

— Мы поженились, когда я на пенсию вышла, мне еще желчный пузырь тогда вырезали. И нам дали путевку в Таллин. Мы прямо как в рай попали. Заграница! Бары! В гостиничном номере простыни в клеточку. Кругом цветы... Все так со вкусом, интеллигентно.

Водитель открыл окно, сплюнул на улицу.

— У меня дед воевал, а они эсэсовцам памятники ставят.

Роберт деланно потер грудь. Водитель бросил на него тревожный взгляд и прибавил газу.

— Долго едем. На сто рублей дороже будет.

ФУРОСЕМИД

Вид в окне в шестом часу утра был тканый гобелен: двумерное изображение, из левого нижнего угла в правый верхний тянулись два черных ствола, все прочее пространство заполнял повторяющийся сумбурный узор ржавых пучков листвы, оживленный снегом. Замерли в полете две угольные вороны. Потом все задвигалось, ворона крикнула, словно объявляла на вокзале прибытие поезда.

— Робастина! Ты спишь?

Роберт снова прикрыл глаза, поплыл, закачались борта кровати, даже всхрапнул — но из сумрака его снова выдернул настойчивый шепот.

— Ты спишь, Тушик? Спишь?

Храп перешел в легкий стон, оборвался.

— Что, Люлёк? Тебе плохо?

Зажег торшер. Лёля, приподнявшись на локте и подавшись вперед, мерцала медовым светом, зашептала, сбиваясь.

— А мне снилось, что мы в Таллине...

Роберт сел на кровати, потер лицо. Уперся взглядом в кальсоны с распустившимися завязками. Лёля осеклась, вид ее стал виноватым, утренным.

— Ты чего вскочил, ложись обратно! Рано еще!

Он не удержался, чтобы не укорить ее.

— Лёль, я только под утро заснул.

Осторожно и медленно раскладываясь, как деревянный метр, встал с кровати и прошел в ванную. Лёля беспокойно кричала ему из комнаты.

— Тушик, тебе нехорошо?

Умывался долго и подробно. Разболтал в стакане соль, соду и йод, промыл нос, громко прополоскал горло, одновременно стараясь выбулькивать мелодию. Проверил ноты собственного горла от самой верхней до нижней, басовой. Сплюнул в раковину коричневую жижу, расправил грудь и чисто, с удовольствием пропел — «Малааади сооло!» — так, чтобы могла слышать Лёля. Из комнаты послышалось что-то вроде сдавленного кашля.

Лёля лежала, отвернувшись к стене, и плакала, подвывая в подушку.

— Началось.

— Хыы... Хоть бы я не просыпалась... — она повернула к нему красное лицо, заплаканные глаза без ресниц. — Когда же я сдохну!

— Лёля, перестань! Так говорить грех!

Она снова отвернулась, лягнув ногой пустоту.

— Уйди к черту! Хыыы...

Он осторожно подсел на кровать и похлопал Лёлю по спине.

— Ну перестань, хватит. Сумасшедшая. Выпей фенозепамчику.

Лёля спиной прислушивалась к его руке.

— Хоть бы еще раз съездить перед смертью...

Роберт вздохнул, настроился, как перед выступлением, и подхватил.

— Садимся мы в поезд... Тутух-тутух. Тутух-тутух.

Сидя, попрыгал на кровати, изображая качку вагона.

— Выходим мы на вокзале. «Траствуйт-эээ! Тере!»

Лёля, успокоившись так же внезапно, достала из-под подушки платок, громко высморкалась и села, с интересом глядя на Роберта.

— Что на завтрак?

— Овсянка.

— А у нас остались соевые батончики?

Поход в магазин за половинкой дарницкого и молоком со временем оброс ритуалом. Надо было принять предосторожности. В новостях говорили, что по Москве ходит грипп. Можно заболеть от чего угодно, от того, что кто-то чихнул в толпе. Тогда Роберт прятал нос в шарф и задерживал дыхание, ожидая, пока микробы пролетят мимо.

Топтались в прихожей. Под свитер он надел хлопковую майку — она хорошо впитывала пот. Спереди и сзади, к спине и на грудь, Лёля совала ему под майку и расправляла носовые платки, клетчатые, большие. Они пропитаются, тогда их можно будет вытащить, чтобы не ходить во влажном на ветру. Под ушанку тонкую вязаную шапочку, облегающую голову. И уже перед самым выходом Роберт вдумчиво и глубоко промазывал каждую ноздрю оксолином.

Пока Роберт ждал вызванного лифта, глядя на черные змеи проводов сквозь сетку шахты, Лёля, наполювину высунувшись за дверь, крестила его, бормоча «ангела-хранителя в путь», словно он отправлялся в дальние страны — хотя Роберт уходил каждый день. Эта привычка появилась у нее недавно — она не была религиозна, не интересовалась вопросами веры, исключая ежегодный забор крещенской воды в соседней церкви. Этот вирус был получен от Лёлиной подружки, Нели. Лёля не беспокоилась не только вопросами веры, но и приобретением собственного мнения, довольствуясь мнением собеседника. Следы мнения сохранялись в организме еще какое-то время, а потом выводились без остатка, чтобы освободить место для нового.

Проводив Роберта и услышав выстрел двери парадного, Лёля мчалась на балкон, чтобы проводить глазами его фигуру, удаляющуюся мимо зеленых гаражей, не только волнуясь, но и чтобы убедиться, что он ушел окончательно. Роберт шел раскачиваясь, как птица-секретарь, всегда подходил по дороге к помойке и рассматривал ее безразлично, но внимательно. Потом шел дальше — смотрел в землю, иногда наклонялся, что-то подбирал. Это осталось у него с юности — когда он коллекционировал минералы и целыми днями мог бродить по кромке моря, он был остроглазым, всегда замечал то, что пропускали остальные. На московских улицах Роберт находил и приносил домой деньги: редко — бумажные, часто — железные, заколки, брелоки, а один раз принес золотой зуб.

Оставшись одна, Лёля брала записную книжку и набирала номер. В записной книжке не было надобности, три-четыре телефона, по которым она еще могла позвонить, она знала наизусть. Остальные все умерли. Умерла ее любимая Ниноля, начальница в институте. Она подарила Лёле трех вылепленных из глины крошечных обезьянок, головы которых держались на спичках, обезьянки значили «Не вижу. Не слышу. Молчу». Умерла Леночка, чьей работой было рисо-

вать открытки — все они были похожи, нежные акварельные цветы на белом фоне, нарциссы или ирисы. Стопки открыток хранились в буфете, каждый праздник Лёля надписывала и отправляла две-три из них.

Иннино лицо сморщилось и покрылось черными родинками, голова тряслась, как будто она соглашалась со всем, что ей говорят, поэтому голову носила высоко и не соглашалась ни с чем. Она жила вдвоем с чудовищно толстым кастрированным котом в трехкомнатной на Аэропорте. Инна давно похоронила мужа. Она долго была влюблена в женатого, ездила к нему на работу с судками горячей еды раз в неделю, по субботам. Потом похоронила и его, и теперь так же неумолимо ездила к нему на кладбище.

— Ин? Представь, мне сегодня приснилось, что мы гуляем по Таллину...

Инна отвечала холодно:

— Ну взяли бы да съездили.

— Да куда! — обрадовалась Лёля. — Мы ведь даже из дома не выходим. Тебе хорошо, ты здоровая. И деньги есть. Раньше мы могли себе с пенсии позволить... И потом, там теперь заграница.

— Стася сейчас на гастролях в Швейцарии, — парировала Инна.

Сын Инны, Стася, гастролировал с исполнением русских романсов. Пел он всегда громко, с надрывом, почти кричал, как будто не понимал, о чем поет, о какой любви.

— Слышала вчера по «Культуре» Хворостовского?

— Конечно! Он такой талантливый!!

— Не надо было Хворостовскому петь военных песен.

Лёля оскорбилась, подышала в трубку.

— Мне тебя жалко!..

— А мне — тебя.

— Я чего тебе звоню — ты к нам на годовщину не приходи! Мы плохо себя чувствуем, отмечать ничего не будем. Сил нет!

Лёля бросила трубку.

Соседка по лестничной клетке, низкорослая, пышная, с жирными пальцами и мокрыми губами, с резким голосом, плывущим макияжем, она кричала — она не умела просто разговаривать, — покупала все, в чем печатали сплетни, и раз в две недели отдавала прочитанные журналы Лёле. Лёля проверила толстую стопку в прихожей, скопившуюся за время ее болезни. Нашла, перелистнула, изучила страницу, поддев очки, взяла карандаш, сверяясь с текстом объявления. Долго и мелко писала на Леночкиной открытке с фиолетовыми цветами.

Почта была в троллейбусной остановке от дома. В старом районе улицы были широкими, как площади. На асфальтовых просторах гулял ветер, прижимая к земле дым шашлыка из паркового кафе. Спускаясь по лестнице в подъезде, она взмокла. Ноги дрожали. Она медленно повторила путь Роберта — вдоль гаражей, за которыми росли две кривоватые сосны. От помойки несло застарелой мочой. Потом мимо английской школы, из ворот выбежали дети с портфелями. Вывеска «Ремонт обуви» на угловом доме сохранилась от прежних времен, уже ничего не знача. Во всем микрорайоне взывали дрели, стучали, что-то пилили — казалось, он так обветшал, что идет на слом, и будет заменен стеклопакетами.

На почте она посидела на стуле, сняв берет, чтобы высохли волосы, смотрела, как заворачивают посылки. В почтах было что-то от вокзала, только уютно. Жесткая коричневая бумага, шпагат, сургуч — настоящие вещи, грубые, простые, полезные. Она взяла несколько квитанций с лотка и положила в сумку — они тоже были приятными, разлинованные синими графами, призывали писать на них аккуратно и разборчиво.

Продавщица гастронома в угловом у метро — местные по старой памяти называли его «генеральским» — была похожа на опустившуюся натурщицу итальянских мастеров. Белокожая, со сложной формой носа и каштановыми волосами, собранными в пучок. Снисходительна она была лишь к мужчинам, какими бы пожилыми или пропитыми они ни были. Когда покупательницей оказывалась женщина, продавщица смотрела в сторону и деньги, не считая и не глядя, сметала в кассу.

— У вас есть мои любимые конфеты?

Обратила на Роберта глаза, как бутылочное стекло, обтесанное прибором.

— Сегодня привезли.

— Грамм двести. Это жене. Только их и ест. Капризничает. Она у меня в некотором роде в положении...

Продавщица захихикала. Роберт производил на женщин благоприятное впечатление.

Когда он вернулся домой, Лёля штопала прохудившиеся вязаные тапочки и почему-то задыхалась, как будто недавно бежала. Затараторила, как только он вошел, не оставляя места для вопросов.

— Звонила Инке, она опять взялась нахваливать мне своего Стаську... Хворостовский ей не хорош, а Стаська хорош. А я его слышать не могу. Бездарность. Не буду с ней больше разговаривать. Мы для них бедные родственники. Я вообще не хочу ни с кем разговаривать! Все теперь говорят об одном и том же, сто раз подряд, теми же словами...

Нашла в сумке батончики, сразу один сунула за щеку. Лёля сидела, поджав под себя ноги, в белых растянутых трусах, белой майке без рукавов — кожа ее тоже была очень белой, на предплечьях болтались отвисшие мешочки, по ногам вились синие венки, она была похожа на лягушку-альбиноса. Он смотрел на ее распухший, огромный живот, выпиравший и вперед и с боков.

— Доктор велел воду спускать. Ты сегодня принимала мочегонное?

Помогала головой, скорчила гримаску.

— Я и так что-то часто в туалет ходить стала. Говорят, перед смертью человек начинает много писать...

— Сколько раз сегодня сходила? Моча какого была цвета?

— Отстань, ты меня замучил!

У мочи могло быть много оттенков. Золотистый, напоминающий о солнце в морозный день, о меде. Белесый и мутный, цвета пива. Буроватый, с примесью крови.

— До сих пор не могу понять, вот Инка — евреи обычно за родных держатся, не то что наши... Мой Левка был ее брат родной, а она меня к любовникам провожала. Как она могла?

Как у конькобежцев, у них была своя обязательная программа, и раз, два в неделю приходилось ее откатать. Роберт долго жил вдвоем с мамой. Потом привел Лёлю. Лёля никогда не хотела понимать, что это означало для них — русская, рыжая, старше него, разведенная, от которой у Роберта не будет детей. Раз в полгода они страшно ругались, Лёля вызывала грузовик и съезжала, забрав с собой двуспальную тахту. Потом мирились, и Лёля переезжала с тахтой к нему обратно. Ожидая машину, она сердито сидела на кровати посреди двора. Роберт послушно возвел глаза к потолку, взяв тон попираемого смирения.

— А я должен все это терпеть.

Лёля оживилась, вскочила и заговорила голосом радостным, громким. Краткие склоки придавали ей сил, на щеках выступил румянец.

— Не прикидывайся. Ты прекрасно знаешь про всех моих любовников! Хотя зря я тебе рассказала. Всю жизнь меня изводишь своей ревностью!

— Может, и не про всех, — удачно вставил Роберт. — Ты, Лёль, Инну ругаешь, а я другого не пойму — как ты могла при живом муже бегать к любовникам?

Фотография Левы, блондинистого, в каракулевой шапочке пирожком, стояла на комодке на видном месте — Лева держал в объятиях Лёлю, похожую на крепкую дыньку, со вздернутым носом. Они смотрели друг другу в глаза, словно хотели поцеловаться, лучились взаимным смехом.

Лёля шила, раздраженно втыкая булавки в бархатную подушечку.

— Левка мне говорил — делай что хочешь, только чтобы я не знал!

— Святой был человек. Ты его любила?

— Не ты бы — я бы от него и не ушла ни за что!

— Зря ушла.

— Зря!..

— Робастина, погрей мне спину!

Лёля позвала жалобно, и он со своей кровати переполз к ней, сели спина к спине, Лёля оперлась на него, и он почувствовал хриплые посвистывания у нее в груди.

— У меня сразу все проходит.

— Я тебя лечу своими полями.

— А сам потом болеешь.

— Ничего.

ГЕРКУЛЕСОВЫЙ СПИСОК 1

В баре ели красную рыбу, кофе, мороженое, курицу гриль, пепси

Плохо было в 20.00 неотложка в 22.30, тахикардия с мерцательной аритмией, женщина и мужчина — медбрат. Были 1 час, отказалась от больницы под расписку

16/1-82 снаружи осмотрели «Дворец спорта»

Ходили по замерзшему морю. Солнце замерло над морем в одном положении

Кинотеатр на Пирита. В зале всего 12 круглых столиков с маленькими лампочками, смотрели фильм и пили кофе с пирожными и бутербродами.

82 г 83 г 84 г 85 г 86 г 87 г 88 г 89 г 90

2 раз 4 р 2р 1р 2 р 3 р 3 р 1р

ДИКЛОФЕНАК

Неля и в молодости не была симпатичной: в светлых кудельках, с квадратной фигурой, невыразительным лицом, бледными глазами, похожая на овцу, к тому же немного, деликатно, заикалась. С Лёлей мужчины говорили вкрадчиво, так что сжимался желудок, Неля замирала, как замирают животные, прислушиваясь к человеческой речи, пытаясь понять, что она для них значит. Лёля шила себе яркие, богемные наряды — «беж к лицу, но ненавижу цвет само». Скажет глупость, а выходит хорошо, все смеются. Одного поклонника Лёля называла почему-то Кенгуру — полный, лысоватый еврей, Шахнович, — Лёля говорила, это от еврейского неприличного слова «шахна», — «значит — это самое». Он приходил к Лёле под окна института, ждал ее во дворе, чтобы только на нее посмотреть, а его жена брала сына за руку, тоже приходила и стояла на углу. Когда Лёля уже была на пенсии, она столкнулась с Кенгуру в метро на эскалаторе, он поднес ей сумку. Лёля говорила — старый совсем стал, а глаза тоскливые. «Не может меня забыть!»

Они отдыхали на Черном море. Черный от загара мужчина с волевым лицом играл мускулами, спортивно ходил вдоль пляжа. «Нелька, — говорила Лёля, — он на меня запал». Оказался известным артистом, приглашал — «Приходите ко мне в Москве в театр. Скажите одно слово — “Евпатория”». Они с Лёлькой заглянули, увидели, как в гримерке дерутся поклонницы, и ушли.

Роберт почему-то задержался надолго. Высокий, он был слишком опрятен, пах стиркой, у него была зубастая улыбка, гортанный с придыханием акцент, нервные движения и при всей яркости какая-то общая холодность и сухость: кожа черепахи, чужого существа, которого неприятно коснуться. Красивые, волглые глаза.

К пенсии Неля пришла в церковь, разбирала жучки славянских слов, как крупу. Она по деревянным заготовкам в форме яйца вышивала бисером и стразами, пряча швы, совмещала парчу с бархатом — вышивала крест, или «ХВ», продавала на ярмарке.

Лёля звонила каждый день, потому что ей нечем было заняться. Начинала загадочно, понизив голос, как будто кто-то еще мог ее слышать:

— Роберт последнее время стал меня так раздражать... Непонятно даже, с чего.

— Повезло тебе с ним, — сурово отвечала Неля. — Кто еще мог бы тебя терпеть?

— Вообще он тоже себя плохо чувствует, — сразу сдавалась Лёля. — Сейчас ушел за дармовыми обедами — я беспокоюсь, что-то его долго нет.

— З-загоняешь ты его, Лёль.

— Своего мужа надо было завести, его и обхаживать!

Благотворительные обеды малоимущим пенсионерам раз в неделю давали в бывшем кинотеатре «Дружба» на углу Ульбрихта и Алабяна. Раньше тут крутили «Высокого блондина», в перестройку показали «Рублева», а теперь место выкупили азербайджанцы. Зал кинобуфета украсился картинами в золотых рамках, багровыми плюшевыми скатертями. Душно пахло кальяном.

Роберт приходил редко — у них с Лёлей от благотворительной кухни начиналась изжога, на Пасху как-то дали куличи такие черствые, что можно было стучать ими по столу. Неля приходила каждый раз, у нее был крепкий желудок. Она издали начинала высматривать Роберта, замечала, как он идет по улице в угольно-черном пальто с квадратными плечами, выбрасывая вперед длинные ноги.

Неля поспешила ему навстречу. Роберт вдруг наклонился, что-то подобрал. Сто рублей.

— Роберт, вы счастливый! — поразились Неля. — И всегда вам везет. Может, вам лотерейный билет купить?

Они отдали талоны — у Роберта два, один за Лёлю — и взяли выданные официантом подносы. Зал был битком. Пока Роберт с Нелей шли к столику, хозяин кафе что-то гортанно сказал ему. Роберт молча и благодарно поклонился, кивнул, прижав руку к сердцу. Наклонился к Неле и прошептал:

— Ни слова не понимаю.

На обед был жидкий овощной суп-пюре, хлеб, второе: гречка с котлетой. Неля заправила салфетку за ворот себе и Роберту, попробовала.

— Солёный. Роберт, суп не ешьте, вам соли нельзя!..

К ним за столик подсел, не спросив разрешения, крепкий старик. Начал быстро хлебать суп. Потом раскрошил хлеб и крикнул:

— Они мне говорят — мы на тебя в суд подадим, ты шесть месяцев за квартиру не платишь. А я не буду принципиально! Они нас обманывают и обсчитывают, а я им еще плати. А вот им! — он сделал неприличный жест. — Вы местные?

С сомнением посмотрел на Роберта.

— Понаехали нацмены. Благотворительность у них. Чихал я на их благотворительность.

Раздраженно доел и ушел.

— Я ведь его узнал, — сказал Роберт. — Бывший чемпион Союза в среднем весе. У нас в соседнем доме живет, в газете про него писали. Его фамилия была в списке злостных неплательщиков, которых будут выселять.

Неля смотрела, как Роберт орудует ножом. Суставы у него распухли и округлились, как орехи. На указательном пальце на первом суставе два твердых шарика. Она взяла эту руку и начала ее осторожно разминать.

— Как ваше отложение, Роберт?

Снова помешали: за столик подседа резвая старушечка в платке.

— Вас как зовут? Дайте мне ваш телефон. Я одна живу. Хоть вам буду звонить, разговаривать. А то помрешь — не заметит никто.

К приходу гостей на полированный столик у кровати Лёля выставляла нарезку сыра, вареной колбасы, конфеты в вазочке и бутылку кагора. Запахнувшись в кирпичную шаль, она смотрела, как раздевается в прихожей ее дочь Таня, женщина с безучастным лицом и массивной нижней челюстью. Она и в юности была угрюмой и всегда чем-нибудь недовольной. Украшения она до сих пор носила девичьи: тонкая полоска золота, крохотный чистый камень, в ушах — гвоздики. Белая блуза, кофта кружевной вязки с застежками из фальшивых жемчужинок.

Внучка Катя прошлепала в комнату босиком, она презирала тапочки, шапки и даже зонты. Она работала где-то в журнале, сильно подводила глаза, носила свитер грубой вязки. Отношения с Катей у Лёли складывались проще, чем с Татьяной. Лёля не знала, как вести себя с детьми. Когда Катя была маленькой, Лёля раз в два месяца приходила к Тане, надев парадный фиолетовый костюм с лиловыми цветами по подолу, садилась за прабабушкино пианино с пожелтевшими клавишами и играла вместо колыбельных что знала — «и какие-то люди, за вами пришедшие, в катафалке по городу вас повезли». Катя рыдала, Таня прибежала с кухни, ругалась, что ребенок вырастет нервным. «Она все равно ничего не понимает», — пожимала плечами Лёля. Когда внучка подросла, Лёля приходила к ней по вечерам, приносила бутылку пива, они слушали новую музыку и шушукались. Что происходит в жизни дочери, Таня не знала, но догадывалась и укоряла ее, что она похожа на бабушку. Это было правдой только отчасти: ни один из Катиных романов не давался ей легко.

Таня помнила, что отец был кротким. Не повышал голоса, а когда Лёля впадала в раж, подмигивал и говорил: «Танька! А мамка-то — бе-бе-бе!». Он играл на рояле и на аккордеоне. Мог повторить любую мелодию. Нигде не учился, слух у него был врожденным. После войны сначала играл в джазовых оркестрах, был знаком с Цфасманом, но джаз быстро запретили как вредное западное влияние. Потом работал в ресторанах, аккомпаниатором певцам и в спортивных обществах. Непонятно, как он мог это делать, правая рука у него после войны почти не поднималась. По вечерам звали гостей, он играл, Лёля пела — «Домино, домино, будь веселым, не надо печали». И потом они вместе танцевали линдэ-хоп, трясли руками и ногами, как макаронинами, и, пока они плясали, Таня любовалась матерью и почти любила ее.

Втащили в комнату матерчатый тюк — Инна отдала ненужные вещи. Катя ушла курить на балкон. Лёля достала мужские ботинки, покрутила, надел на руку.

— Это Стасины, тетя Инна для Роберта прислала, у них один размер.

— С Инкой я не разговариваю. Я вообще не хочу больше ни с кем разговаривать. Об одном и том же, сто раз подряд. Я все их истории наизусть знаю. Инка как позвонит — то про Стаську, то про этого своего. Так к нему всю жизнь и ездила. Влюблена была как кошка...

— Зато ты никогда никого не могла любить.

В голосе дочери слышалась претензия, которую Лёля решила проигнорировать. Она вытянула из мешка старую комбинацию, посмотрела с сомнением, отбросила.

— Синтетика. Отдам Нельке.

Достала кофту.

— Себе взять не хочешь? Чистая шерсть.

Таня примерила и позвала Катю советоваться. Она отдавала все решения дочери. Взамен та тоже могла бы отдать Тане право решить устройство своей жизни. Лёля оглядела их двоих у зеркала — обе в не подходящем по росту, цвету, с одинаково округлыми коленями и лиловатыми губами.

— В больнице, — вспомнила она, — к соседке приезжал зять, казах, ну так, не казах, а из интеллигентов. Говорит — у них пять детей, одного они отдадут во врачи, второго — в экономисты, третьего — в юристы, четвертого — в милиционеры... Чтобы везде свои люди. А мы? Как мы прожили свою жизнь? Надо тебе было за Вадика выходить.

— Ну за какого Вадика, мам...

— Дядя Вадим за мамой в молодости ухаживал. Хотя он ее троюродный брат.

— Один раз в поход сходили...

— Ужасно был влюблен. Но он ее младше, ей было неинтересно. Жена Вадика, кривоногая, тоже его старше, и что? Он зато всю семью обеспечил. Ты же знаешь, что дядя Вадим в органах работает? Раньше в КаГЭБэ, сейчас я не знаю, он все скрывает, мы делаем вид, что не в курсе.

Таня поджала губы, складывая кофту в пакет, взглянула в ожидании поддержки на дочь.

— Мам, вы не хотите с Робертом оформить дарственную на квартиру? Я знавала — если перейдет по наследству, там налоги большие платить...

Лёля отмахнулась.

— Роберт не согласится. Я с ним на эти темы боюсь разговаривать. Он стал такой подозрительный.

Роберт ревновал Лёлю к родственникам, к подругам, как будто она должна была принадлежать только ему. Он сам курсировал между их домом и Таниным, принося гостинцы от Лёли к праздникам — открытки, шарлотку, пару сотен рублей в конверте — но никогда не оставался пить чай, не заходил в дом, передавал с порога. С Таней он много лет держался на «вы», и Катерину с детства приучил звать его «дядя Роберт».

— Вот что значит не родные дети! Небось родственникам своим все оставить хочет, а они с ним даже не общаются. Это все кавказцы так, за родных держатся, не то что мы... Вы мне никогда не помогали, я одна крутилась.

— За что мне такое отношение!

— Нечего было по мужикам бегать.

— Я же не виновата, что рыжая родилась. И почему это плохо?

— Почитай Библию! — озлобилась Таня.

— Советуешь? — задрала брови Лёля. — А про что там?

Таня хлопнула дверью. Лёля привалилась к внучке и зашептала:

— У тебя сейчас есть кто?

Катя подумала.

— Да. Но у него есть одна особенность. Он женат.

— Женат? — ахнула Лёля, подумав, практически вывела: — Это хорошо. Для здоровья полезнее.

Роберт смотрел прогноз погоды каждый день. Их город стоял при разной погоде — сырость осаждалась на камни, скрывалась в тумане высота флюгеров. Поворачивался земной шар, над каждым городом условные значки: тяжелые капли, снег, атмосферный фронт. Завтра до минус трех, ночью до минус пяти. Ветер три метра в секунду, временами возможно счастье.

Он спустился в метро. Ноябрь сыпал снежным крошевом, в вагоне кашляли, он не стал брать за поручень, захватанный руками, оставившими туманные пятна на никеле. Иногда, чтобы отдохнуть от Лёли, он задерживался на пару часов, говорил, что стоит в аптеке, в сберкассе, и всюду очереди. Ехал он, например, в зоопарк. Кафрский рогатый ворон был степенен, но изломан, как битник на пенсии, он медленно ходил вдоль сетки, ворочая огромным светлым глазом, на затылке колыхалась жидкая прическа. Волки спали. Тигр наклонял голову к земле и говорил «Хум». Роберт хорошо подражал голосам животных, лучше всего выходили крики птиц и диких кошек. Он напрягал живот и издавал зов глухой, вымученный и переходящий в кашель, черная пантера волновалась и начинала метаться в клетке.

Ленинградский вокзал перестроили, одна стена стала зеркальной и ломала силуэты отражений как художник-кубист, но на площади у метро так же пахло блевотой, разлитым пивом. На перроне пахло уже дорогой, тем особым, горьким ее запахом. Роберт посмотрел, как уходит поезд в Таллинн, тридцать четвертый скорый, отправление в шесть с копейками, как стоят у синих новеньких вагонов проводницы с мятыми лицами, с прозрачными глазами, в черно-белой форме, а через раздвинутые шторы на окнах можно было разглядеть бархатные диваны купе и на столике вазочку с пластмассовым ландышем.

Когда он вернулся, Лёля на кухне искала, есть ли что-то вкусное в холодильнике.

— Танька хочет нам электрический чайник на юбилей подарить.

— Я от них ничего не возьму, — рассердился Роберт, — воду нельзя кипятить меньше пяти минут. А электрические чайники отключаются, как только вскипают. Что на обед?

— Овсяный суп. А что?

— Ничего. Овсянка — это хорошо.

Нельзя было: сладкое, соленое, острое. Жареное, жирное. Можно было прожить еще долго, если побережься. Через день варили овсяный суп — хлопья набухали в воде, заправлялись морковью, картошкой и ломтиком масла, который плавал в сером киселе, как кляклое зимнее солнце в тучах.

ФЕНАЗЕПАМ

В день юбилея Лёля утром первой подошла к телефону. Она прижимала трубку к уху и слушала, как Роберт в ванной полощет горло. Записав сообщение, она дала отбой и сказала, что звонили поздравлять, вид при этом у нее был виноватый.

Гости садились за раздвижной стол, помогая расставить стулья. Колбаса кружками декорировала тарелку с веткой укропа, были салаты, пара бутылок.

Приборов на столе оказалось больше, чем гостей. Лёля хандрила, говорила, что не хочет никого видеть — а с утра вдруг «почувствовала себя лучше», и пришлось всех обзванивать.

Она нарядилась в кирпичную юбку, брови и ресницы, обычно незаметные из-за белесости, выкрасила басмой, отчего приобрела заплаканный и диковатый вид. Роберт был чисто выбрит, с царапиной на шее, надел красную фланелевую рубашку и серый пиджак, пиджак был Стасин и велик Роберту в плечах.

Глядя на сновавшую по дому Лёлю, раскрасневшуюся и смущенную, он почувствовал радостное возбуждение, тело стало разболтанным в суставах. Он паясничал, усаживал за стол Вадима, полного, с круглым лицом.

— Прошу вас, полковник... извините, совсем забыл, это секрет, — как дела в конторе? Ой, опять сорвалось, — проходите сюда, садитесь.

Гости все были смешными. Скептическое выражение лица Инны, а у самой кружевной воротничок врезается в шею и брови торчат и завиваются на концах, как у ведьмы. У Инны трясется голова, а Нелечка заикается, они как две игрушки. Таня разговаривает с пространством над столом, но понятно, что все ее слова обращены к Кате и ложатся как бетонная плита.

— Жениться надо чем позже, тем лучше. Никак не раньше тридцати. А лучше позже. В юности человек не понимает, чего ему надо.

Роберт отпил из рюмки. Сегодня можно было немного выпить. Ликер согрел его, и Роберт покивал.

— У меня был друг, Журавлев, он повесился. Так он рано женился — на втором курсе у него уже было двое детей!

Таня торжествующе взглянула на Катю.

— Правда, — продолжил Роберт, — был еще Иван. Он поздно женился, очень поздно. Он тоже повесился...

Застолье смолкло в недоумении, прислушиваясь.

— И наконец — помнишь, Лель? Был Григорий. Он застрелился. Он вообще никогда не был женат...

Катя захохотала, откинув голову. Она не надела лифчик под синюю шелковую блузку.

Неля поймала его руку, когда он потянулся к бутылке красного.

— Роберт, не пейте! Вам нельзя!

— Три капли.

Таня с обиженным видом подняла бокал.

— Ну, мам, за тебя — и за твоего спутника жизни!

— Ну вот, теперь я всего лишь спутник. Конечно, я ведь вокруг нее вращаюсь...

Вадим взял его за рукав, потянул сесть, примирительно забормотал:

— Вы оба — спутники друг друга.

Но Роберт вырвался.

— Я хочу выпить за Лёлю. Какая она была красивая!.. Она и сейчас красивая, — спохватился он. — Походка как у королевы.

— Да, я всегда несла себя, — согласилась Лёля легко.

— А как одевалась!

— На нее весь институт бегал смотреть, — подтвердила Неля.

— Я себе все наряды сама шила.

— А ноги у нее были — прямо кавалерийские!..

На это Лёля почему-то обиделась.

— Скажешь тоже!

— А что я говорю? Красивые ноги! Лёля, покажи!

Лёля встала и приподняла юбку выше колен.

— Вот за них я ее и полюбил, — объявил Роберт.

— Вы полюбили ее во всей полноте, — уточнил Вадим.

— Ну, полноты-то особой не было, полковник. Извините, опять! Да что со мной сегодня такое! Она, конечно, была достойна лучшего! Ей был нужен другой мужчина. Но так уж случилось. Лёль, за тебя!..

Таня недовольно сообщила через стол:

— Мама в юности пила водку. И танцевала на столе. И пела в стакан.

— Как это — в стакан?

— Как в микрофон, — пояснила Инна. — Чтобы голос звучал громче. Голос-то был слабый.

— Ба, покажи!

Лёля взяла стакан, поднесла его ко рту, слегка наискосок, и глухо запела, немного задыхаясь, при этом отбивая ритм ногой в вязаном тапочке.

— О, голубка моя, как люблю-у я тебя...

И вдруг вышла из-за стола и с неожиданной плавностью замелькала ногами, раскинула руки и станцевала выход цыганочки, остановилась, закашлялась и, пока все хлопали, упала на тахту. Утерла взмокшее лицо и, смеясь, сообщила Роберту:

— Я выиграла в конкурсе желаний, и нас отправляют в Таллин, на три дня. Бесплатно!

Роберт замер.

— Понимаешь, — говорила она ему, торопясь, — я им просто рассказала, что мы на пенсии и не можем поехать, они говорят — а дети почему вас не отвезут?..

Их уже услышали.

— Да откуда у нас деньги-то! — возмутилась Таня.

— Лёлька! — Неля выглядела испуганной. — Ты чего натворила?

— Так не бывает, чтобы бесплатно, — мелко кивала головой Инна.

— Поздравляю, ба! — сказала Катя и залпом выпила.

Роберт мыл тарелки, Лёля вытирала их и расставляла на полотенце.

— Даже если бесплатно, — раздумывал Роберт, — как ты доедешь? Ты из дома почти не выходишь. И на операцию ложиться.

— А что же я надену? — соображала Лёля. — Я так отекала, ни во что не влезу.

— Самолетом тебе нельзя летать вообще — у тебя сердце...

— Можно поездом. А номер, — беспокоилась Лёля, — интересно, с видом на Старый город? На новый некрасиво.

Роберт лег на кровать, вытянулся, заложив руки за голову. Они уже двигались как в воде, покрытой нефтяными пятнами, — медленной и густой, оставались, успокаивались. Повседневная жизнь обросла фантазиями, как днище корабля моллюсками. Схлынули воды, обнажился ржавый остов мечты и казался теперь неприглядным, реальным.

— Ты же понимаешь, что мы не поедem, — сказал он, едва ворочая языком. Лёля смотрела на него, не мигая.

— Помечтали, и хватит, и спасибо, что еще раз дали вспомнить.

Лёля все еще смотрела.

— Лёля, это безумие. Мы не можем.

Она взвилась, как будто не устала.

— Ты мне за эти годы Таллином всю плешь проел! Все говорил, как поедem, а оказывается, что? Трепался?!

— Ты хочешь, чтобы мы поехали туда и сдохли?

— Пусть! Уж лучше там, чем здесь.

— И гораздо раньше! Если ты сама не соображаешь, значит, я должен за двоих соображать!

— Лучше сдохнуть, чем с тобой жить и слушать твоё нытье годами. Мечтатель! Десять лет одно и то же, одно и то же...

— Перестань. В общем, я решил, я не поеду.

— А я все равно ни за что в больницу не лягу! Вот тебе! Шиш с маслом! Она сложила дулю и помахала перед носом Роберта.

— Тебе же хуже.

— И нечего тут добренького из себя корчить! — она засвистела как змея. — За меня он ис-спугался! Ты за себя ис-спугался!

То детское, глупое, что было в Лёле, всегда давало ей веру в хорошее, как будто мир только и ждал, чтобы сделать ей подарок и ничего не попросить взамен. А когда он доказывал ей, что это фантазии, она смотрела на него обиженно, плакала, будто не обстоятельства не позволяют ей получить то, что она хочет, а только и именно он, Роберт.

— Лёль, все равно Таллинн уже не тот. Современный город... Ты даже Москву не узнала. А там что? За эти годы все изменилось. Я не хочу разочаровываться. Сейчас у нас хотя бы есть наши воспоминания. А вот приехали бы, стал бы я спрашивать — как там эта? Как тот? И в ответ услышал бы: «Он умер. Она умерла».

Лёля открывала и закрывала шкаф, выкидывая из него вещи на пол.

— Душу мне травил все эти годы! Романтика из себя корчил! Замучил.

— Лёль, если честно, я не верю в бесплатный сыр! Сама подумай — ведь нам придется отдавать свои паспорта, ставить под какими-то бумагами подписи, а кто знает, мы же ничего в этих бумагах не понимаем. Ты читала о мошенничествах? Отберут квартиру и все. Окажемся на улице. И все. Вообще — почему ты знаешь, что нас не специально отправляют, чтобы мы поскорей умерли? Сговорились с твоими родственниками...

Лёля задохнулась.

— На-адо же, а какой на людях тихий да ласковый! Одна я знаю, какой ты! Ты же сволочь!

— Я сам удивлюсь, как ты могла полюбить такую сволочь, — согласился Роберт.

— Значит, все. Так и буду тут подыхать, глядя на твою мор-рду... — Она начала хныкать, плюхнулась в кресло. — Всю жизнь мне испортил, сволочь... Крылья мне подрезал! Теперь только бы умереть поскорее...

— Жизнь я ей испортил, надо ж такое ляпнуть!

— Все врет, врет...

— Замучила меня рассказами про своих любовников. А я должен все это глотать.

— Никогда ты меня не любил... А вот Левка меня любил! Он давал мне свободу!

— Свободу дома не ночевать.

— А это не твоё дело, что он мне позволял!

— А ты воспользовалась тем, что он был благородный человек! Говорила мне твоя мама — нельзя на тебе жениться, — обратился Роберт к углу комнаты.

— Когда это она говорила?!

— А тогда.

— Все врет! Не могла моя мать такого сказать!

— Ты за меня вышла-то, наверное, только из-за квартиры...

— А ты меня бил! — закричала она, краснея.

— Да ты что, когда я тебя бил! Опомнись! У тебя с головой не в порядке!

— Да! Я сумасшедшая, я тебя убью, и мне ничего не будет!

Она ткнула пальцем под кровать, где лежал топор — на случай, если в дом влезут грабители.

— Посмотрим, кто из нас первым попадет в больницу, — туманно предсказал Роберт. — Знаешь что? Я так не могу больше. Уходи к Тане.

— Сам убирайся к своему братцу!

Роберт вышел в коридор, надел пальто.

— Давай, давай! Приползешь! А я тебя не впущу!

Хлопнула дверь. Лёля осела на кровать и рыдала, раскачиваясь.

Роберт вышел во двор и замер перед зимней тьмой. Во дворе звучала ксилофонная капель кондиционеров. Он сел на лавку, ноги сразу замерзли. От воротника пальто запахло псиной, как будто он сам бездомная собака, из темноты выступал желтый, голый, насквозь пересвеченный фонарем куст.

Ночью в тишине их животы урчали, как лягушки на болоте. Лёлин издал особый звук, похожий на зов кита.

— И чем ты меня взял? — у Лёли заплетался язык после снотворного. — Мне помирать скоро, а я все не знаю.

— Мы с тобой оба — сумасшедшие, — прошелестел Роберт.

— Нет, ты меня другим взял. Сказать?

— Замолчи! Это такая гадость, даже не хочу слышать... А мне ты изменяла?

— А ты мне?

— Я однолюб.

— Ты не однолюб! Ты мне не изменял потому, что брезгливый.

Через полминуты шептала покаянно:

— Как ты меня терпишь! Деваться нам друг от друга некуда, вот и все. Нет никакой любви...

ГЕРКУЛЕСОВЫЙ СПИСОК 2

В зоопарке красный волк. Когда ветер дул с моря, пахли копытные, еще рядом был мясокомбинат и целлюлозная фабрика. Ездили туда на трамвае номер 2.

В Домском соборе похоронен русский мореплаватель Иван Крузенштерн.

8 /III-83 бронь на Роберта. Море замерзшее

Концертный зал «Эстония», симфонический концерт эстонского оркестра,

К. Конрад — сопрано

Фиолетовую фиалку купили и посадили

III-85 7 эт 711 номер (на Старый город) погода жаркая. Я в осеннем, Роберт в зимнем. Были без сил, ездили на такси.

Сидели у моря на досках, кормили чаек на лету. Потом небо мешалось с морем (лежали на скамейках). Сидели у моря на камнях на конечной остановке 1 автобуса у дач. Я ехала с обострением печени через год после операции

Привезли мне свитер Кате берет белый с розов. крапункой

13 апреля 1989 г умер Х. Крум

Апрель 6 Дима умер

14 Лева день рождения

приходи ко мне мой милый беби

разгони печали след

выдумал беду мой милый беби

а беды в помине нет

25/XII-90 были только два дня, гостиница «Спорт» на Регате. Я всю ночь простояла у окна, наблюдала прилив моря и рождественские огни на корабле у причала. Была сказочная тишина. Цены уже повышенные

На вокзале перед отходом поезда купили шикарные большие ветки от сибирской елки, с шишками — всего 100 рублей

РЭГ, ФВД, РВГ анализы крови, мочи с 9–10 каждый день каб 32 натоцах

АМОКСИКЛАВ

За окном ветки несли посильный груз снега, белые столбики, шапочки и воротца. От этих протянутых к стеклам комочков в комнате делалось светлее. До магазина Роберт теперь ходил через парк. Там было почти безлюдно — все ушли за подарками, за покупками. Пробегал лыжник и его черная собака, бежал с таким звуком, словно точил ножи. Снег схватывался льдом, задетая ветка скрипела, весь куст скрипел, как плетеная корзина. Вдруг надламывалась высокая макушка, обрушивая вертикальный водопад. Троллейбусы ехали мимо парка один за другим, искря — на проводах рос лед.

Елки они не покупали, довольствуясь еловыми лапами — ставили их в ведро, и, раскинувшись, они занимали почти всю прихожую и пахли, оттаивая. Было два способа наряжать их — аскетичный и варварски пышный, вразной, с мишурой и «дождиком» — православный и католический. Они выбирали второй, но вместо Деда Мороза под лапами ставили открытку, вырезанную в виде фигуры Санта-Клауса.

Инна умерла в середине декабря. Лёля сказала: «Жалко. Она все-таки здорово разбиралась в музыке». Роберт ездил на похороны. По бокам аллеи намело сугробы. Стася, крупный, холеный, с большим насморчным носом и Иннинными бровями, наливал водки в стаканчик, клал хлеб сверху — они с Таней суетились, словно это кому-то было нужно. На кладбище Роберт простыл. Потом заболела Лёля, хотя они тщательно отделяли его посуду и всю ее ошпаривали кипятком.

Из поликлиники приходила усатая, полная и румяная участковая, не снимая сапог, оставляла на паркете темные следы.

Здрав майку, Лёля тараторила, мешая слушать легкие:

— Приходил к нам в институт, умолял — выйди, дай я хоть посмотрю на тебя! А я не вышла. Жена его все знала. Перетерпела, зато он обеспечил ее на всю жизнь.

— Бронхит. В легких хрипов нет.

Врач села писать рецепты. Роберт шарил по полкам комода.

— Лёля, где мое фото?

— Я поставила другую, где ты помоложе, — Лёля повернулась к врачу. — У нас в институте давали вечер, я и пошла. Думаю — Шахнович с женой придет, она за его брюки держится, а я этого терпеть не могу, решила — назло приду и стану с ним кокетничать...

— А зачем ты Левку спрятала? — ревниво спросил Роберт и продемонстрировал врачу свое молодое фото.

— Смотрите, какой я тогда был противный. Сейчас хоть на человека стал похож.

Врач глянула на его впалые щеки в седой щетине.

— А Лёля и тогда была красавица. Самые красивые ноги в институте.

— Там мы и познакомились, — быстро продолжила Лёля, не давая отобрать у нее внимание. — Пошла я на этот вечер в институте, и Роберт туда пришел — небритый. Сразу меня заметил. Назначил свидание через месяц. Я прихожу, ждет, я говорю — ты как меня узнал, по волосам или по очкам? Я рыжая была...

— Снотворным не злоупотребляйте, — врач защелкнула сумку. Роберт галантно подал ей пальто.

— А вот видите, у нас тут все таллинские календари висят, башня Толстая Маргарита...

Лёля вздохнула.

— Вот бы съездить еще раз перед смертью...

— Вы бы вокруг дома гуляли, — посоветовала врач. — По полчаса в день. Только потихоньку.

— Я теперь одна вообще не могу ходить, без него, — отмахнулась Лёля.

— Теперь-то я стал нужен!

— Знаете, мы до сих пор каждую мелочь помним, представляете, кошма-а-ар...

— Почему же «кошмар»? — удивилась врач.

— Это она про день нашей встречи!.. — пояснил Роберт и улыбнулся.

Закрыв за врачом дверь. Лёля пригладила Роберту волосы и продолжила, как будто не заметила уход слушателя.

— А Шахнович мне и говорит: «Лёля, ты через свой шизофренический характер обязательно вдрыпаешься в какую-нибудь историю».

Отошла на шаг, полюбовавшись Робертом, непонятно было, рада ли она, что вдрыпалась с ним.

С недавних пор по воде в душе стал пробегать слабый электрический разряд, кто-то из соседей неправильно заземлил стиральную машину. Они жаловались в ЖЭК, приходил электрик, но ничего не сделал — кажется, теперь вообще больше ничего нельзя было сделать. На дно ванной они на всякий случай стелили резиновый коврик. Подумывали мыться в калошах. Зашумела вода — Лёля открыла краны.

— Подожди! Куда одна!

Роберт помог ей раздеться, стянул через голову майку. Помог перешагнуть бортик, встать в ванну на коврик. Пока она мылась, он одной рукой упирался в стену ванной, поддерживая ее, и смотрел на Лелину спину, белую, с розовыми бородавками и коричневыми родинками, по спине стекала вода, прокладывая маршрут среди складок. Между лопаток бледнели следы йодистой клетки. По плечам вниз к кистям рук сбегали веснушки, местами сливавшиеся в сплошные золотистые пятна — она была похожа на лесной опенок. Он погладил спину рукой.

Лёля обернулась и посмотрела на него внимательно.

— Поедем, если ты так хочешь, — сказал он. — Потратим похоронные деньги.

ВАЛОКОРДИН

Роберт убрал ноги под стул. Секретарша была молодая, с короткой стрижкой и лицом напоминала бультерьера — не челюстью, а просвечивающей через миловидность мертвой хваткой.

— Вы нас извините, мы передумали. Имеем мы право передумать? Это же наше желание. Вы не можете отдать другим наше желание. Выиграли так выиграли. Мы старые люди, пенсионеры. Это все жена капризничает, она у меня в некотором роде в положении. Плохо себя чувствовали, вот и не могли. А теперь чувствуем себя хорошо! Я Овен по гороскопу. Все Овны — авантюристы.

— Со здоровьем у вас как? — уточнила секретарша. — Медстраховка обычная, туристическая. Вдруг с вами там что-то случится? Мы на себя ответственность взять не можем. В вашем-то возрасте.

Роберт оживился.

— Знаете, я своего возраста вообще не чувствую! Болит, конечно, все, есть ничего не могу, не сплю по ночам, хожу с трудом, таблетки принимаю, одышка, память... А так — совсем не чувствую возраста!

Все поджимали губы и отмалчивались, сквозь тишину проступало неодобрение. Неля и Таня согласились друг с другом во мнении, что первым умрет все-таки Роберт, словно делали ставки, следя за крутящимся шариком с черепом и костями. Он был моложе Лели, но мужчины по статистике умирают раньше, а

Роберт всего себя отдает, ухаживая за Лёлей, которая стала с возрастом совершенно невыносима, все только на нем держится.

Роберт снял все деньги с обеих книжек. Катя привела коренастого Пашу с намечающейся лысиной, он оказался смешливым. Голос у него был низкий, грубый, с командными интонациями, а когда он смеялся — смех получался тонким и заливистым, словно в нем проявлялась его женская, нежная часть. Лёля одобритительно шептала Кате в коридоре: «Ничего, симпатичный, в моем вкусе». Паша фотографировал Лёлю, но она себе на фотографиях не понравилась. Документы делали через фирму, без присутствия, и когда они получили на руки паспорта с красной обложкой и тисненым гербом, то со страхом рассматривали свои фото, фамилии, набранные латиницей, и отливающую радугой визу.

Неля, покраснев, швыряла вещи на кровать.

— Лель, ну куда вы поедете. Ты только Роберта с толку сбиваешь. Вы оба больные совсем.

— Кипятильник не забыть, — отвечала Лёля.

— Что ты будешь делать без Роберта? Как без него жить? Н-нет ничего особенного в вашем Таллине. Глупость одна! Все то же, что и здесь.

ОБЗИДАН

Замедляя ход, поезд шел мимо засахаренных пригородов. Выскочила в пейзаже башня Длинного Германа с развевающимся над ней флагом — когда-то был красный, потом со свастикой, красный с бело-голубыми волнами по нижнему краю, а теперь суровый, сине-черно-белый, как небо, море, снег. Вид на шпиль Олевисте стремительно закрыло новое здание плавных форм, зеленого стекла, успели еще удивить промелькнувшие на платформе фонари, волей дизайнера наклонные и похожие на зимние деревья, чьи стволы пригнули к сопкам ветер. Поезд дернулся и встал на перроне.

Балтийский вокзал, если смотреть на него с платформы, был прежним — бетонный куб, похожий на казарму. Кинотеатр «Ленинград» в сквере напротив их дома в Москве был создан в той же архитектуре, только окна в нем были круглые, как иллюминаторы, а у вокзала — узкие и высокие щели бойниц. Проводница отперла дверь вагона, с грохотом спустила лестницу. Впереди Лёли с Робертом на платформу спустились они сами, но моложе, и удалились призрачными тенями к стоянке такси. «Морем пахнет», сказал Роберт, «Да ну, что ты, откуда здесь море. Господи, надо было посмотреть карту — где вообще этот Таллин?» — ответила Лёля. И тогда уже Лёля и Роберт, спустив сумку на колесиках и чемодан, шли к вокзалу, в толпу.

Экскурсовод с табличкой встречала их возле входа. Вокруг уже собралась группа.

— Мы рады приветствовать вас в Таллине, — начала экскурсовод, одергивая дутую куртку. — Сейчас мы все пройдем в автобус, который отвезет нас в кафе, где вам будет предложен небольшой завтрак. Затем у нас пройдет двухчасовая пешая экскурсия по городу, по окончании которой наш водитель доставит вас в отель.

— А без экскурсии нельзя? — испугался Роберт.

— А вам все равно деваться некуда, заселение в гостиницу только в двенадцать. Мы же предлагаем, чтобы вам было удобней...

Роберт оглянулся на Лёлю.

— Но мы... Моя жена, извините, пешком не сможет...

Экскурсовод с неудовольствием посмотрела на Лёлю.

Высадив всех у кафе, микроавтобус повез Лёлю и Роберта дальше по улицам. Через десять минут они стояли с вещами у входа «Олимпии».

Когда они останавливались здесь, холл был сплошь выложен белым кафелем, было пусто, гулко, светилась неоновая полоса над полированной стойкой администрации, повороты и углы холла тонули в тених, было похоже на вход в большой бассейн, помывочную. Теперь холл стал кремовым с черными колоннами, мраморный пол лоснился, отражая рассеянное освещение, и, казалось, был скользким. В холл вели автоматические двери, пахло горячим озоном.

Роберт усадил Лёлю в пухлое кресло посреди холла, и ему показалось, что они выглядят как беженцы. Вокруг низких столиков сидели иностранцы, курили, пили кофе из маленьких чашек, говорили на французском, немецком. Лёля поерзала.

— Робастина, договорись, чтобы нас пропустили. Устала, не могу, лечь хочу...

Ресепшионистка улыбнулась ему. Роберт не знал, понимает ли она по-русски — она казалась совсем молоденькой.

— Тере. Мы с женой... Если номер не освободился, мы подождем. Знаете, мы всегда, когда приезжали с ней в Таллин, останавливались в «Олимпии». Бронировали заранее номер, чтобы обязательно с видом на Старый город...

Роберт выложил на стойку паспорта, а затем, подмигнув, положил сверху шоколадку «Вдохновение».

Девушка защелкала клавиатурой компьютера, маникюр у нее был аккуратный, розовый. Посоветчалась с другой девушкой на шуршащем галечном языке, бросила взгляд в холл, где Лёля тяжелым мешком сидела с сумкой и двумя чемоданами, и выдала Роберту оранжевую пластиковую карту-ключ. Парень в униформе подхватил их вещи и куда-то понес.

Лифт был похож на шаттл — хромированно-стеклянный, он возносился наверх так стремительно, что екнуло под ложечкой и заложило уши. На этаже пахло горячим парафином, праздником. Коричневый палас гасил шаги, и в белом коридоре шел ряд оранжевых дверей. Носильщик показал, как открывать дверь картой.

Номер был стандартным, но показался им огромным. Роберт в восторге потрогал стены.

— Потрясающе! Вот это да!

— Шикарный! — согласилась Лёля. — Это что — люкс?

Пледы на полированных кушетках заменили шоколадные покрывала на двух полуторных кроватях, и все здесь было бело-коричневым, как кофейный десерт.

— А места сколько! Как четыре наши с тобой комнаты!

— Ты посмотри, какие шторы!

Они кружили по номеру, забыв про носильщика. Лёля вдруг нахмурилась.

— А клетка?

Проковыляла к постели, откинула покрывало — и торжествующе посмотрела на Роберта. Простыни были в крупную коричневую клетку. Пока они ошупывали номер, носильщик, поставив сумки, ушел. Лёля испугалась.

— Робастина, а ведь ему, наверное, на чай надо было дать! А мы не догадались! Совсем дикие, скажут...

— А, плевать, мы пенсионеры.

Роберт подошел к окну. С одиннадцатого этажа открывался вид на Старый город, засвеченный утренним солнцем. Снег висел в воздухе, как пыль в луче, и не собирался падать на землю. Мимо окна пролетела чайка. Роберт распахнул фрамугу и крикнул ей:

— Кйаа!

Отпихнув Роберта, Лёля стала вывешивать за окно пакет с оставшимися от поезда продуктами. Роберт засмеялся, глядя на это.

— Ну, а холодильника тут нет?

Он поискал и нашел мини-бар с маленькими бутылочками — его можно было использовать, освободив полки. Они обнаружили в баре воду, вино, водку, колу, сок. Он достал одну бутылочку, открыл ее, уронил и немного красного выплеснулось на стену. Пятно не удалось оттереть, и тогда они задвинули его креслом, чтобы уборщица не сразу обнаружила.

Сырую воду пить не стали. В стакане пускал пузыри дорожный кипятильник. Лёля вышла из ванной в белом пушистом халате и белых тапочках отеля с вензелем.

— Смотри, какие. Я хочу себе такие тапочки на память. Давай слямзим?

— Скажем горничной, что у нас в номере только одни тапочки на двоих. Пусть еще принесет.

— Неудобно... — обрадовалась Лёля. — Давай!

День они провели в кроватях, обессиленные дорогой, но и не только ею. Зачем было идти в город, если можно просто лежать и смотреть на него. За окном погода все время менялась, как обычно на Балтике, тяжелые, угрюмые тучи перемежались просветами, получасовым теплом, по крышам ходили тени, черепица светилась кармином, тускнела, и, припорошенная снегом, напоминала о сахаре с корвалолом.

Лёля зашевелилась и пробормотала.

— Все не то.

Это так отвечало его мыслям, что Роберт вскинулся.

— А ты как думала?!

— Не знаю. Думаю, если б мы были молодые, здоровые, мы бы сейчас...

— Ну что мы бы, что?!

Лёля подумала, глядя в окно.

— Так бы хоть годик пожить.

Солнце садилось, и вскоре видны были только черные силуэты зданий, неровной линией, с острыми пиками, в небе над городом пролегла густо-фиолетовая, уходящая во мрак полоса туч, а в просвете между черным и черным сияли золотые и багровые полосы, пока совсем не погасло.

ПИРОКСИКАМ

Снег, выпавший наутро, был воздушным, невесомым. Он едва покрывал перила, машины на стоянке, карнизы окон, и если на него дунуть, разлетался, как парашюты одуванчиков. Они вошли в Старый город со стороны Виру, обнаружив, что слева от входа теперь открылся «Макдоналдс». Роберт пел:

— Вабадузе!

Лёля сердилась.

— Нет, Вирусские ворота, и потом мы идем на Тоомпеа, ты все забыл!

— Я знаю. Площадь Вабадузе! Мне просто нравится, как это звучит — Баба Дуся! Тебе не тяжело идти? Помедленнее?

— Мне не тяжело, — и всем весом оперлась на его локоть. — Какая здесь вся публика интеллигентная!

Мимо них прошли два парня, бритых, в кожаных куртках, поровнявшись с Лёлей и Робертом, один нарочито протяжно рыгнул, но этого она не заметила.

Посреди Ратушной они встали и растерялись, глядя в небо, на шпиль ратуши, на флюгер, на брусчатку. Рождество и Новый год уже прошли, но на площа-

ди еще оставались лотки с товаром. Продавали марципаны, колбасы из лося, толстые шерстяные носки с узором елочкой, жареный миндаль. Мелкие сувениры, открытки с видами, магниты с надписью «MOLOTOV_RIBBENTROP SOVIET OCCUPATION 75». Роберт купил брелок: пластмассовый скелет на шарнирах, если его потрясти, он начинал танцевать, Роберт имел в виду пляску смерти — такое панно висело в местном музее — но Лёле шутка не понравилась, и она велела выбросить. Посреди площади мылись голуби. Голубь стоял в холодной луже красными лапами. Глаз его отливал золотом. На шее у него была радуга. Лёля порылась в сумке, достала булку и стала крошить. Голуби быстро клевали, похожие на маленькие швейные машинки.

С трудом поднялись по на Люхике-Ялг. Лёля шла впереди, останавливаясь через каждые три ступеньки. Роберт подталкивал ее ладонями в спину. Лёля достала из кармана большой клетчатый мужской платок, трубно высморкалась в него, посмотрела на Роберта и смутилась. Роберт сказал, что путешественник Амундсен, дошедший до Южного полюса, изобрел теорию промежуточных целей: сегодня ему нужно было дойти до скал, завтра — до торосов, и так он и шел от одной снежной сопки до другой, с каждым шагом незаметно приближаясь к своей великой конечной цели. И вот они, Лёля в своей черной шубе, он в пальто ниже колен, будут сейчас продвигаться небольшими шагами. Люхике-Ялг. Пикк-Ялг. Самая узкая Лабораториум.

В каменных стенах были врезаны деревянные двери, как полированные буфеты. Было тихо, темно в узких тупиках дворов, куда долетал запах жженого кофе. В освещенной витрине кондитерской сидела женщина и лепила шоколадные конфеты. Снег покрывал брусчатку и посверкивал на солнце. Вид на Олевисте со смотровой площадки у лестницы Паткуля не изменился, разве что стала короче дымящаяся труба электростанции да выбелили колокольню. Ветер свистел в ушах, чайки метались и голосили — Роберт вспомнил, что чайки выклеывают глаза детенышам тюленей.

Спускались по Длинной ноге, пахло землей и гленом, деревья, растущие на крепостной стене, казались прозрачными на фоне темнеющего неба, и было странно, что никто не ходит между них, они растут там, наверху, совсем одни.

Выйдя к Дому писателей, прочли прикрученную к рабице табличку на двух языках, русском и немецком: «Поздним вечером 9 марта 1945 г. советская авиация совершила серию налетов на Таллинн. Было уничтожено 53% жилой площади города, без крова осталось около 20 000 жителей, погибли 463 и ранены 659 человек».

— Это их женская эскадрилья бомбила, — сказал Роберт Лёле. Одной из ночных ведьм была Марина Раскова — а мы с тобой живем на улице ее имени, надо же, какие совпадения.

В восемьдесят девятом они попали на День памяти, в годовщину бомбардировки на Харью, около Нигулисте, люди расставляли и зажигали свечи, все было в свечах, было красиво, и Лёля сказала: «Знаешь что? Давай на людях не будем по-русски говорить».

Лёля обнаружила, что прошлое, как и будущее, оказалось переполнено возможностями — все варианты сохранялись в нем, все расходящиеся, не выбранные пути. И сейчас, пока Лёля с Робертом кружили по городу, они словно все разом открывались, так что сложно было не заблудиться и не провалиться куда-нибудь. Там, разойдясь, они бы потеряли с Робертом друг друга навсегда.

Все считали, старший брат Роберта Аршак был Лёлиным любовником, а потом скинул ее на неудалого младшего. Но это было неправдой, раз Лёля не говорила ему про Аршака, а она рассказывала ему про всех своих мужчин. Брат не был красавцем, он был низкорослым, плотным, с бородавкой у носа. Но познакомил

их он, это правда. В то время Роберт работал в Гидропроекте, они сидели в ячеистой высотке с белым шаром метеорадара на крыше, похожим на кладку паука.

Когда Роберт сказал, что хочет учиться пению, его отец, секретарь горкома партии в Тбилиси, с такой силой метнул вилку, что та вонзилась Роберту в ногу. Внезапное приложение сил к чему попало было у них семейным — Аршак свистом разбивал бокалы — но Роберт ничего такого не умел. Он отучился на специалиста по холодильным установкам. Работал после на маргариновом заводе. Отец умер, и Роберт с мамой Сирануш сменялись в Москву, в панельную двушку на Речном. Аршак женился, купил кооперативную квартиру, машину. Роберт устраивался в отделы информации в научных институтах, где коллектив был в основном женским, зарплаты маленькими. Он все равно нигде не мог долго работать, каждые три года увольнялся, вчера еще симпатичные сотрудницы казались уже сволочами.

Лёля закончила институт по специальности «отопление и вентиляция». Практику проходила на строительстве высотки на площади у трех вокзалов. Работала в Доме проектных институтов, ПИ-2, напротив Гидропроекта. Почему, как назло, холодильные установки — и отопление с вентиляцией? Как будто они сами выбрали себе эти специальности, чтобы потом сойтись как лед и пламень — нет, за нее тоже приняли решение родители. Несмотря на легкомысленность, Лёля была руководителем, «групповой», на большой зарплате в двести двадцать рублей.

ПИ-2 устраивал вечер. Над залом протянули транспарант, поздравлявший трудящихся, по углам висели надувные шары. Неля наклонилась к Лёле и предупредила:

— Лёлька! «К-косой»!

Роберт, стоя у входа, смотрел на нее. Лёля достала пудреницу, провела расческой по волосам.

— Можешь не стараться, — усмехнулась Неля. — Уже убит.

Роберт подошел к их столу и пригласил Лёлю. Танцевал он не очень хорошо — аккуратно, следовал курсу, не откликаясь на толчки Лелиной ладони. Левка всегда был готов к импровизации, но другие мужчины слишком окостенели, слышали только себя.

— Можно назначить тебе свидание? — спросил Роберт, поворачивая Лёлю, словно она предмет с надписью «не кантовать». Она сразу предупредила, чтобы не было недоразумений:

— Я замужем.

— Тогда в кино?

Всего у Левки серьезных ранений было шесть, одно сквозное в легкое и контузия. По всему телу прошли жуткие шрамы. Когда набирали добровольцев во фронтовую разведку, он сам вызвался, он знал немецкий; ходил за линию фронта. Таня родилась через три года после свадьбы. Это он смог. С огромным шелковым бантом на почти лысой голове, наряженная в матросский костюмчик по моде, она мало и плохо ела, и, чтобы отвлечь ее, он начинал:

— Отправляет нас генерал в разведку, братъ языка. Немца в плен, значит.

Таня послушно открывала рот, и он совал в него ложку с кашей.

— Берем оружие, падаем в снег и ползем. Ну вот, значит... Ползем мы, ползем... Ползем, ползем...

Каша съедалась, а рассказ дальше этого никогда не продвигался.

Лева был импотент. Какое-то время ей удавалось обходиться без постели. Потом случился первый роман. Было неловко, казалось, начали общее дело, а

теперь зачем-то вынуждены его довершить. Потом она перестала скрывать. Лева стал выдавать ей расписки: «Разрешаю своей жене Елене изменять мне». Залезал в ее сумочку, выкрадывал и рвал их. Танька его обожала.

Роберт назначил встречу у памятника Пушкину, как приезжий. Лёля специально опоздала на полчаса, чтобы он рассердился. На вечере свет был приглушенный, все выпивали, и она уже не помнила, действительно ли они понравились друг другу. Увидев ее, он двинулся навстречу. Она откинула голову назад и надменно спросила:

— Ты меня как узнал — по очкам или по волосам?

— Если бы не было ни того ни другого, я бы узнал тебя по ногам, — ответил он. — Они у тебя прямо глянцевые.

Роберт стал приходить к ним домой. Подарил Тане куклу. Один раз Лева застал его. В прихожей произошла неловкая толчея. Роберт ушел. Лева замахнулся — хотел ударить ее, может быть, дать пощечину, но театральные жесты не были его стихией — получилось глупо, как дерутся дети — треснул кулаком по макушке.

Небо к вечеру стало коричневым. Вдруг пролился свет, резкий, четкий, выделяющий детали, холодный и неприятный, как освещение в примерочных кабинках магазинов, при котором все кажется себе бледнее и старше. Чтобы отдохнуть в тепле, они зашли в Домский на концерт. Публики было мало. Над каменными плитами надгробий пахло сухим букетом. Дирижер водил руками, как экстрасенс, хор открывал рты и пел что-то про вечную ночь, казалось, это поет народ с мерзлых улиц, и сам не знает, какие страшные вещи поет их душа, пока они заняты бытом, и сами они словно удивлялись этому. Когда вышли, смеркалось. Никого уже не было в Старом городе, только по Ратушной площади бродили две влюбленные пары. Начался снег с дождем, потом снегопад. Сперва снег шел быстро, наискось, мелкий и острый, а потом стал падать отвесно, и хлопья делались все крупней и крупней. Не стало видно ни домов, ни дороги, только белое кипение.

Вместо варьете при «Олимпии» открылся ночной клуб «Бонни и Клайд». Варьете недавно снова появилось в Виру, но билеты давали только на группу, и бронировать их надо было заранее. Поэтому вечером Роберт повел Лёлю в кафе. В полумраке подвала сидели нарядные дамы и господа, бокалы над стойкой бара висели головами вниз, как летучие мыши. Лёля засмушалась.

— Я как-то неловко себя чувствую. Все смотрят и думают — чего притащились? Давай уйдем.

Столовые приборы были завернуты в белоснежный конверт салфетки, асимметричные тарелки походили на полукруглые кресла. Роберт нашел в меню «конфи из утиной ножки, глазированной медом, с квашеной капустой и картофельным дюшесом».

— Нам нельзя, — восхитилась Лёля.

— Нам уже все можно.

— Тогда колбаски.

В глиняных кружках принесли вино со специями, они запивали глинтвейном ломтики копченой буженины, пили крепкий кофе с ликером, от которого сразу кружилась голова и начиналось сердцебиение, на десерт взяли крем-брюле.

Вернувшись в гостиницу, пили но-шпу, фестал, хилак-форте. Не могли заснуть, ворочались, и, едва Роберт задремывал, Лёля принималась что-то искать в сумке, шуруша целлофановыми пакетами во тьме, как еж.

НИТРОГЛИЦЕРИН

Лёля рассматривала в зеркале свой язык.

— Обложенный...

Рассмотрела и Роберта. Он сидел в кальсонах, растрепанный, потирая грудь.

— Пососи валидол. Давай не поедем. Полежим в номере.

Роберт покачал головой, встал, сделал несколько махов руками.

— Мы и так на три дня приехали. В последний раз. Не хочу валяться. Ничего, я разгуляюсь.

В восьмидесятых трамвай, троллейбус и автобус стоили три, четыре или пять копеек. Теперь были карточки на час, на день, которые надо было прикладывать к валидатору. Автобусы цвета свежей зелени отходили на Метсакальмисту с подземного этажа торгового центра «Виру Кескус», и они с непривычки долго бродили среди цементных колонн и эха, Роберт спрашивал встречных, как им проехать на кладбище, пока не придумал, что они в их возрасте с таким вопросом могут выглядеть смешно. Впрочем, им вежливо подсказали, что в Пирита идут восьмой и тридцать четвертый автобусы, часть пути по этому же маршруту идет и пятый, проезжая всю набережную, но сворачивает потом на гору, а до самого конца пляжа доходит только автобус номер один, который раньше там и заканчивал свой маршрут, а последние лет десять идет дальше, в Виймси.

Автобус был полон, они стояли, держась за поручни, смотрели в окно. Выехали на набережную, миновали ракушку Певческого поля, серую иглу монумента у Марьямяе, к зданию которого свезли и бросили вповалку скуластые, широколицые советские памятники, они лежали и пустыми глазами смотрели в небо. У развалин монастыря Бригитты насупленный мужчина уступил Лёле место.

— Вы откуда сами?

— Из Москвы.

— Как там Москва?

Сидящая у окна женщина зашевелилась:

— А у меня дочь в Питере училась. А какие у вас на метро сейчас цены?

Мужчина, уступивший Лёле место, удивился:

— И не скучно вам тут у нас да зимой? В советское-то время жизнь тут кипела.

Вышли все пассажиры, кроме загорелого старика в красной аляске, Роберт ходил по салону автобуса, за окнами были сосны и снег. Старик все говорил, не обращая внимания на то, что Лёле неудобно его слушать.

— Пятьдесят лет тут живу, родители мои здесь похоронены, отец воевал, а паспорт у меня, как у собаки. Вот ты мне скажи, москвичка, я должен насрать на своего отца из-за ихнего гражданства? Да пошли они на хер!

На конечной Роберт помог Лёле спуститься из автобуса. Они остались вдвоем. Среди каменных валунов, плит жило спутанное предвечернее беспокойство, звук и ветер. Снег гасил взгляд, темно-оранжевые, сырые стволы сосен выглядели отчаянно, за ними расстиралось белое, рассеянное. Постояли у могилы Георга Отса.

С трудом, медленно шли по неглубокому снегу. Заблудились, пришлось оги- бать заколоченное здание — то ли небольшая гостиница, то ли кафе.

— Я вспотела уже вся, ты не вспотел? — волновалась Лёля. — С моря ветер. Охватит, сляжем потом с воспалением легких. Ты устал, передохнем?

Но уже перед ними обозначилась тропинка, просвет, ведущий к морю через перелесок. Море издалека чуть поблескивало между стволами неброским серым.

Роберт страхнул с пня снег, присел, подогнув полы пальто, сдвинул шапку на затылок, задышал, хватая морозный воздух ртом.

— Надо двигаться, холодно, — сказала Лёля, потоптавшись, и потихоньку пошла по тропинке к морю. Глядя на то, как она уходит, Роберт поморщился от

боли в левой стороне между ребер, достал нитроглицерин, кинул в рот горошину. Сидел, чуть накрываясь, и смотрел, как Лёля, не оборачиваясь, грузно перебирает ногами уже далеко по тропинке. Она опять была похожа на девочку — так дети, тепло одетые по зимней погоде, неповоротливо, но быстро и не оглядываясь, уходят от родителей к чему-то более интересному. Роберт закрыл глаза.

ГЕРКУЛЕСОВЫЙ СПИСОК 3

Что, где, лежит

Мягкий коричневый чемодан

1) 2-е юбки бежевая и красная

2) клетчатый костюм

3) марля рулон (аптечный)

4) 2-а дачных полотенца

5) теплые с начесом зимние трико

6) старый лифчик

7) от зимнего пальто Нелиного ватин

Роберт вечером пошел в магазин (Универсам), многоэтажный «Стокман» недалеко от гостиницы «Олимпия» на улице Кингисеппа вниз метрах в ста до пересечения Тартуского шоссе, где были куплены потрясающие булочки, трубочки с кремом. Купил мне новую помаду.

31/1 в 11 у Роберта случился приступ тахикардии с аритмией. Он промучился до 01-II вызвали неотложку. Купировать верапамилом не удалось, и они поехали в реанимацию.

Неля ездила в Данилов монастырь подала о здравии на 40 дней.

Мягкий черный чемодан-портфель

подкладки, парашютный шелк

ЭТАМЗИЛАТ

Еще черные ветки за окном были в белых чехлах, но небо уже светлело, обрело почти несуществующее, малозаметное глазу сияние, новый оттенок цвета — приближалась весна. Они не были готовы к весне. Они были готовы к долгой зиме, темным вечерам, гололеду, а тут этот вечерний свет, солнце по утрам в окно, мелкие лужи по всему тротуару, и уже видно, что скоро он будет сух, а в парке вылезет из-под снега жухлая трава, потянет жирным запахом земли, и что, спрашивается, они станут со всем этим делать?

Вернувшись из «генеральского», Роберт услышал плач в ванной. Лёля лежала на плитках пола голая, ныла. Она замерзла.

— Робастина! — пробасила она. — Я поскользнулась.

— Ты зачем сама в ванну полезла?

Он помог ей встать.

— Ногу больно.

На бедре у Лёли разливался багровый синяк. Роберт положил на него мороженую фасоль и вызвал неотложку. Молодой врач прохладными пальцами ощупал Лёлю и сказал, что перелома нет, рентген делать не надо, ушиб велел мазать гелем и несколько дней лежать. Они измазали три тюбика, прежде чем Роберт вызвал участковую. Та позвонила в скорую и Лёлю увезли в Боткинскую, поставили диагноз «перелом шейки бедра» и удивлялись, что она могла сама идти, сама наклоняться и снимать обувь — сказали, у военного и послевоенного поколения высокая способность терпеть боль.

Оставшись дома один, он часто выходил и подолгу гулял пешком, а что делал, когда был дома, — помнил почему-то плохо. Первого февраля падал густой

снег, была оттепель, потом тротуары были занесены, смеркалось, дворники чистили снег лопатами. Две узкие очищенные дорожки шли поперек тротуара и упирались в стену дома, в подвале которого был зоомагазин. Один, в оранжевом жилете, на корточках застыл перед окном, в которое было видно аквариум. Окно сияло изнутри теплым, и мимо черной стриженной головы медленно, шевеля плавниками, плыла в золоте черная рыба.

В коридоре стояла пальма в кадке. Табличка с правилами гласила, что, в том числе, больным запрещено играть в карты и другие азартные игры, а также сидеть на подоконниках и высовываться из окон. В болезни было как всегда много рутины, обычных, ничем не выдающихся дней. Роберт приезжал через день, помогал Лёле разрабатывать ногу — им велели заниматься гимнастикой. Лёля ворочалась в кровати, сидя, елозила вперед-назад, он тянул ее за руки. Брал ее ногу и сгибал, выпрямлял, сгибал. Лёля лежала ненакрашенная, разметав волосы по подушке. Она посмотрела на него сказала:

— Забери меня домой. Дома помереть хочу.

Тогда Роберт перестал ее навещать. Сказал по телефону, что простыл, температурит и не хочет заражать. Отключал телефон, а когда звонил — как будто все время спешил куда-то, скоро прощался.

Лёля развлекала соседок по палате своей жизнью, пересказывала романы, говорила о знакомых, которых никто из них никогда не видел и увидеть бы не интересовался, и ужасно всем надоела. В отсутствие Роберта ее вниманием завладела Неля, она склоняла Лёлю к покаянию. Роберт был против всего церковного, поэтому держали под строгим секретом, рассказать Лёля решила только Кате.

— Она мне литературы принесла. И в брошюре я этой прочитала, что верить снам нельзя, приметам, и гадать тоже нельзя, все это — грех. Я помню, как мама гадала на блюдце, почему-то дух Пушкина они вызывали, и дух ей сказал, что мой брат с войны не вернется. Так и вышло. А оказывается, это грех. Так что поимей в виду.

Катя сняла фольгу с миски с картошкой — остыть она еще не успела. Лёля принялась есть ее, политую маслом, пересыпанную мелким укропом:

— Вкуснотища!

Она заплакала, роняя слезы в картошку, роняя картошку изо рта, и одновременно жадно ее в себя запихивая.

Наутро ветер разметал облака, против солнца лед горел, рябил, как дорожка на воде, а по широкой улице к корпусу дорога стала вся голубая, синяя, цвета дождевых облаков, редкие наносы снега в ложбинах льда смотрелись небольшими облачками, повторяющими те, что на небе. Небесное небо было радостным, голубым, ниже — свинцовым.

Таня отдернула простыню, посмотрела на ноги Лели. Лодыжка посинела и припухла, пальцы стали почти черные. Врачи сказали, застой крови, могла начаться гангрена, и думали, что смогут завтра сделать операцию.

Лёля смотрела на нее оценивающе. От Тани, с неприглаженным хохолком на макушке, пахло улицей, морозной влагой и слегка кошками. Лёля вспомнила первые, черемуховые холода, как можно было распахнуть в черноту окно и дышать белым, сильным запахом, немного кошачьей мочи, немного хлорки и перги.

— Будете меня хоронить, никаких платочков не надевайте. Не хочу выглядеть, как сельская старушечка! И платье. В шкафу на верхней полке полушерстяное, цвета беж. К волосам. А гроб золотистый, охра, в тон платья.

Таня сдвинула брови.

— Мам, а на каком кладбище, на старом или на новом? Вместе с бабушкой или с отцом?

Лёля подумала.

— К маме. Не могу с Левкой лечь, перед Робертом неудобно. Жалко только, что я весны не дождусь. Так я черемуху люблю! Нарвете и принесете мне на могилку.

Таня присела в больничном сквере. Из дверей корпуса вышли хирурги на перекур, халаты белые, штаны зеленые. С утра был минус, но еще в палате она почувствовала, как что-то изменилось. А теперь, когда она вышла наружу, полился свет, всё задышало. Лужи раскисли, стало непривычно тепло, и непонятно было, похоже это больше на вдох или на выдох. Таня набрала Катин номер на мобильнике:

— Мама умерла, — сказала она и вдруг закричала, растерявшись. — Это ты виновата!

Небо было ярким, показались проплешины на газонах. Все стояли у морга, держали пары гвоздик, ждали очереди.

— Роберт не придет? — спросил Вадим.

— Он говорит — не хочу запомнить ее в гробу, — поджала губы Таня. — Неприлично даже. Он всегда странный был, не в себе.

— Но на поминки-то придет?

— Он думает, пока не знает, — защищала Неля, — просил позвонить, как мы сядем. Вы бы его одного сейчас не оставляли.

Двери распахнулись, они зашли в тень помещения, где в центре стоял гроб, обитый золотистым шелком. Таня огладила рюши гроба рукой хозяйки, поправила Лёле цветы на груди.

— По-моему, получилось стильно. А Роберт не захотел, представляешь, в морге заказывать косметику. И даже заморозку не хотел — еле я его уговорила.

Лёля выглядела не как Лёля, а как чужой старик, лицо ее разгладилось и стекло к шее и ушам. Молодой священник со сладким лицом совершил короткую службу, в процессе и после которой четыре раза упомянул про пожертвования. Неля над гробом в задумчивости слегка улыбалась.

Потом они ехали в крематорий за городом, где зима сдавалась весне медленнее, но свет все равно уже был розовым, а тени сиреневыми. В крематории Таня выбрала керамическую вазу, тоже коричнево-золотую, с глазурью. Поминали в парковой шашлычной, возле дома, но Роберт так и не подошел — сказал, что ложится спать, и отключил телефон.

РЕЛАДОРМ

Липы и тополя роняли сережки и пыльцу на асфальт, в лужах плавали длинные дождевые черви. Стояли сырые погоды, вчера по дороге в поликлинику Роберт видел уже совсем большие, нежные листья, бессолнечную зелень. Нет, не вчера, это было позавчера. От одуванчиков в глазах рябило, а теперь под дождем все попрятались, одни травяные кулачки на газонах, из каждого кулачка торчит желтый цыплячий хвостик.

Он думал, что теперь он может куда-нибудь поехать — к морю, может быть, в Коктебель, а может, в Тбилиси. Он ходил в поликлинику, чтобы узнать, могут ли ему дать направление в санаторий. Липкий линолеум в коридоре напоминал

яичницу, он с раннего утра долго сидел в очереди, но перед ним все равно стремительно прошла ухоженная блондинка в черном, из тех, что всегда находятся в состоянии напора и борьбы — они зачем-то хотят всюду быть первыми и идут сквозь очередь с выражением лица отрешенным и одновременно вороватым, готовым к скандалу.

Из поликлиники он зашел в парикмахерскую — его всегда стригла Лёля, и теперь он оброс. Женщина водила ему по голове машинкой, холодная сталь касалась затылка, и руки у нее были ледяные. Уборщица подметала состриженное, раскосая, маленького роста, закончила работу и села сама мыть себе голову. А потом подвинулась к зеркалу, взяла фен, сушила волосы с сонным лицом — ее длинные, ниже лопаток рыжие пряди под струей воздуха взлетали вверх тяжелой волной, открывая небольшое красное ухо.

Звонила Катя, предлагала заехать, убраться, привезти еды — но у него была еда. Однажды она приехала, звонила в дверь, потом Роберт видел в окно, как она сидит во дворе на детской площадке, достала из сумки пластиковый контейнер и начала есть.

Ощущение собственного засасывающего безумия наступало и раньше, когда он жил один. Ночью мысли выползали в темноте, как дождевые черви на асфальт при сырой погоде. Оглядываясь на такие периоды, он понимал, что действительно был слегка болен. Роберт хотел теперь выздоравливать.

Приезжала Неля, что-то лепетала под дверью, про любовь и ожидание. Присла ей позвонить.

Вместо этого Роберт позвонил Аршаку. Они уже больше двадцати лет не общались, может, они когда-то поссорились, Роберт не помнил. Сказал, что у него умерла жена. Аршак удивился — он не знал, что они с Лёлей были расписаны. «Это, видимо, уже после смерти мамы, она бы этого никогда не разрешила?» Да, они расписались уже после смерти Сирануш, Лёля настояла, так как в советское время если не расписаны, то нельзя было селиться в один номер. Помолчали. Роберт поздравил Аршака с днем рождения дочери — она была совсем взрослая, Роберт нашел дату ее рождения в Лёлиных списках. Пригласил их в гости, у него был подарок. Но у Аршака было много дел. Договорились встретиться в метро. Подошли друг к другу на платформе в тишине между двумя поездами, рассматривая приметы старости на лицах. Аршак не помнил, был ли Роберт раньше таким худым. Роберт отдал ему пакет с продолговатой серой коробкой, истрепанной по углам, мельхиоровые ложечки были уложены в ней в синие бархатные гнезда.

— Машины, — сказал Роберт.

— Спасибо, — сказал Аршак, — пригодятся.

Волнами набегали поезда, давая им возможность не разговаривать.

Неле с больницей не очень повезло — палата была большая, и все эти пожилые женщины раздражали ее, они были тусклыми, такими же некрасивыми, как она, и разговоры с ними не удавались — судачили только о своих болячках. Нудно падали капли из капельницы — боль боль (бульк бульк). Неля считала их.

— Тыс... один. Тысс... два. Тысс... три.

Показалось, капает быстро, она поднялась и прикрутила вентиль. Все это было скучным как вечность. Стыдно было быть такой некрасивой, и в старости все более безобразной — когда мир делался таким красивым, голубым.

— А как хотела меня мать
Да за первого отдать... — запела она тихо.
Соседки переглянулись и вдруг дружно и громко подхватили.
— Ой, не отдай меня мать!
Медсестра на пункте прислушалась.
«Как хотела ж меня мать
Да за другого отдать...
А тот другой ходит до подруги
Ой не отдай мене мать...»

Из-за того, что занавески были отдернуты, а за окном солнце, комната казалась распахнутой вовнутрь. В передней обдало запахом заброшенности. Пыль хлопьями лежала по углам, покрыла полированные поверхности серванта, кое-где выросла на потолке паутина. Роберт вошел в комнату из кухни. Он еще вытянулся, оброс длинной неряшливой щетиной, глаза горели и одновременно казались мечтательными. Он нес две помытые рюмочки. Он старался делать все так, как Лёля. Прежде он никогда не общался с Катей наедине, поэтому обращался к привычным ритуалам как средству общения между ними, поставил вазочку с конфетами.

— Есть «Старый Таллин», а есть кагор. Я его в церковной лавке взял, должен быть хороший.

Налил, поднял рюмку.

— За Лёлю.

Выпили. Катя повертела рюмку в пальцах.

— Я могу помочь с уборкой.

— Да, — вспомнил Роберт, — надо все разобрать. Возьми из вещей что-нибудь на память.

В прихожей у зеркала она примерила черные бархатные туфли на завязках крест-накрест. Немного сношенные, с квадратными носами, плоским каблуком — были великоваты. Роберт вынул Лёлин шиньон — длинные, прямые волосы цвета светлой меди, погладил, протянул Кате:

— Погладь! Чувствуешь, какие?

Снова сидели у пустого стола.

— Ходил в поликлинику, в собес. Вроде бы путевку мне обещают. В Клин. Есть у меня намерение — мама тебе, наверное, рассказывала. Вот не знаю — то ли с собой покончить, то ли в санаторий съездить? Как думаешь?

— Санаторий лучше.

— Я уже и таблетки купил, с рук, на рынке. Да и дома лекарств полно. Но я пока ничего предпринимать не буду, чтобы тебя не травмировать. Ты человек молодой, растеряешься еще. Не сообразишь, что делать.

— Да ничего. Справлюсь.

— Если путевки не дадут, тогда...

— Обязательно и в собесе об этом скажите.

— Это я виноват, — признался Роберт. — Надо было мне соглашаться ее из больницы забрать. Она так просилась... А я не хотел.

Он нагнулся к Кате и, понизив голос, зашептал доверительно.

— Подозрения у меня есть. Стариков у нас лечить не любят. Как это так — только что говорили, ничего страшного, и вдруг умерла... Это мать твоя вошла в сговор с врачом. И задушили они ее подушкой...

— Ну что вы такое говорите...

— Мать твоя и меня отравить хотела! — вскрикнул Роберт. — Еду мне прислали — думаешь, я не знаю, что это за еда? А все ради квартиры. Вы ведь не родные мне. Чужие. Но ты знай: я завещание на квартиру на Аршака написал. Вам ничего не достанется. Квартира дело такое, — он вздохнул и покивал рассуточно, — за нее держаться надо.

В подъезде Катя сняла кроссовки и надела бабушкины туфли — весенний воздух был еще слишком холодным, она слушала, как стучат каблуки об асфальт, и чувствовала дорогу через тонкие подметки. Белый запах поднимался из темноты, сладко пах обещанием, какой-то истомой, которую надо успеть узнать, или она навсегда останется тебе неизвестна.

Он ждал ее за кинотеатром, в стороне от света фонаря, под деревьями, и надо было сперва миновать круг света, чтобы потом увидеть белеющую в темноте рубашку и расцветающий огонек папиросы. И она сразу представила, как он стоял, прячась в тени, курил и все думал, что она, наверное, не придет.

Не зная, что сказать, пошли рядом. Он шел шаткой походкой, показывавшей независимость, будто он просто так гуляет рядом с ней, случайный прохожий.

— Ты знаешь, что за это штраф полагается?

Таясь от поздних прохожих и от собачников, они забрались в глубь парка, в кусты, к цветущей черемухе, светящейся в темноте. Паша подсадил ее, и она полезла на дерево, оскальзываясь. Внизу не было хороших веток. Сидя в высокой развилке, она ломала ветки и бросала вниз, Паша подбирал и складывал. С дерева была видна высившаяся по другую сторону парка высотка, и Пашино окно горело желтым — жена его еще не уложила сына.

Домой к матери она вернулась на рассвете — взлохмаченная со сна Таня открыла дверь и насупленно посмотрела на Катю, притопывающую от нетерпения и почему-то с цветком в зубах.

— Ты где болталась всю ночь?

— Так... — Катя засмеялась, и Тане сделалось неприятно.

— Шлюха!

Дочь прошла мимо в свою комнату.

Таня полюбила ездить на кладбище. От «Алексеевской» до него можно было идти пешком, а можно было доехать от «Рижской» на троллейбусе. Кладбище выглядело богатым, вход в него открывался розовой церковью. Инвентарь давали бесплатно, и все было новеньким — и лопаты, и лейки, и веники. Пройдя по центральной аллее, надо было свернуть налево, за чьим-то красивым, витражным крестом, бросавшим веселые блики, и протиснуться между оградками — тесно тут было, как на коммунальной кухне, — к своей, узкой, под большим кленом, затенявшим все так, что на могилке не могло вырасти ничего, кроме мха. Камень был старый и выглядел вечно пыльным. Здесь была похоронена тетя Инна, здесь лежал и отец Тани, Лев. Картонную фотографию Лёли побили дожди, и несмотря на защитное стекло, она пошла пузырями и потемнела. Сохранялась Лёлина победительная улыбка. Непонятно было, чему она так улыбается с того света, задржав подбородок. Рядом вял букет черемухи — наверное, Катька была, а со мной не ездит. Таня с отвращением выдернула и отложила в сторону пластмассовые цветы, ужасная безвкусица, Неля тащит. Таня приезжала часто — боялась, что если могила будет выглядеть неухоженной, ее отберут, вот уже и справа раскопали. Она не могла потерять в жизненной борьбе еще и это пространство. Просила Стасю — давайте скинемся на новую цветочницу — эту, бетонную, заливали еще при Союзе. Что ты, говорит, Тань, — откуда у нас деньги-то. А по заграницам у него деньги есть. Вообще мы всегда были для них бедные родственники.

За кленом начиналось солнце. В траву на могиле приземлился скворец, запел, зашкворчал — на блестящем черном теле вспыхивали желтые и белые крапинки. Там, где Таня прислонилась спиной к соседней оградке, чтобы перевести дух — скамейку некуда здесь было втиснуть, — отчетливо пахло сыростью, подполом, грибницей. Мама улыбалась, и Таня думала, что не стоило хоронить ее рядом с отцом. Они ведь разошлись. Казалось, что это хорошая история — наконец вернуть ее домой, к тому, кто действительно любил ее. Но сейчас Таня поняла — стоило похоронить Лёлю рядом с ее мамой, Таниной бабушкой. Она всегда обожала Лёлю, шила ей лучшие платья, сама не доедала, говорила — Лёлька у нас красавица. Да, с мамой было бы лучше. Таня опять почувствовала себя виноватой, грязной, ничтожной.

Лёлю похоронили еще раз. Таня получила необходимые бумаги. Лопата рабочего на что-то наткнулась и звякнула, и Катя испугалась, что урна разобьется. Но он объяснил ей, что внутри керамического сосуда есть второй сосуд, с пеплом, металлический. Она обтерла урну от земли и положила в целлофановый пакет. Тане нельзя было поднимать тяжести, они договорились встретиться на кладбище на Тульской.

Пока она шла до такси, сосуд внутри сосуда при каждом шаге глухо постукивал, как сердце. Она поставила пакет на пол между ног под сиденье. Нужно было поесть, и она раздумывала, хорошо ли с прахом зайти в «Макдоналдс». На Тульской липы отцветали, и душно было после грозы. Камень тут был черным, полированным, новым.

Роберт отрезал себе кусок хлеба. Потом, открыв входную дверь, вышел в подъезд, ощупал дерматин на двери и сделал в нем ножом горизонтальный разрез. Запустил внутрь руку, пошарил и остался доволен.

Вернулся в квартиру, пройдя в комнату, сел за стол, достал бумагу, ручку, принялся писать. Отложив записанное, придвинул к себе недорешенный кроссворд, вписав по горизонтали: «Титикака».

Утром Таня зашла к Кате, как обычно без стука, и подергала ее за плечо.

— Вчера поздно вечером опять звонил Роберт. Опять рассказывал, что хочет с собой покончить.

— О господи, — Катя закрылась одеялом.

— Я Аршаку позвонила — они говорят, приехать не сможем, но держите нас в курсе. Я Роберту с утра звоню — трубку никто не берет. Что делать? Я боюсь. Сходи ты, а?

Она долго и безответно жала на кнопку домофона. Из подъезда вышла женщина с таксой, придержала дверь, и Катя зашла. Поднялась в старом лифте с сожженными кнопками. Вышла на третьем, позвонила в квартиру. Ответа не было. Роберт давно никому не открывал, а может, куда-нибудь ушел. В магазин. Потом Катя заметила — протянула руку и коснулась двери — на дерматине зиял разрез, под разрезом что-то топорщилось. Она засунула руку по локоть и достала ключи.

Милиционер на кухне составлял протокол. В коридоре соседки беседовали приглушенными голосами. Через дверной проем было из коридора видно тело Роберта на кровати и укладывающего чемоданчик медика. Он заслонял спиной лицо Роберта, Катя видела только длинную худую руку, свесившуюся с кровати и касающуюся пальцами пола. Врач вышел к ним и сказал, что смерть наступила

среди ночи, трудно определить, выпил ли Роберт что-нибудь, но скорее всего, смерть от естественных причин.

Таня утянула Катю на лестницу и шепотом пыталась:

— Как же от естественных, а ключи он нам оставил?..

Катя пожала плечами.

— Ну может, для Роберта отравиться было естественно.

Станным в диагнозе было еще то, что Роберт оставил записку на столике у кровати, хотя он мог написать ее давно.

«Все равно это не жизнь. Во-первых, я не могу без Лёли, а во-вторых, надое-ло есть одну овсянку».

У морга ждали посадки в автобус. Таня и Катя шептались, Аршак независимо прогуливался в стороне.

— Только ты не настраивайся к нему враждебно! — убеждала Таня то ли Катю, то ли себя. — Говорит, не поедет с нами поминать, дома, говорит, помянут, жена уже красную икру купила, если долго ждать, заветрится. Я говорю — да уж подождут, не съедят всю без вас! Как они с Робертом похожи, да?

И действительно были похожи — глазами, которые у Аршака были ближе посажены, кончиком носа и ногтями, вообще руками.

Подали наконец микроавтобус, работники морга вдвинули в него закрытый гроб синего цвета. Автобус поехал по Третьему кольцу, гремя и разваливаясь, водитель то слишком гнал, то резко тормозил. Аршак сидел по одну сторону салона, Таня и Катя по другую, неаккуратно подшитый гроб болтался по полу между ними. Катя опасливо придерживала его рукой, Аршак — ногой. За окном проплывал гуманный городской пейзаж, политый дождем, и выглядел так, словно они едут по кругу. В бесконечной пробке Лефортовского тоннеля Аршак ожил и заговорил — и умиленно, и расстроено:

— Мы с Робертом до десяти лет были в хороших отношениях. В детстве у нас кролик дома жил. В квартире. Целых восемь лет прожил, а на девятый принес крольчат. И сперва такой ласковый был, как кошка, на груди спал, а как крольчата появились, злой сделался, никого к ним не подпускал, лапами барабанил — защищал. Мы с Робертом ему зелень в щели паркета вставляли, и он ел.

Катя остановила гроб, поехавший в конец салона.

— А у нас с женой в этом году было пятьдесят лет свадьбе, — вздохнул Аршак. — Нам от правительства Москвы грамота пришла, сам мэр прислал. И в ней написано, что мы именно такие люди, какими и должны быть люди.

МОРЕ

Роберт, сидя на бревне, сосал нитроглицерин и смотрел на удаляющуюся меж стволов сосен Лёлю. Боль в груди отпускала.

Выйдя на берег, Лёля увидела море. Оно сливалось с небом. Отличить море от неба можно было по проплывающему далеко в ледяной каше лебедю. Снег на берегу был смешан с песком. В это время в пейзаже не было никакого цвета, сверху серое небо, снизу серый песок с бесцветной щетиной колючей травы или кустарника. Не было контраста между временами года, жизнью и смертью, не было и времени, только пространство. Но когда она внимательно всмотрелась в него, начали проступать нежные, надышанные оттенки — сырая кора, высушенная трава, камни, туман, лес, талая вода. Синева, темная охра, красная охра и такие, что

и увидишь с трудом, а названия им нет. От сосен пахло ладаном. Вода начинала морщить, круглилась, сходила пеной. Было видно, что с изнанки она — зеленая, желтая. Посередине белого шума росла коряга, на коряге вытянулись горизонтально сосульки. А дальше море глотало пену, успокаивалось и опять было неподвижно. У самой кромки в воде зеленые водоросли.

— Ну скоро ты там?

Лёля наконец обернулась. Увидела, что Роберта нет, но не успела испугаться, как он вышел следом за ней на пляж, длинный, темный.

К вечеру пришла зимняя оттепель, берег окутал туман. Лёля села на качели и отдыхала, глядя на море. Роберт ходил взад-вперед по берегу, зорко глядя под ноги, поднимал и рассматривал гальку. Достал пару монеток, размахнулся и бросил подальше — чтобы вернуться. Окунул пальцы в воду, подтянув рукав, облизал соль с пальцев. Побежал к Лёле и мокрой рукой побрызгал ей на макушку, провел по лицу.

Море было свинцового цвета у берега и белое вдалеке. Сливалось с небом. Снег на берегу мешался с песком при ходьбе. Лёля и Роберт в тяжелых темных зимних одеждах, переваливаясь как пингвины, подошли к воде близко, так что волна лизнула им сапоги. Совсем темнело. Они входили в море, колыхались по воде полы шубы и пальто, намокали и опускались.

Денис Безносков

бежево-серый кислород

зима аверкампа

имя нацарапанное на стене в гуще
человеческих тел прочитав разве
что сквозь увеличительное стекло
возможно иначе никому автор
не виден будет и неизвестен
потому важно определить

составные части архитектуру
ледяной плоскости что горизонтом
на две неравные половины была
разрезана поместив бежево-серый
кислород вверху а внизу предметы
деревья здания и людей

расшифровать в птичьей ловушке
вживленной в ландшафт цитату
языком ощупав пробормотать
буквенную наружу из ниоткуда
вытянутую кожуру потому важно
раслепнув выяснить по каким

законам слеplено это плотно
сжатое край к краю между
перекладин пространство пересчитать
элементы целого наконец заметив
непривычное внимание на котором
неизбежно сосредоточилось само

увидев как в углу собака с вороной
глодают кости мёрзлое мясо зубами
с трудом пережевывая глотая всему
прочему вторя так по бокам еле
заметно уравнивается живого
избыток угрозой стать неживым

Об авторе | Денис Дмитриевич Безносков (11 марта 1988, Москва) — поэт, переводчик с английского и испанского языков. Один из исследователей (наряду с Ольгой Крамарь и Арсеном Мирзаевым) жизни и творчества Тихона Чурилина. Лауреат Российско-итальянской поэтической премии «Белла» в номинации «Русское стихотворение» (2016 год). Дебют в «Знамени».

камера обскура

свет направлен из-за спины смотрящего
сияясь обозреть плоскость шероховатой
ткани натянутой на подрамник позади
шва в который укрыт чертёж окружности
линий напитков тонких тень претворяясь
в схему сидящего за работой у станка

чей набросок вовне себя намеренно
врезан и затем видя глаз объектива
стянут по правилам а распухший изнутри
фон с затылка насквозь пройдя строение
ткани затемнён между располагая
граней начертанных зарисовку но затем

весь вмещённый в квадрат стены склонившийся
низко к полотну пальцы на кружевную
плёнку слагающий понемногу растворив
лоб глазницы в сплошном поверх сидящего
цвете результат точных сквозь пропускает
серый и выпуклый измерений оттого

глубь размыта теперь когда просвечена
кожа оголив плоскость шва наблюдатель
тянет к которому уязвимо от теней
свет тушуя черты того кто согнутый
нити переплёл дабы не перепутать
звуки со знаками в перемычках и узлах

но закончен его лица очерченный
облик испещрён цветом исполосован
кадром впечатанным заморожен расплескав
тень который в слепой проём но высветлен
контур пустоты бледный но аккуратно
вычли из комнаты искаженья дабы впредь

их не множить теперь готов над кружевом
выткан из стены сгусток полупрозрачный
прежде отсутствуя примыкает к не вполне
тем заметным чертам всего которые
нынче наконец слиты их избегая
смотрит из контуров уплотняясь пустота

ритуал письма

проходит по улице под палящее солнце
некто безликий один
к скамейке в руке ведро с водой
холодной склоняется к испаряющей влагу
корке асфальта садясь
тоскливо на край вперёд глядит
 задумчив и вымучен в монотонном пейзаже
 фокус размытый зрачок
 в деревья продет слепит жара
 рассохлись оплавившись вдоль дорожек кривы

ветки напротив сидит
и сверлит зрачком упругий парк
дождавшись по градусу наивысшего часа
кисть из кармана достав
склонился в воде смочив её
к асфальту калёному прикасается кистью
что-то рисуя чертя
спокойной рукой фрагменты букв
морфемы какие-то иероглифы или
строки подобия фраз
похожих на речь на цельный текст
сращённый со знаками препинания смыслом
сшитый по правилам но
тотчас же вода бледнеет и
его изречения испаряются впрочем
кисть продолжает писать
рисунки слогов под солнцем не
заметив последствие продолжает на месте
высохли прежние где
чернила водой асфальт омыв
послушен в движениях управляющий кистью
силой которая вдоль
скамейки ведёт сырую вязь
рекомых сквозь линии непрерывные текста
смыслов однако уже
под вечер уйдёт и речь за ним

портрет глухого

повернув лицо по часовой
помещение осмотрев
в помещении находясь
в дом помещённом
ищет куда сесть
ищет куда встать
не привлекая так
 между тем внимания к себе
 аккуратное про себя
 еле слышное повторив
 первое слово
 в горле кого звук
 ищет куда встать
 на распрямлённых двух
повернувшись весь наоборот
помещённую под гортань
проведённую сквозь язык
речь из бумаги
склеив её слов
многих боясь но
толком не зная их
 между тем значения они
 непонятное говоря
 в помещении находясь
 путают звуки
 горлом жуют речь
 после чего так
 дом отвечает им

Слава Сергеев

Впечатлительные люди

Записки времен украинской войны

1.

Ближе к концу июня четырнадцатого года были с женой в одном из старых московских храмов на большом церковном празднике Троицы. Правда, по дороге в храм попали в пробку, да еще водитель такси, приезжий, хотел ее объехать, а свернул не туда, и в результате в переулке мы встали еще хуже, намертво, и приехали почти к концу вечерней службы. Но, войдя, сразу поняли — торопились не зря, в храме было очень хорошо, везде — на стенах и на полу, как всегда в этот день, была разбросана скошенная трава, у икон стояли березовые ветви в подражание тем пальмовым ветвям, что украшали комнату апостолов в тот далекий день в Иерусалиме, когда на них сошел Святой Дух, зелень замечательно пахла, и все это вместе с огоньками горящих перед иконами свечей и пением хора придавало храму какой-то необыкновенно теплый, будто приглашающий вас зайти вид... Повторюсь: нам стало очень хорошо.

А есть люди, которые не любят, когда другим — хорошо. Разумеется, есть они и в церкви — она же на земле стоит, не на облаке. И, когда жена ставила свою свечку к иконе Божией Матери, на нее гавкнула какая-то тетка-уборщица, которая, не дожидаясь конца службы, уже начала протирать подсвечник масляной кисточкой. Что-то вроде «зачем вы свои свечи зажигаете, что, не видите — я убираюсь?..». Et cetera. За стопроцентную точность цитаты не ручаюсь, но как-то так, *свои* свечи. И жена, как любой нормальный человек, из-за этих *своих* свечей расстроилась, ведь в церковь приходишь, в общем, не очень готовый к таким «СМС-сообщениям» и к тому коммунальному хамству, которым, если называть вещи своими именами, такие «сообщения» являются. И в голову, конечно, начинают лезть всякие старые сомнения и все слова друзей, и все истории из газет, и надо быть психологически достаточно устойчивым человеком (по крайней мере в тот момент), чтобы сохранить свое настроение и *не услышать* тетку и ее нехорошие слова. Но — после сорокаминутного стояния в московской пробке в жене психологической устойчивости было мало, и настроение ее от этого мини-общения, как говорится, не улучшилось. И вера, увы, не окрепла... (Интересно, скольких людей, прости Господи, отвадили от церкви такие и им подобные старые дуры?)

Об авторе | Слава Сергеев (р. 1965) — прозаик, журналист. Печатался в журналах «Континент», «Дружба народов», «Новое литературное обозрение» и др. Автор книг прозы «Места пребывания истинной интеллигенции» (2006), «Капо Юрий, море и фея Калипсо» (2008), «Москва нас больше не любит» (2011), «Уроки каллиграфии в зимнем Крыму» (2016). В «Знамени» опубликована повесть «Гнев» (2016, № 1).

В общем, когда мы вышли, жена была немного нервной и сказала, что ей хочется зайти в какое-нибудь современное светское место, чтобы немного разбавить то впечатление и ту, как сказал бы психолог, фрустрацию, которую она испытала в храме.

Вот тебе и раз, подумал я. И хотя мне сразу после службы идти в кафе, естественно, не хотелось, я хорошо понимал ее (кто не оказывался в подобных ситуациях?), и мы вскоре зашли в небольшое кафе, откуда на улицу доносилась джазовая музыка, и присели на крытой террасе в симпатичном внутреннем дворе.

А происходило все это, я забыл сказать, в окрестностях Лубянской площади — есть такая площадь в Москве, знаете?.. Я говорю это ни для чего, просто так — как система Гугл автоматически отмечает навигацию абонента.

Но, видимо, это был нервный день в городе в целом и в окрестностях этой площади в частности, потому что присели мы как раз в тот момент, когда во дворе, очень милом и симпатичном, разгорался нелепый скандал между посетителями, чиновно-служивого вида ребятами лет тридцати, и администратором кафе, коротко стриженной девушкой, совсем молоденькой, лет на десять их моложе, по виду не москвичкой. Что называется, нашла коса на камень.

Я, кстати, говорю «служивого вида», отчасти учитывая навигацию места. Если бы не место, я бы подумал, что эти ребята вышли из какого-то офиса, но что-то этой идентификации мешало, что-то в их глазах, какая-то *прозрачность*... Мы пропустили начало, но вроде бы ребята вошли на террасу, перелезши через небольшую живую изгородь, отгораживавшую территорию кафе от остального двора, хотя был проход, а девушка-администратор сделала им замечание. И поскольку очень возможно, что замечание было сделано отнюдь не в дружеской манере, молодые люди обиделись. Но обиделись они, особенно один — нервный плечистый шатен с аккуратной квадратной бородкой — как-то неадекватно. Я не сразу включился, но жена утверждала, что они с ходу спросили девушку-администратора, *а кто она, собственно, такая*, чтобы делать им замечания?! Что отвечала девушка, жена пропустила, но бородач сразу сказал (это я уже услышал), чтобы она позвала администратора.

— А я и есть администратор! — обрадовавшись и выдержав эффектную паузу, сказала девушка.

— Тогда принесите жалобную книгу, — немного растерявшись, сказал бородач.

— *Хорошо*... — очень противным голосом сказала девушка и стремительно удалилась.

До этого момента, — я обращаю на это внимание господ присяжных, — до этого момента эмоционально я был на стороне служивых молодых ребят, особенно молодого человека с аккуратной бородкой, тем более что жена утверждала, что во время конфликта у бородач сделалось лицо обиженного ребенка. То есть, кроме того что нахамила, она наступила на какие-то его психологические мозоли, а я ведь как художник всегда на стороне обиженных, сирых и убогих, но когда противная девушка принесла жалобную книгу (обычную, довольно потрепанную тетрадку в коричневой обложке), эмоциональный фон сцены резко изменился, потому что бородач вдруг сказал:

— Тогда, если нам нельзя заходить на вашу террасу с любой стороны, то надо проверить... — бородач сделал секундную паузу, — а можете ли вы вообще занимать этот двор?

Или, может быть, он сказал:

— *А имеете ли вы право* находиться в этом дворе, надо проверить!.. — как-то так.

А я, признаться, очень не люблю такие тексты, даже учитывая всю противность коротко стриженной администраторши, даже учитывая ее большую про-

тивность — эти слова, что называется, удар ниже пояса, удар не по правилам, хотя, может быть, нынешние российские правила такой ответ как раз считают нормой. Как в тайском боксе, знаете? Тебя рукой, а ты ногой — опа!..

И я разозлился на говорившего эти слова бородача, несмотря на то, что слова эти могли быть простым понтом закомплексованного мелкого чиновника (это я тоже понимал, хотя жена позднее говорила, что первой это предположила она), разозлился и подумал: зачем же мы пришли в это кафе, надо было просто немного пройтись, отойти подальше от этих замечательных мест, но музыка, джазовая музыка была очень неплохая, и интерьер нормальный, и начинался мелкий дождик на улице — ну кто, скажите, кто мог подумать, что при таком симпатичном меню будет подан такой десерт?..

И вот сидим мы, значит, а через столик от нас идет этот громкий разговор, про «проверить» и сосредоточенно пишут жалобу в «жалобную тетрадь», и вдруг я чувствую, товарищи, что сержусь и не могу перестать... Я делаю глубокие вдохи-выдохи на счет «раз-два, раз-два-три-четыре», представляю себе, что нахожусь на берегу Эгейского моря, даже читаю про себя «Отче наш», это помогает — но не совсем... Как сказал бы мистик, демоны злости и агрессии, сидящие на плечах обиженного ребенка с бородой и его визави с короткой стрижкой, в данный момент, увы, сильнее. И особенно мне обидно, что каких-нибудь полчаса назад я стоял в церкви около иконы и никакая злобная тетка (они ведь и ко мне подкатывались, даже свечку мою задули, едва я в сторону отошел, — смешно) не могла меня вывести из совершенно радостного, праздничного состояния, а этот дурацкий случай — смог.

И меня прямо подмывало сказать: мол, если вы, молодой человек, не врете (а если и врете — тоже), то в этом микро-микро-случае отражается, как в капле воды, вся наша «дефствительность», как говорил Синявский, и вы, дорогой мой обиженный кем-то ребенок с бородой, в очередной раз запускаете некий процесс, жертвой которого легко можете стать сами. Ибо известно, кто открывает кафе в центре современной Москвы, да еще в окрестностях этой площади. Кандидат исторических наук, решивший круто поменять жизнь после сорока? Или две молодые женщины, любящие джаз, — как это было бы, например, в... да хоть в Таллине или Праге?

Нет, это явно не кандидат исторических наук, и ему, этому не-кандидату, проверки обиженного ребенка, как говорит моя матушка, — «что рыбки зонтик», и, если молодой бородач действительно принадлежит к тому ведомству, на членство в котором намекает, его, наверное, пожурят, а если он принадлежит к другому ведомству (уж очень нервное у бородача лицо), то у него могут быть *неприятности*, и неприятности эти будут тем серьезнее, чем дальше зайдет его «проверка»...

И здесь, размышляя я, сидя на симпатичной, с виду совершенно европейской террасе в центре родного города и прислушиваясь к звукам джаза и дождя, здесь, в этой системе политических-юридических-человеческих, но очень не божеских отношений, как иголка в Кашеевом сундуке, как пятнистое, с виду ничем не примечательное кукушкино яичко в уютном лесном гнездышке, лежит будущая (очередная) катастрофа государства Российского, которая затронет даже хозяина кафе, какой бы пост он в прошлом ни занимал и какой бы уютный коттедж ни поджидал его в Черногории или Гватемале, и уж точно погребет под собой глупого обиженного бородача, его молодых друзей и коротко стриженную молодую хамку, администратора кафе. Потому что в ней, в этой крошечной и с виду банальной сценке, нет ни капли закона и права, кроме одного — «права сильного»: у кого зубы острее или когти длиннее — как у зверей в лесу.

Но! Фиг бы с ними, с их когтями и зубами, с их черногориями и черными «гелендвагенами» на разделительной полосе (где хочу — там и езжу), со счета-

ми в Швейцарии и трехсотметровыми квартирами на Остоженке; с остервененым хамством посаженных ими, кропотливо поливавшихся все «нулевые» «зубами дракона», и вот уже пошли всходы — злая на весь мир молодежь... Господня мельница мелет медленно...

Что будет с нами, то есть со всеми остальными, обычными жителями России и города Москвы и конкретно с сидящими в этом кафе и явно испытывающими кто неловкость и даже испуг (две офисные девушки в углу, одна в очень красивой летней юбке с цветами), кто раздражение (ваш покорный слуга и его жена), а кто даже злорадство при виде очередной московской фигни, воспринимаемой в силу привычки как развлечение (средних лет бизнес-мужчина с ноутбуком под пальмой в углу). Маршрут Истории-XXI примерно известен и уже демонстрировался несколько раз в других местах Земли, но, как ни странно, меня сейчас беспокоит не это, я сижу и думаю о том, не падут ли рикошетом осколки их «Нового Московского царства» на других посетителей кафе и конкретно на нас с женой, ведь мы живем рядом с ними? Так сказать, за компанию — в одной стране.

Вы скажете — какие «осколки»? Где? Когда? О чем вы?

Соглашусь с вами на девяносто девять процентов, а на один — ничего не могу с собой поделывать. Возможно, здесь виновата начитанность, в основном немецкая послевоенная литература: Генрих Белль, Гюнтер Грасс, Уве Тимм... Полувековые тополя вдоль главной улицы Гамбурга горели, как свечи, во время бомбардировки союзниками зимой 1943 года, и это было моим первым детским воспоминанием, пишет Уве Тимм в романе «На примере брата».

К чему это вы, милый автор?

Да просто к слову.

И — не дай-то Бог, наша надежда на Его милосердие, а также на Его решительность, пример которой мы наблюдали в августе 1991 года — как в три дня Он обрушил железобетонный СССР, до которого нынешним куда как далеко... И это вселяет в меня надежду, и прошу я чуть ли не ежедневно перед домашней иконой: отжени от меня уныние бесовское! Но нет-нет, да и впадаю в него, и появляется во мне этот проклятый, унаследованный от совка и пострадавших (посидевших) при Сталине родственников страх — страх тюрьмы, голода и войны, если по-простому...

М-да. Прелестный букет вытянул я из-под стола на террасе под дождь и хороший джаз в окрестностях Лубянской площади... А ведь был еще и после праздничной службы, не забудьте.

— Впечатлительный вы человек, дорогой автор, — скажете вы. — И охота вам так глубоко философствовать во время обычной коммунальной склоки?.. Take it easy, берите это легче...

Мы пересаживаемся.

Встав, я зачем-то говорю компании служивых молодых людей (обиженный ребенок все еще пишет свое послание князю Курбскому) что-то вроде:

— Простите, мы вас покинем.

(Лучше ничего не придумал).

Говорю я это зря — мое «простите» звучит как извинение. А обиженные дети с бородами и многие жители стран третьего мира воспринимают вежливость за слабость. Молодые люди криво усмеваются и ничего не говорят. Мы пересаживаемся на несколько столиков (а лучше бы сотен километров) ближе к той самой декоративной ограде-border, которая послужила началом конфликта.

Я было достаю сигареты, но вспоминаю, что курить теперь в кафе нельзя, и в нерешительности кладу пачку на столик. И тут до меня доносится следующая реплика от наших бывших соседей (заметьте, я ручаюсь за достоверность цитаты):

— Они тут с официантами ругаются, а мы на Болоте стояли.

— Да ладно...

— Я тебе говорю, контекст был именно такой.

И компания косится в нашу сторону...

— Ты слышала? — тихо спрашиваю я у жены.

— Что? — она не слышала.

— Про «Болото».

— Да, но почему ты думаешь, что это относится к нам?

Моя жена — оптимистка.

— Ничего себе разговорчик! — говорит часа через полтора наш знакомый, которого мы встречаем на московских бульварах примерно в километре от описываемого места (то есть *аура* уже другая). Он пессимист, как и я. — А с чего они взяли, что вы стояли на Болотной?

Мы пожимаем плечами:

— Не знаем. Классовое чутье, наверное...

Знакомый минуту думает и вдруг достает из сумки початую бутылку вина.

— Не хотите?

Как кстати!

Все смеются, его симпатичная спутница (он был не один) встряхивает длинными, до плеч, волосами. Обстановка разряжается.

Года три, долгих три года не пили из горла на улице — так мило, так свободно!..

Постояли, посмеялись, выпили, улыбаясь, разошлись. Они звали нас с собой на какую-то вечеринку, но мы отказались...

На несколько минут вернусь в джазовое кафе. Молодые люди, наконец дописав свое письмо князю Курбскому, уходят, торжественно неся перед собой «жалобную тетрадь».

— Сколько это все продолжалось? — спрашиваю я у жены.

— Что?

— Представление с жалобой и администратором.

— Ну, чуть меньше получаса.

— Мне показалось, дольше.

Жена берет меня за руку:

— Перестань. Какие-то идиоты. Вспомни, где мы были только что.

— Я вспоминал. Не очень помогло, прости, Господи.

— Еще вспомни.

Она уже забыла про тетку, задувавшую свечи. Кстати, я читал у митрополита Антония Сурожского, что это «not good», по-русски «грех», — задувать чужие недогоревшие свечи... Я нахожу в телефоне «Молитвослов», потом «Ненавидящих и обидящих нас прости...», про себя читаю, сначала один раз, потом еще раз. Становится легче, по крайней мере я перестаю злиться.

Спустя некоторое время поднимаемся и мы. Дождь кончился, джазовый концерт тоже, музыканты собирают инструменты. Красный цвет стен красиво отражается на желтой меди. Коротко стриженная администратор что-то считает на калькуляторе в углу барной стойки. Провожает нас глазами, злым голосом говорит в спину: «До свидания».

— А на нас-то она за что сердится? — спрашиваю я.

— Она на всех сердится, — говорит жена. — С этими ребятами они, как пробка и бутылка, нитка и иголка, винтик и гаечка.

— А мы здесь при чем? — спрашиваю я.

— Ни при чем, — жена пожимает плечами. — Просто мимо проходили. Сам говоришь: живем тут недалеко.

2.

Через пару дней, в пятницу, засидевшись на работе — было уже довольно поздно, — по сложной траектории я оказался на открытой веранде сетевого кафе на Таганке.

Не был там всю зиму, а то и больше. За это время поменялась половина личного состава — новый бармен (хуже, чем раньше), новые официантки (лучше, чем раньше). Одна из них была похожа на мою однокурсницу. Говорила не по-московски, окая. Однокурсница тоже была не москвичка, правда, старше официантки лет на пятнадцать, как я. Дочка? Но дочка уехала учиться в Японию и осталась там. Тогда, может быть, сестра или племянница? — подумал я вдруг. Знаете, Москва — город маленький.

Когда она принесла заказ, я спросил:

— Простите, я услышал ваш акцент. Вы откуда? У меня была сокурсница, очень похожая на вас.

Девушка немного расстроилась:

— Что, слышно? Жаль.

Я удивился:

— Почему жаль? В Москву все откуда-то приехали. У меня прадедушка из Ростова-на-Дону. А вы откуда?

— Тоже с юга.

— А откуда именно? Краснодар, Сочи?

— Я из Одессы.

— Понятно.

Помолчали. Повторюсь, дело было в конце июня 2014 года. Я подумал: беженка?

— Ну и как там у вас?

— Уже спокойно, — после паузы сказала девушка.

Она вынула из кармана белого передника пачку недорогих сигарет, закурила, поглядывая то на меня, то на небольшую площадку перед кафе.

Я не знал, что сказать. Подумал: надо было молчать. Зашел же просто тихо посидеть, потарашиться на ночную улицу. Теперь надо что-то говорить в ответ. А должен вам сказать, я не знал в подробностях того, что произошло в Одессе. Точнее: не хотел знать. Слышал, что что-то страшное, но, как говорится, мысленно закрывался. Как многие. По телеку все равно все врут, а правду знать... не хочется.

— Да... — неопределенно вздохнул я.

Девушка постояла некоторое время около моего столика, потом улыбнулась, отошла.

Я поглядел на знакомый пейзаж Таганки. Вот церковь Николая Чудотворца, а вот Центр Солженицына, за ним, метров сто по Котельническому переулку, церковь Успения Божией Матери. Фонари, как это бывает теплыми городскими ночами, своими белыми кругами делали воздух и небо между домами темно-синими, почти черными.

Когда-то, очень давно, я жил в этих краях, у подруги, в Гончарном переулке. Первая постоянная девушка. Нам было тогда по девятнадцать лет. Она была художницей, точнее, собиралась ею стать... Помню небольшую грудь и очень белый живот. Помню кухню, дефицитный в то время стеклянный заварной чайник на плите, большую библиотеку, в которой даже были книги с ять. Помню, что первый год мы в основном трахались, как кролики. Через год успокоились, просто жили. Она пыталась поступить в Строгановку — с первого и второго раза не получилось, как всякий талантливый человек, страдала от неуспеха, нереализованности. В те годы для поступления в подобный вуз был нужен блат. Блата

не было. В конце концов она поступила в какой-то областной художественный вуз — так было легче, Подмосковье считалось непрестижным, и там небольшой блат был. Но к тому времени наши отношения испортились. Возможно, просто потому, что мы повзрослели и обнаружилось, что разные.

В церковь Успения я иногда ходил — она была открыта в советское время. Однажды прямо у церкви меня забрали в милицию. Только я вышел — цап! Подошел лейтенант или капитан, не помню, молодой-плотный: ваши документы, пройдемте. Я поспропротивлялся немного, больше для вида, как карась на удочке, но пошел. Пришли в отделение, он предупредительно придержал дверь — привод был «политический»... Ничего не сделали, но переписали все паспортные данные, задавали дурацкие вопросы: «Вы сами ходите в церковь или вас кто-то научил?». В конце, когда официальная часть закончилась, он спросил, искренне не понимая: «Зачем это вам?».

Я смотрю на здание Солженицынского Центра с большой вывеской и думаю, что за прошедшее время очень многое изменилось. Про работающую церковь Николая Чудотворца и отреставрированный храм Успения я даже не говорю, а за ксерокопию Солженицына в советские годы увольняли с работы с «волчьим билетом». Кандидаты наук шли в сторожа. На деле это было не так романтично, как сейчас кажется, зарплата сторожа давала личную возможность не умереть с голода, но и только.

Вопрос изучен мной не теоретически — с отцом одноклассницы была такая история — он пытался «отксерить» на работе кусок из знаменитой книги «Бодался теленок с дубом». Я знал, потому что мы были друзья... Позднее, году в 1989-м, уже в перестройку, мне кто-то сказал, что от директора нашей школы требовали провести собрание в классе на тему «Антиобщественный поступок отца Ирины К.», но он отказался...

Закончив школу, одноклассница покантовалась некоторое время в Москве, потом уехала в Израиль. Сначала мы даже переписывались, через пару лет переписка прервалась, что стало с ней и с ее отцом, я не знаю.

А теперь — современное здание, фонтан, большая светящимися буквами надпись — «Центр Русского Зарубежья».

Кто бы такое подумал в 1985 году?

И мент, который забирал меня у церкви Успения, наверное, каждый день ездит мимо всего этого на хорошей машине, выпятив пузо, да еще и крестится на церковь, пожалуй.

Однажды в соседнем Гончарном переулке зимой я встретил актера Леонида Маркова, он играл в модном тогда фильме «Мой ласковый и нежный зверь» и в фильмах о Гражданской войне. Гражданская война была в те времена чем-то очень далеким и абсолютно нереальным, чем-то вроде войны с Наполеоном — просто важная часть учебника истории и идеологического пейзажа, не больше.

Теперь гражданская война стала реальностью и идет в сутках езды от Москвы. Вот официантка, до нее можно дотронуться рукой, — оттуда.

Актер Марков играл мрачных и brutальных мужчин, а в жизни, я помню, что удивился его неуверенной походке.

Девушка из Одессы приносит заказ.

— У вас раньше была бесплатная пресса. Есть что-то? — спрашиваю я.

Она приносит журнал «Власть». Власть, машинально думаю я, власть-власть-власть; влазь-слазь-слазь-слазь...

В этом номере большая статья о войне в Донецке. Некоторое время я смотрю на нее, потом просматриваю раздел «Искусство», откладываю журнал в сторону. Потом все же открываю и читаю. Из статьи следует, что в Донецкой области творится что-то, напоминающее роман «Белая гвардия», только с применением танков и самолетов. Я смотрю на тихую, безлюдную улицу перед собой, на знак пере-

хода, а за ним красно-синий, крест-накрест перечеркнутый знак «стоянка запрещена», оборачиваюсь на уютную, выдержанную во французском стиле внутренность кафе. Двадцать часов езды на поезде — и вы видите пикирующий на грязные многоэтажные дома украинский «МиГ» и матерящихся «добровольцев», воющих за Донецкую республику российскими гранатометами и ПТУРами.

«Донецкая республика» напоминает что-то из магазина нумизматики, боны 1918–1919 годов. Когда журналисты писали эту статью в уличном кафе, они громко говорили о политике, кто-то из посетителей не разобрался в деталях, «стукнул», приехали бойцы ДНР, журналистов забрали. Пока вели к главному, побили*. Наверное, я слишком впечатлительный человек, но мне хочется отбросить от себя журнал со статьей, буквально бросить его на асфальт, разорвать на куски, но я понимаю, что это жест страуса, господ, зеркало не виновато.

Допиваю свой чай с мятой, я очень люблю черный чай с мятой, закуриваю за столом, как школьник, прячу сигарету в кулаке.

Беженка из Одессы приносит мне пепельницу. Смеется:

— Сейчас полиция спит. Впрочем, пока у нас не было ни одного случая, даже днем.

— Слушайте, — говорю я. — Тут статья, — я показываю на журнал. — Пишут, что украинские самолеты стреляют по домам. Это правда?

Задавая этот вопрос, я чувствую себя идиотом.

— Правда, — буднично говорит официантка. — Но по домам редко, а заставы наших расстреливают только так. Знаете, сколько убитых? Матери плачут...

— Только заставы? Но ведь ополченцы на заставы сами пришли, — зачем-то говорю я.

Официантка молча смотрит на меня, потом уходит.

Мне становится стыдно: зачем я лезу со своим особым мнением? В гражданской войне нет правых и виноватых, там правы и несчастны все.

Я прихлебываю свой чай. Года полтора назад в книжном магазине Солженицынского Центра я купил книжку актрисы Судейкиной, той самой, которую Ахматова называла «Путаницей-Психеей». Дневник 1917–1919 годов. Книжка уже тогда звучала современно, на прошлой неделе я перелистал ее снова — было ощущение, что написано вчера.

Проходят двое пьяных. Простые лица, чем-то похожие на лица ополченцев с фотографий в журнале. Хмуро смотрят на меня, пройдя несколько шагов, хрипло ржут.

В принципе это я мог написать такую статью. В 2002 году мой тогдашний знакомый работал в «Коммерсанте» начальником средней величины и предлагал мне место журналиста... Как раз в отдел политики.

Проходит бомж, просит сигарету. Я даю, увидев этикетку не самых дешевых сигарет, бомж радуется и благодарит. Не их обычным старушечьим: «Дай Бог здоровьица», а просто вдруг говорит: «Спасибо»...

Около кафе останавливается такси. Выходят две девочки лет по двадцать и парень постарше, подвыпившие, веселые. На девушках короткие юбки, парень в джинсах и белой майке с английской надписью, которую я не могу разобрать, из такси доносится развеселая музыка.

Все то же самое было в Донецке в прошлом июне. Кафе, лето, ночь, поздние прохожие, веселые и пьяные посетители.

Теперь там гражданская война. Только вместо конницы и тачанок — самолеты «МиГ» и установки «Град». Впрочем, это я уже говорил.

* Имеется в виду статья Ильи Барабанова в «Коммерсант-Власть» от 2 июня 2014 года.

Сутки езды.

Нет, думаю я, стоп, так не пойдет... Надо отвлечься. Смотри — люди в кафе веселятся. (Правда, их немного — день будний, и вообще настроение в городе не то — но кто-то не обращает внимания.) Ты слишком впечатлительный. Давай-ка, помедитируй.

Как всегда, делаю глубокие вдохи и выдохи. Пять раз... Семь... Помогает, но хуже, чем обычно. Смотрю на церковь Святого Николая. Помилуй нас, Господи!.. Молитвами Пречистой Твоей Матери и всех Твоих Святых. Спаси и помилуй нас... На востоке, за бывшим кинотеатром «Звездочка», там, где «Текстильщики» и «Выхино», небо скоро начнет сереть. Я смотрю на часы — без двадцати три. Пора домой.

Зову бывшую одесситку, прошу счет. Она уже улыбается, но мне все еще неудобно. Не надо было про ополченцев. Уже выйдя из-за столика, я думаю: неважно, человек ошибался или не ошибался, был умным или не очень, понимал, что происходит или его грубо обманули — его убили. Он пришел туда сам — все верно, но его убили. *Его у-би-ли*, а мы говорим об этом, как о чем-то обыденном, — будто он вышел пообедать, например, — и мне просто неловко.

А некоторые еще и скажут — ну, хорошо, хоть так. Что «неловко», а не по барабану, как всем.

Всем... Мы все тут немного нездоровы — вот что я вам скажу.

На следующий день с утра у меня были какие-то дела, потом я освободился и часов в пять прошелся по Новому Арбату. Все было, как обычно, — высотные дома, кафе, в которых начинал уже собираться народ, стеклянные витрины моего любимого Дома книги, медленно катящиеся в пробке автомобили, спешащие люди... День был солнечный, небо ясное.

Итак: вы садитесь на метро, доезжаете до Курского или Павелецкого вокзала (пятнадцать минут), чуть меньше суток в поезде — например, в купе, вы же приличный человек, работаете, нормально зарабатываете; застеленные крахмальным бельем полки, проводники разносят чай в советских подстаканниках, скучающие пассажиры у окон в коридоре, а утром, сойдя с поезда, оказываетесь в месте, где в мостовой воронки от артиллерийских снарядов, где граждане одной страны, а также бывших союзных республик стреляют друг в друга из автоматов Калашникова. Причем все это началось с ходу, будто плеснули бензином. Кстати, говорят, что несмотря на артиллерийскую дуэль, в центре Донецка продолжает функционировать общественный транспорт и жители ходят на работу.

В Москве тоже стреляли, но двадцать лет назад, в 1993 году, и длилось три дня. Мы успели забыть — *как это*, хотя кресты и венки на Дружинниковской улице стоят до сих пор... Мы боялись Югославии, гордились, что ее у нас не было, — вот она, началась.

Я беру такси и, как все, ползу в пробке домой.

Дома я пью чай, параллельно слушая, как Алла Демидова читает стихи Цветаевой по радио «Культура». Рядом в приемнике, стоит только чуть крутануть ручку настройки, новости из Украины, но я этого не делаю, я умный, я трушу — мне достаточно вчерашнего разговора с официанткой... Потом разговариваю по телефону со знакомой, в числе прочего говорим и о политике: она возмущается украинскими событиями, условно — она «за Украину», в трубке странная гулкость, поэтому я говорю ей:

— Прекрати об этом.

Она ругает меня за советскую привычку бояться, я соглашаюсь, но по-прежнему почти ничего не отвечаю ей. Кроме того, если я скажу, что мне жалко людей в Донецке, она скажет, что я — «ватник», «патриот»... — ведь «наши» первые начали.

И что, что первые, — а мирные жители при чем? У украинцев советники из Евросоюза, у них же европейские ценности, права человека, зачем стрелять по жилым домам?

Потом приходит жена, мы ужинаем, и только вечером я сажусь за компьютер и набираю в поисковике слова «Одесса, май». Собственно, дальше можно не писать: то, что я читаю, меня... шокирует, хотя это неточное слово в данном случае. Правильнее будет сказать, что я ..., но матерные слова в текстах теперь запрещены. Впрочем, не будем тянуть время — в материале, выложенном в Интернете, написано, что 3 мая 2014 года в городе Одесса состоялись две политические демонстрации, одна сторонников, другая противников майдана. Через несколько часов сторонники и противники столкнулись, и произошла массовая драка, в которой сторонников было то ли больше, то ли они оказались агрессивнее, и противники заперлись в местном Доме или Дворце — я никогда не был в Одессе (говорят, это замечательный город) — профсоюзов. Сторонники майдана и демократии не смогли войти в здание и тогда подожгли его. Это естественно для военных действий, но это не была война, и во Дворце сидели не солдаты враждебного государства, а просто люди иных политических взглядов, даже если среди них было несколько иностранных провокаторов или советников (которые к тому времени, я думаю, успели слиться).

Итак, дом подожгли и... *И препятствовали выходу противников майдана.* В результате около сорока человек погибли, около двухсот получили травмы различной степени тяжести, выпрыгивая из окон. Впрочем, к чести жителей Одессы, на одном из сайтов было написано, что некоторые сторонники майдана и демократии помогали некоторым ее противникам покинуть здание через окна второго этажа и запасной выход.

Одесская полиция, кстати, присутствовала, но в происходящее, как настоящая полиция, не вмешивалась.

Далее поисковик показывал комментарии политиков (читать не стал), комментарии СМИ (тоже не читал) и статью о прошлогоднем фестивале юмора в Одессе. Когда я оторвался от экрана, было около двух часов ночи. Жена спала, и я не стал ее будить. К тому же она тоже впечатлительный человек, хотя, если рассказать ТАКОЕ человеку даже с железными нервами, наверное, он долго не уснет. Я послал СМС: «спишь?» — демократически настроенной подруге, и она ответила через некоторое время: «да». Приятель из Америки, с которым я иногда разговариваю по skype, был не в сети. Приятелю из Киева, с которым я тоже иногда разговариваю по skype, я звонить не стал — побоялся испортить отношения... Я открыл окно. Была чудесная прохладная ночь. Тихо шумели деревья под ночным ветром. Я негромко включил телевизор. По Первому каналу шло какое-то шоу, по тридцать первому очень симпатично рассказывали о путешествии в Африку. На «Энимал плэнет» лев гнался за антилопой.

Как *такое* могло произойти?! *Сорок человек сгорели заживо!..*

В Одессе живет Кира Муратова. Там родились Бабель, Багрицкий, Юрий Олеша. Я пытался найти комментарий Муратовой где-нибудь в Интернете, но не нашел.

Сутки езды.

А здесь, в Москве, — такое возможно? Я вспомнил 1993 год, грузовик, таранящий двери Останкино, стрельбу вокруг телецентра, «Икарусы» с вооруженными людьми, которые я видел на Садовом кольце... Я вспомнил все разговоры об особом украинском менталитете, позволяющем украинцам жить в более свободном обществе и совершать уже вторую подряд революцию. Я согласен, они молодцы. Но история в одесском Дворце профсоюзов — тоже проявление этого «менталитета»? Или «менталитет» живет только в Киеве? Или мы все — просто совки, гововые вцепиться друг в друга по любому поводу, кто-то больше, а кто-то меньше?

Я не знал. Заснул я поздно, уже светало.

Встал в двенадцать, позвонил на работу, что приду после обеда. Наврал какую-то ерунду. Настроение было плохое... По дороге на работу сел в уличном кафе. Опять написал СМС демократически настроенной подруге. Она перезвонила.

— Это все из-за полиции, — сказала она. — Почему они это допустили, не вмешались?

Посоветовала хорошую статью в «Огоньке» на эту тему (где рассказывалось, как проходят такие митинги в Германии), добавила:

— Ты расстроился? Я тебя знаю, да. — Сказала что-то теплое. (Спасибо.)

Я сидел и пил кофе. Кстати, кофе был неплохой, видимо, начальство добавляло в заварку не очень много «робусты». Мимо шли люди, был чудесный солнечный день. Я опять начал делать йоговское дыхание. Вдох на «раз-два», выдох на «раз-два-три-четыре». Представил себе улыбающееся лицо четырнадцатого далай-ламы... Постепенно успокоился, хотя бы немного.

Но убитые в Одессе не воскресли.

3.

Прошло месяца два. В выходные мы с женой были в кино. Алессандро Ходоровски (не перепутайте с Ходорковски), классик сюрреализма, младший современник и приятель Бунюэля и Дали, но нам не понравилось. Слишком много emotions, слишком демонстративно — похоже на пантомиму. После кино сели в садике около кинотеатра обсудить-поговорить, классик все-таки... Начали разговор, а потом (не сразу) услышали: на соседних скамейках компания лет по тридцать пять — сорок, по виду менеджеры среднего и выше среднего звена, бодро обсуждала... время подлета... *американских ракет сюда и наших туда*. Мило, правда? Вашу мать!..

Хотя получалось, что наши быстрее. Из-за топлива какого-то особенного. Ура!

На заднем плане плетеные кресла, модные кирпичные стены, прикольная обстановка, бар с бутылками со всей Европы, на стенах афиши: Том Круз, Мадонна, тот же Ходоровски.

И еще один парень сказал:

— Я тут узнал, что в случае войны шлюзы московского метро закроются через пятнадцать минут после сигнала тревоги.

Другой говорит:

— Как через пятнадцать?.. А те, кто не успел?..

Первый:

— Кто не успел, тот опоздал. Хотя мы же все друг друга поубиваем... По дороге к этим *дверям*.

И все засмеялись.

— Ха-ха-ха.

Бодро так, почти спортивно.

Только одна девушка немного загрустила, я видел. Такая, с милым русским лицом и темно-русым хвостиком волос.

И мне захотелось ее обнять, как ангел в фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином». Незаметно встать, невидимым подойти и обнять.

И — давно я не слышал таких разговоров, ох, давно... С конца советской власти, то есть больше двадцати лет. Я имею в виду про «подлетное время», «шлюзы метро» и тому подобное.

Про Ходоровски разговор не задался, хотя в фильме что-то было про военную хунту в Аргентине... Рифма, так сказать.

Рассказал случай одной знакомой. Она психолог.

Говорю:

— Они что, не в своем уме?

Знакомая говорит:

— Не, это классика психологии. Еще Фрейд описал в книге «Эрос и Танаос». Тяготение к смерти. Ты же литератор, забыл, что ли?.. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Время шепчет, вот они и повторяют... Но ты не волнуйся — это не всерьез. Они случайно не улыбались при этом? Как-то так, немного странно.

— Улыбались, — говорю.

— Ну вот видишь. Кайф ловят — от страха.

(А может, знакомая сказала мне: «Юнг описал», не помню).

Но мне все-таки кажется, что Фрейд Фрейдом (или Юнгом), а менагеры были точно — немного не в себе.

Подумал сейчас, что ангелам из «Неба над Берлином» все же не мешало бы обнять их. Причем всех.

Или даже — НАС ВСЕХ. Всех, кто был в тот момент в этом садике, на этой улице, в этом городе, в этой стране. Сильный бы кадр был...

Зрители бы плакали.

А голос за кадром (например, актера Питера Фалька из сериала «Лейтенант Коломбо») сказал бы: «Ну что вы, что вы, ничего-ничего, все образуется».

Два дня спустя вышел вечером за газетой — еще день такой был, тихий и пасмурный, я очень люблю такие дни в Москве — и на обратном пути ее бегло просмотрел. Разумеется, сначала что-то про Украину, потом о том, что сын депутата Госдумы якобы оказался крупным хакером и его Интерпол арестовал аж на Мальдивах, а потом, среди прочих новостей третьей полосы не крупно, что часть наших ракетных войск стратегического назначения приведена в состояние повышенной боеготовности. Мол, американцы что-то провели через свой Конгресс, и мы, в ответ на это, сыграли так. Белый слон проходит по диагонали e5-e8, черная ладья в ответ h1-h4.

Обалдел, стал читать заметку дальше. Ну, там расшифровывается, в более спокойном тоне, что после Украины американцы забеспокоились, и республиканцы провели что-то о своем ПРО через Конгресс. А наше командование в свою очередь — только уже про наступательное оружие. А они в свою. И, как говорится, пошла писать губерния... И еще сверху фотография такая: веселый молодой пацан-солдатик сидит в кабинке под этой страшной зеленой тушей, смотрит в окошко и улыбается в камеру.

Кстати, он ведь облучается там, наверное.

Я видел таких мальчиков на репетициях парада Победы и еще тогда испугался.

А поздно вечером пошел дождь. Теплый такой, мелкий, летний. И было здорово стоять под ним на вечерней улице, смотреть на черный от воды асфальт, на мокрую листву, на симпатичных молодых ребят в разноцветных куртках, едущих на велосипедах под дождем. И как-то совершенно не хотелось думать, во что превратится все это, во что превратимся все мы, если этот веселый пацан под зеленой тушей, выполняя далекий приказ своего надежно спрятавшегося начальства, нажмет на кнопку...

Николай Байтов

некая умная нефть

* * *

За окном, где берёза мёрзнет или рябина,
посинели снега, замигали огни в деревне.
Вот и ночь подплывает к пологому берегу мира,
чёрным небом касается белого оледененья.
В чёрном небе толпятся электромагнитные волны —
и ближайšie, и из самых дальних окраин, —
и колеблются в тусклой мгле деревенские окна,
озаряемы бегом телевизионных экранов.

* * *

В это время поезд затих вдали,
и я понял мысль — верней, уловил.
Но она вильнула — и схлынул звук,
ускользая в речку, под виадук.
Ветерок подул. Шелестит ольха,
перешёптываясь: «хи-хи, ха-ха».
В это время поезд вдали затих
и услышался в кровати мой скрип.

* * *

Боже, как непохоже
на то, что я думал, родясь.
В пелёнках я мыслей множество
мусолил, глядя на мать.
Теперь смотрю в глаза смерти,
первый её кавалер:
сугробы, оттепель, ветер —
расплывчатая акварель.

* * *

В самой слабой степени
степь да степь кругом.

Об авторе | Николай Байтов (1951, Москва) — поэт и прозаик, автор четырех поэтических и пяти книг прозы. Лауреат стипендии Фонда Иосифа Бродского (2007). Лауреат премии Андрея Белого — 2011 (книга рассказов «Думай, что говоришь»). Предыдущая публикация в «Знамени» — № 6, 2015.

Мало правды жизненной —
лишь игра ума.
Лошади вспотели,
волокут фургон
будто на возвышенный
вдалеке курган.

Образы той песни
вертятся с трудом.
Лошади страдают
от несметных мух.
Облепили слепни.
Я хлещу кнутом —
точно попадаю:
бью не меньше двух.

В дальнем приближении
многое не так. —
Шелестит олива,
путает язык.
Лавр царит блаженный,
и цветёт гранат.
Близится могила.
Путь далёк лежит.

* * *

Вековые традиции русского кваса
образуют основу народных картин.
Основной представитель рабочего класса
на Рогожской заставе заходит в трактир.

Соблюдая порядок народного пьянства,
благовременно он выпивает и ест.
Перед ним за столом его братец крестьянский
развернул приключений помятый реестр:

он качался на сопках манчжурского вальса,
он питался червями в японском плену, —
вековые традиции русского кваса
сохранять здравый смысл помогали ему.

* * *

Глаз подозревает в духоте рукоять —
может, тумблер или нелинейный рычаг:
повернёшь — и семьдесят начнут укорять,
тридцать — непонятное чего-то кричат.

Аварийный валится из рук инструмент.
Мысль не различает в духоте доходяг:
или это тридцать умирают в момент,
или это семьдесят чего-то хотят.

Дымом надывшавшиеся лезут в окно,
а они забыли, что тридцатый этаж.

Я хочу напомнить без обид: если кто
понадеялся на нелинейный вираж,

то не за горами современный скандал —
он мерцает и что обещает — бог весть.
Тридцать не усвоили, что я им сказал.
Семьдесят всё это не сумели прочесть.

* * *

Дурацкий жест: взвихрил висок,
вся мысль пошла наискосок,
а я-то плавал думно.
И кстати, в огороде ночь
была б соседствовать не прочь —
так снежно там и лунно.

Мороз достал до высоты.
А в огороде спят кроты
в подземных лабиринтах.
Они запасов напасли
и затаились до весны
в сезонных биоритмах.

Дурацкий жест. Откуда он
перебывает плавный сон?
О, как я опрометчив!
Вся мысль пошла кроту под хвост,
а крот разлёгся во весь рост
в мечтах огромных, вечных.

* * *

«И с тех пор он меня игнорировать начал везде
(я имею в виду, куртуазный один маньерист),
потому что мы с Нестором тоже себе на уме:
наш совместный альбом отказались ему подарить». —
Так сказала она, вспоминая минувшие дни —
непонятки, обломы и казусы длинной судьбы.
На Лосиноостровской в столовке мы ели супы,
и домой в пластиковой коробке взяли блины.

* * *

Каждую ночь я упираюсь в нечто
вроде источника неосязаемого напряжения.
Можно было б решить, что оно вечно.
Но я воздерживаюсь от такого решения.

Мало ли что? — может, я сам — фигура
слишком согбенная, творящая себе тиранов.
(Вижу, как вся культура мне тут мигнула —
в звёздных туманах галактика среди равных...).

День изо дня прокручиваю дребедень мою —
сплошь драгоценную, выращенную сызмала.

Но снова ночь — и я упираюсь в требовательную,
но расплывчатую волну какого-то смысла.

* * *

Мать-и-мачеха моя так нервно зацвела,
а потом, как уши, выросли ослиные листья.
Что смотреть, зачем, какое зрение исцелять
собрались и разбрелись в разные стороны слепцы?
Изредка репы, а так обычно лопухи,
собирают и жуют на интересе, как в кино.
Господи, не дай мне что-то, кроме чепухи,
высказать, не то буду стесняться, как не знаю кто.

* * *

Наряден, речист и конфузлив,
над полем глагольных искусств
порхает советский союзник —
всё ищет свекольных капуст...
Как парусник, в бурях арбузных
над полем голимых искусств
родимый советский союзник
парит — и садится на куст.
сверкают политые гряды
на солнышке после грозы.
Лети-ка ты, милый, в бурьяны,
политику с хрустом грызи.

* * *

Пенсия плюс стипендия — хорошо живу.
Осень, опали листья — широко вижу.
Бедствующие соседи под окном внизу
грузятся — получили на улёт визу.

Хайдеггер мой экзамен принял, поставил пять.
Мало мы говорили, да, по сути, и не о чем.
Дождь в водостоках колледжа поёт всласть.
Ладно, в свою Алабаму вернусь неучем.

Гитлер открыл ворота для любых мастей:
негр ты, мулат, индеец — лишь бы учился.
Он одобряет тысячи научных затей,
жаль, философия затёрлась среди этих чисел.

Грузятся под окном соседи — надо им улетать.
Пенсия плюс стипендия — колбаса, пиво.
Хайдеггер мой экзамен принял, поставил пять.
Мимо глядит, в зачётке расписывается как-то криво.

* * *

Поцелуи планетарных ланит
расцветающий приветствуют крест.
В эту ночь пересечение орбит

производит столкновение и треск.
За оградой по колено хмельно.
С колокольни — за ухабом ухаб.
Разноцветное пасхальное «О»
набухает, будто ноль на губах.

* * *

Почему-то куб и шар
превратились в шум и шквал.
Умные, трещат по швам
чертежи Малевича.
Поменялись лох и сноб
в зеркалах, как гоп и стоп,
и стою я, словно поп,
у престола дремлющий.

Ежедневно тут и там
меня дают стыд и срам.
И природа жухнет в хлам,
и роятся бедствия.
То и дело стар и млад
делают мне шах и мат.
Этому я очень рад:
меня любит Лесбия!

* * *

Слышишь свист? —
Это вечерний звон.
Это визг
тучи безумных звёзд.
Будто проснувшихся пчёл
рой или даже сонм
сразу, где луг расцвёл,
сухо воздух сечёт.

Тяжкий мёд
здесь соберут они. —
Их влечёт
множественный аромат
мифов, мечтаний, снов,
счастья, скорби, вины —
наш коллективный вздох,
пар, исшедший во мрак.

Сладкий прах —
тёмной материи снедь.
Там экстракт
душ наших копится впрок.
Там, смешав наши лица,
некая умная нефть
гравитационные линзы
заполнит в толщах миров.

* * *

Я танцую посреди интеллекта.
Вряд ли это от инсульта целебно.
Но мажорные ключи бьют со звоном,
будто скоро чемпион будет назван.

Я не думаю, что танец «Сиртаки»
мне поможет догрести до Итаки.
Мне под музыку вообще трудно думать —
получается лишь плакать и топтать.

Девки пляшут, как всегда интересно.
Интеллекту отвечают телесно.
С бёдер их стекают на пол одежды.
Не пора ли свет гасить — а поди ж ты!

Сергей Каледин

Госпожа удача

рассказ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ИВАНУ АЛЕКСЕЕВУ, ТОВАРИЩУ

Дорогостоящие пилюли достали. Говорю кардиологу: пропишите подешевле — бюджет трещит. Врач повесил на меня прибор-самописец Холтер, облезлый, с русским именем «Электрон»; пластырем закрепил под грудями провода: сутки не снимать, сердцу дать нагрузку, решим — по результату.

Взял нагрузку и — к другу закадычному Ванечке Алексееву, врачу-реаниматору, писателю, въедливому редактору. И рассказ ему прочту — проверю на слух.

Еду в метро, зрю по сторонам — личики унылые. Вдруг что-то зажужжало... Народ встрепенулся. Краем глаза вижу: привлек внимание блондинки с планшетом, улыбнулся ей ответно, приосанился. Стало быть, я еще справный хлопец! Знаю за собой: когда долго не стригусь — похож на старого еврея, а если, как сейчас, свежебритый налысо, — схожу за молодежливое лицо кавказской национальности. Да плюс еще борода и вместо шарфа белый в клетку арабский платок-арафатка.

Народ рассосался, я подсел к блондинке поговорить... Но блондинка недовольно снялась с места и переместилась в глубь вагона, где спал обоссанный бомж с котомками. А жужа вдруг смолкла.

На станции «Лубянка» в опустевший вагон вошла полиция с ротвейлером — и ко мне: «Документы!». И тут снова тарахтелка включилась. Пес зарычал... Меня осенило: так это ж «Электрон»-перестарок на мне верещит! И судорожно задрал свитер с майкой — для показа ментам, оборвав провода. Слава Аллаху, при мне кроме паспорта было наставление от кардиолога.

Ну вот, опять: хотел рассказать значительное, про антитеррор, например, а получился пустяк, мелочовка.

На даче перелистал все, что написал за жизнь, и озадачился: ни мысли глубокой, ни идеи достойной. И никакой пользы отечеству. Выходит, я просто баболо. Грустно. Одно утешение: пустопорожней болтовней не брезговал и Гоголь Николай Васильевич.

Об авторе | Сергей Евгеньевич Каледин родился 28 августа 1949 года в Москве. После окончания (экстерном) средней школы один год проучился в Московском институте связи (1968 г.) и после службы в армии (1968–1970 гг.) окончил Литературный институт им. М. Горького (1972–1979 гг.). Был кладбищенским рабочим (1976 г.), работал сторожем и кочегаром в деревенской церкви (1986–1987 гг.). Широкую известность принесла С. Каледину его первая повесть «Смирненное кладбище» (1987 г.), по которой был снят одноименный фильм (1989 г., режиссер А. Итьгилов). Автор книг: «Стройбат» (1991 г.), «Шабашка Глеба Богдышева» (1991 г.), «Поп и работник» (1992 г.), «Тахана мерказит» (1996 г.) и др.

В отрочестве вызвали меня к доске читать на память «Птицу-тройку» из «Мертвых душ». На палехской шкатулке она замечательная, а в письменном виде раздражает напыщенностью. Я завел другую песню:

— «...Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов, — хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука; осмотрели и суку — сука, точно, была слепая...»

По классу побежали смехи. Учительница в сердцах шлепнула журналом стол.

— Я про су... собаку не задавала. Цирк устраиваешь!..

Учиться не хотелось. И дело было не только в скучной школе. Оголтелое вранье затопляло жизнь. Даже у хоккейных побед был лживый привкус: наши профессионалы соревновались с любителями-иностранцами, которые гоняли шайбу в свободное от учебы и работы время.

Но жизнь была замечательная, особенно — по четвергам. По четвергам в издательство «Художественная литература», возле моей школы, где работала мама Тома, приходили гости: Галич, Ахмадулина, Окуджава, Олег Ефремов, Юлий Даниэль... Учредил «четверги» бородатый красавец «дядя Леша Симонов», больше похожий на своего знаменитого отца, чем сам Константин Михайлович.

И мама Тома по благу водила меня на эти удивительные сборища!

В середине шестидесятых как-то на «четверг» пришел историк по войне Александр Некрич с недавно вышедшей и уже запрещенной тоненькой книжкой «22 июня 41 года». Элегантный Некрич, по манерам и речи не похожий ни на фронтовика, ни на еврея, неторопливо рассказывал, почему один психопат при всех козырях проиграл войну, а другой потерпел победу.

И тут началось!..

Начальник АХО «дядя Коля Хайретдинов», широкая душа, опора издательства, на протезе вместо ноги, заорал:

— Врешь!.. — На язык ему явно просился «жид», но дядя Коля сдержался и сквозь зубы лишь просипел: — Бар пятэке!..

Куда по-татарски послал дядя Коля Некрича, понятия, думаю, только я и мама Тома: мама — переводчица с тюркских языков, а я во дворе слышал, как матерятся пьяные татары-дворники.

Некрич усмехнулся. Зал затих. Зудела муха.

Тишину пресек заикастый хриплый голос, от которого млели женщины «Художественной литературы»:

— Ник-кола!.. С-смолкни!.. — «Дядя Юра Розенблум», друг мамы Тома, «создатель» калмыкской литературы, встал не с первой попытки, уронив на пол подушечку, которую подкладывал под вырванную осколком ягодицу, и погрозил завхозу палкой с львиной головой, больше похожей на песью башку.

— Ма-ам... — Я испугался, что Некрич обидится и не будет дальше рассказывать.

— Але!.. — Мама Тома помахала над головой рукой. — Коля! Юрик! Малычики!.. Что о нас подумает Александр Моисеевич?

— Ничего-ничего, пожалуйста, — улыбнулся ей Некрич.

После «четверга» в кабинет главного редактора Пузикова стягивались основные: Розенблум, Хайретдинов, Сергей Даронян и заместитель Пузикова по производству Иван Иванович, лилипут, которого я боялся. Приглашался и гость «четверга». А вот «дядю Лешу Симонова» на «совещания» не звали, ибо для основных он был, как сейчас понимаю, двадцатипятилетний пацан.

Сервировкой стола командовала Наиля Герфановна, легендарный секретарь Пузикова, крохотная татарка, в неснимающихся старинных перстнях на подагрических пальцах, стянутая в рюмочку широким ремнем с золотой пряжкой,

близкая к столетнему юбилею. Наиля все знала про жизнь и на немзыкальные четверги не ходила.

Пока братия стягивалась, Наиля делилась со мной в секретарской великосветскими сплетнями. Например, какие шубы покупала в Москве Мэри Хемингуэй по ее, Наилиной, наводке. И, чтобы не сплетничать вхолостую, дымя «Беломором», кашляя, отмыкала золотым ключиком книжный шкаф карельской березы и непослушными пальцами выщипывала из плотных рядов Олдингтона, Белля, Фитцджеральда... Бесценные дары, клейменные синим штампом «контрольный», небрежно кидала на гривуазную козетку. Я по-шустрому собирал добычу.

Первыми на совещание пришли начальники — Пузиков, Даронян и Хайретдинов. Пузиков, отведя глаза, чтобы не видеть расхищения рабочих экземпляров, торопливо прошел в кабинет, а Даронян с Хайретдиновым остановились покурить у Наили.

— Дурака валяет! — кивнул на Дароняна завхоз. — Нас на бабу променял.

Сергей Карпович Даронян, заведующий редакцией народов СССР, начальник Розенблюма и мамы Тома, вскорости переселялся в Ереван для женитьбы на отставной балерине — звезде Армении. Переезжать в Москву прима отказалась, ибо трезво видела перспективу: писатели всей страны мечтали публиковаться в «Художественной литературе» — и были опасны для жизни ее суженого. И потому условием брака был категорический отказ от алкоголя.

— Ты хорошо подумал, Сереженька? — по-матерински спросила Наиля Герфановна.

Даронян длинным ногтем среднего пальца, объятого перстнем с черным камнем, неуверенно почесал просвечивающую сквозь редкие волосы лысину.

— Ир хаки — алла хаки, — скорбно сказала Наиля Герфановна. — Воля мужчины — воля аллаха.

— Минь улым, — многозначительно кивнул завхоз.

Стуча палкой, прихромал Розенблюм.

— Н-некрич не хочет... Эт-то все Колька... м-мудак. — Розенблюм заметил меня. — Из ш-школы еще н-не выгнали?.. Не б-бзди, в-вышибут.

Мою школу дядя Юра не любил. На закате Хрущева директриса попросила маму Тома, чтобы кто-нибудь издательский рассказал учителям про Солженицына. Мама Тома озадачила Розенблюма. Розенблюм согласился, но лег в госпиталь вынимать осколки. Лекцию он читал уже при новом режиме. Актовый зал набился под завязку: пришли учителя из других школ, старшеклассники сидели на подоконниках, на полу в проходе, подтянулись уборщицы в синих халатах. И сын врага народа, Розенблюм, рассказал. Подробно. Его долго не отпускали, уборщицы плакали. Утром директриса заложила его по полной в Госкомитет по печати, обвинив в антисоветчине.

...Дверь секретарской распахнулась: две красавицы — мама Тома и рыжая двухметроворостая гитарной выделки остроумица, моя любовь, «тетя Люба Осипова», переводчица с латышского, — одна спереди, другая сзади — ввели Некрича.

— Принимай товар, купец! — мама Тома сдула пепельную от ранней седины прядь, упавшую на лоб. — Еле уговорили.

— Привет тамплиерам! — сказала тетя Люба.

— Я надеюсь, вы с нами? — спросил женщин Некрич.

Тетя Люба мазнула взглядом старинное высокое на львиных краснодеревных ножках мутное зеркало, в котором не помещалась по высоте.

— У вас курултай. А мы тихие славянки — нам к детям... Вон, — кивнула на меня, — дитяtko рожено.

Последним пришел Иван Иванович. Он приобнял тетю Любу на уровне ее живота.

— Любочка, когда я дорасту до вашего пупочка?

Дальше я думаю так...

Ближе к ночи из кабинета в секретарскую сосредоточенно вышел Розенблум. Наиля Герфановна медленно закрыла Пруста, заложив страницу инкрустированной кожаной полоской с золотым полумесяцем, вопросительно подняла глаза.

— Н-не х-хватило... — сдержанно сказал Розенблум.

Наиля Герфановна вопросительно свела выщипанные в ниточку по моде прошлых лет брови, оценивая состояние любимца, по частям восстала из бездонного кресла, молча отомкнула книжный шкаф и опустилась на колени перед нижним его этажом...

...Наконец, старинные часы пробили полночь. Наиля, оглядев себя в зеркале, без стука, распахнула дверь масонской ложи:

— Мы устали... Нам достаточно... Нам нужно отдыхать...

Ей не перечили. Высокие гости проблем не вызывали, а маленький Иван Иванович уже... «отсутствовал». Наиля Герфановна осталась ночевать в кабинете Пузикова на кожаном диване, а Ивана Ивановича общими усилиями расположили на козетке, подперев креслом, чтоб не скатился.

Вскоре меня выгнали из школы, оставив на второй год. Я устроился на работу к папе Жене чертежником, получил экстерном аттестат, поступил заочно в институт связи, поучился годок, бросил институт и сменил лыжню — пошел в армию. Хитростью напросился в стройбат, где, решил, меньше советской власти.

Первую и последнюю благодарность с занесением в карточку поощрений получил в карантине от старшины Мороза «за отличную заправку койки», а на самом деле — за табуретку, украденную в 4-й роте. Остап Серафимович, фронтовик, душа-человек, похожий на батьку Махно, ликовал: «Сынок! Ташши ишшо».

Мороз брезгливо опекал нас, москвичей. Мы ныли: холодно, устали... «Усе малохольные... Зачем вы кому надо?» — ворчал Мороз и разрешал нам спать в неуставное время. Но он вскорости уходил на пенсию. Угрюмые туркмены-дембеля бродили вокруг техкласса, где мы проходили карантин, с алчным предвкушением: ждали, когда нас, москвичей, раскидают по ротам. Азиаты были злы вдвойне: они служили три года, а нас по новому закону призвали на два.

И тут в нашу бесперспективную жизнь вломился Таран. Огромный, страшный, костлявый. Сирота, выпускник Можайской воспитательной колонии, слабозрячий, боксер. Из подмосковной Лобни. Первый год службы он в одиночку бил агрессивных нацменов. Очки ему расколотили сразу, больше он их не восстанавливал, только шурился. Терял зубы, отлеживался и по-новой упрямо молотил азиатов, понуждая к миру. Калечить его туркмены боялись. Начались переговоры. Межплеменная пря в стройбате кончилась. Осталась законная дедовщина. Командир нашей в/ч 21517 подполковник Чупахин произвел Тарана в сержанты и старшим по спорту. И теперь Таран обустроивал спортзал — замусоренную пристройку на торце нашей роты. Разобрал хлам, побелил-покрасил, пустые окна зашил фанерой. Стал изымать из-под молодых крепкие матрасы для матов в спортзале, заменяя старыми, проссатыми. Дошла очередь до нас. Выяснив, что мы москвичи — ЗЕМЕЛИ! — резко нас возлюбил и матрасы не тронул. А уж посылками мы делились с ним наперегонки от чистого сердца.

Утром взводный ставил нам задачу и уходил греться. Копали мы котлован под фундамент дачи Чупахину, копали без кнута — подгонял мороз: зима в тот

год под Пермью была за сорок. И все бы ничего, да вот пописать-покакать проблема: голые части тела дубели в шесть секунд.

Но вечерами-то в спортзале Тарана нас ждал рай! С чаем, посылками, безопасностью. Мы шивали матрасы в маты, затягивали комковатые подушки в боксерские груши, создали боксерские перчатки на базе двупалых рабочих рукавиц. Моя бабушка Липа прислала толстые иглы, наперстки, суровые нитки. Папа Женя прислал Тарану книгу по боксу. Но Тарану нужна была не книга, а — спарринг. Раньше он тренировался на туркменах, теперь составил расписание турниров. На бой вызывал русских — по желанию, а замиренных азиатов — по справедливому графику, чтоб не одних и тех же.

От Наили Герфановны регулярно приходили издательские посылки с книгами. Я хранил их под матрасом. Одну, драгоценную, «Свет погас» Киплинга, не уберег — забыл в ленинской комнате. Нашел в спортзале у Тарана в углу — с вырванными страницами. Таран насторожился:

— Не ной... Другую куплю.

— Там художник... Слепой... Его убили.

— Да он музыкант был. Хохол. Короленко. Я читал.

Однажды я проснулся от лютого запаха мочи. Виноватым оказался лысый армянин из молодых, с энурезом. Забрили его на границе призывного возраста в отместку: он был селькором, писал о недостатках. На корявые русские его прошения командование внимания не обращало. Сушить ссанье он не успевал, ходил в коросте — смирился.

В письмо маме Томе я вложил заявление от его имени в Министерство обороны.

Армянина комиссовали. Он прислал посылку с чурчелой и коньяком в грелке — на имя Тарана, которого не шмонали.

Чупахин мое авторство вычислил и уволил из спортзала. На радость взводному, который немедленно приказал выстирать ему гимнастерку. А за отказ нарядил ночью «харить пола». На беду взводного, в казарму пожаловал Таран проведать меня...

Чупахин на разводе объявил меня доносчиком: «...недаром у него и фамилие белогвардейское», но успеха не возымел: однополчане не возбудились.

Отставленный от спортзала, я задружился с Лешей Вербенко, полунинтеллигентным рыхлым москвичом, кочегаром столовой. Он был неверно ориентирован, о чем мне и поведал. И о чем догадался завстоловой, который и без того третировал Лешку. Я кинулся к Тарану, но тот в защиту Лешки не подписался.

8 марта 1969 года утром я привычно забежал в пустой ледяной техкласс, спасаясь от физзарядки. И ударился головой в непонятное. Включил свет: Лешка висел на брючном ремне. В шапке была записка: «После того, что произошло, я не могу жить».

На похороны в Пермь приехали разведенные родители Лешки и брат, чахлый подросток. Поминки были в ресторане на два стола: для родни с офицером и — без вина — для солдат и сержанта-соглядатая.

Родители скоренько напились, стали выяснять отношения. Офицер заскучал и призвал для компании сержанта из-за нашего стола. Брат Лешки пошел в туалет, я следом и сунул ему письмо для мамы Томы с Лешкиной запиской.

Письмо через отца «тети Любы Осиповой» — генерала — сработало. Приехала комиссия. Чупахина разжаловали в капитаны, загнали на Ямал, но перед комиссией он успел сплавить меня в Ангарск, где формировался 698-й военно-строительный отряд. Исправительный. Для пьяниц, хулиганов, самовольщиков... («Стоп, — сказал Иван Алексеев. — Про это ты уже писал в «Стройбате». Давай новое».)

Короче, я понял: до дембеля своими силами не дожить...

И Ее Высокоблагородие Госпожа Удача укрыла меня своим омофором!

В Ангарск примчалась мама Тома. В потрясающей коричневой каракульчевой шубе, как у Софи Лорен в «Советском экране».

Драгоценные шкурки, содранные с недоношенных ягнят, подарил маме Томе на сорокалетие Берды Мурадович Кербабаев, председатель Союза писателей Туркмении. Мама Тома перевела для «Детгиза» его книгу «Веселые Джарбаки» про шалости туркменской детворы. Одну байку я запомнил. Умер старый конох. Обмывать покойного велели пацанам. Шалуны мыть дядю по-людски поленились, на веревке — за ноги — опустили в старый колодец, глубокий, узкий. Достали, но без головы — оторвалась. Чем кончилось, хоть убей, не помню. В Ленинской библиотеке разыскал «Веселых Джарбаков» — проверить: безголовый старичок исчез. Стало быть, он остался только в рукописи, в детскую книжку мама Тома его не пустила.

Манто сделало великое дело. В нем мама Тома очаровала аж самого командира дивизии: он не против, чтобы я работал по гражданской специальности — чертежником и... продолжил учебу на вечернем отделении Ангарского политеха!

К нефтекомбинату, где мы красили кузбаслаком бетонные опоры, примыкало ОКБА, опытно-конструкторское бюро автоматики. Туда-то меня и взяли чертежником.

Я очутился в раю. Фильм «Девять дней одного года» — про наше ОКБА, только без радиации. А может, и с радиацией — что-то уж очень споро я стал лысеть после армии.

На работе я поначалу переодевался в гражданку, но скоро понял, что «шинель Грушницкого» — выигрышнее.

Для меня армия почти кончилась, но товарищи продолжали служить. Шлема тянул лямку на нижнем сплаве в ледяной воде Ангары. Костя Макарычев работал грузчиком на хлебозаводе. Близорукий, рискованно воровал масло, сахарную пудру, глазурь... Чтоб избежать винного духа в расположении части, умный Костя пересел на анашу местного производства из низкорослой сибирской конопли.

Он вел пухлый дневничок. С афоризмами типа «Всевышний есть, но я в него не верю» или «Что хорошо — то хорошо. А как же?». Фиксировал трезвые дни. Там же стихи — по обкурке: «Хороший у дома угол, слой пыли на нем густой. Взять бы тебя за ноги и об него головой». Вот и старшина Мороз схоже серчал во времена оны: «Москвичей давить надо родами, в ляжках, чтоб здря не маялись».

Мои товарищи нуждались в отдыхе. А стройбат нуждался в чертежном ватмане для наглядной агитации — столетний Ленин на носу! В ОКБА мне разрешили брать бесценную бумагу. За дефицит замполит давал нам — троим — увольнения. СУТОЧНЫЕ!

Балдели мы по субботам в пустом ОКБА, куда нас, «солдатишков», пускали вахтерши. Иногда в окно первого этажа, единственного без решеток, удавалось затащить девушек с нефтекомбината, некрасивых, деревенских — зато небалованных. Да нам по плечу были и капризные, ибо мы были при деньгах.

Девушки предпочитали Костю, поэтичного, длинноногого. Русский же от начала до конца Шлема имел чрезмерный неадекватный нос, и барышни отдавались ему нехотя. Так же, кстати, как и мне, хотя у меня с носом вроде все нормально. Но Шлема особо и не переживал: он в последнее время очень ретиво, из жадности, сдавал кровь обманным путем — в три раза чаще положенного — по нашим с Костей документам, и к девушкам был равнодушен. Он мечтал нажраться мяса, но за мясом, вернее, за костями, в Ангарске по ночам стояли очереди, жгли костры.

В институте меня взяли на первый курс. Маршрутный лист продлили до 12 ночи.

Вечерами я читал в библиотеке и ходил в спортзал — качаться, но бывал и на занятиях. Высмотрел лейтенанта пожарной службы, загорелую после Болгарии душистую от лаванды студентку. Разведенную. Напросился в гости. В косо-бокой избе с чадившей печью почти склонил к любви, но хмельная лейтенантша вдруг решила вернуться к мужу, то есть резко сместила меня с железной кровати с шишечками на домотканую пестрядевую гуньку возле печки.

Костя деликатно отметил в дневнике: «Таня бросила Сережу через х...».

Утром я, злой, похмельный, неправильно прошел по сырому полу в казарме. Васька Чиняев, из блатных, сдержанно заметил:

— Москва, пидор, куда прешь!..

В обед я разыскал его на нефтекомбинате.

— Ты меня обидел, Вася.

Васька обескураженно обернулся к собригадникам:

— В смысле — не понял?.. У него вольты в бегах?

— Посади его на жопу, — посоветовали товарищи.

Васька изготвился, но упал первым. Я благородно не стал бить лежачего. Потом упал я, и, когда вставал, Васька достал меня ногой по... по... яшам.

Я сложился пополам. Васька стал меня бить. Недолго. Потом слазил в котлован за моей пилоткой, надел на меня.

— Все?

Я кивнул, держась за ягель.

«Яши», «ягель» придумал не я — мой школьный товарищ Зяма, остроумец. Он хохмил на лету: голосовать — «голового совать», «морг-морг — и в морг». Собак — кошек называл «псоу, песуары, кошевары». К 100-летию Ленина сочинил песню: «Друзья, люблю я ленинскую бороду! Как бороденку эту не любить. Еще люблю ходить-бродить по городу, муйню-туйню повсюду городить...».

Ночью в ленинской комнате я написал свой первый рассказ «Последний бой и Таня». Разбудил Ваську и Костю, хохочущего по обкурке даже во сне. Костя вынырнул из чудесного забытья улыбающийся:

— Сержик, как бы насчет одеколончика?.. Посмотри у кого-нибудь...

Я прочитал им рассказ.

Васька обалдел.

— Ништяк, Москва! Писакой будешь.

— Херня, — зевнул Костя. — Про любовь не так надо.

— А как?

Костя достал дневничок, полистал, еще раз зевнул незаинтересованно...

— «Шарашится по роте свет голубой и таинственный. И я не совсем уверен, что я у тебя единственный».

— Котик, это блеск! Рифма есть — ума не надо.

Через двадцать лет этот чарующий бред зазвучал в «Гаудеамусе» со сцен многих стран в исполнении артистов театра Додина. И звучит по сей день. И когда я слышу эту прелестную ахинею — контакты замыкаются: бьет искра воспоминаний... Котик, отзовись, если жив! Пойдем спектакль про тебя поэзирим.

...На дембель я выхлопотал у штабного за чирик ходатайство о зачислении меня на подготовительное отделение филфака МГУ. От комсомольского билета — за четвертак — отказался. А филфак за это от меня отказался. Тогда мама Тома определила меня в Литинститут.

Но писатель из меня не получался, да и половина предметов были уж очень советские. Хотел бросить институт, но не мог оторваться от лекций по русской литературе XIX века. Михаила Павловича Еремина и Виктора Антоновича Богданова.

Еремин то ли на фронте, то ли в лагере отморозил ноги и при малейшем холоде носил белые бурки. В бурках, с бухгалтерским портфелем он был похож на отрицательного заготовителя из райцентра. Михаил Павлович был членом худсовета театра на Таганке, и Юрий Любимов «украл» у него и бурки и портфель для гада-уполномоченного в своем запрещенном спектакле «Живой».

В аудиторию Михаил Павлович входил не торопясь, барственно, с прямой спиной и дымящейся сигаретой на отлете. И, морщась, велеречиво начинал лекцию, как бы продолжая начатый в коридоре разговор:

— ...Ну, написал Гоголь «Ганса Кюхельгартена». Дряннь поэмка. Но не надо... Не надо смаковать ошибки гениев! Кто без греха? Вон Лермонтов: «И Терек, прыгая, как лвица с косматой гривой на спине...» А лвица — дама, какая у нее грива! Или Некрасов: «Быстро бегу я по рельсам чугунным...» Из чугуна — уютюги, а рельсы — стальные. Все ошибаются. Вот бухгалтерский отчет должен быть без ошибок.

Сдержанный интеллигентный Богданов в сорочках с запонками, с прищуренным от ранения глазом, придававшим лицу легкую брезгливость, представления не разыгрывал:

— Договоримся сразу: не искать у Чехова высококонрастных гуманистических идей. Он сам признавался: «Нет у меня ни убеждений, ни принципов».

Я выслушал XIX век и перевелся на заочное отделение.

На заочном учеба прекратилась. Контрольные работы я одалживал у соскурниц. Экзамены сдавал сам. Иногда за меня ходил Данов, товарищ по шабашкам, сын знаменитого профессора-геолога. Мы переклеивали фотографию в студенческом билете, и он, рыжебородый, в очках, очень толстый, шел на экзамен не готовясь. Правда, случались накладки. Меня тормознул Еремин:

— Тут за тебя рыжий, осанистый, экзамен сдавал по Хемингуэю. Я зашел случайно — заслушался. Он что кончал?

Данов после школы не учился — он и так все знал. На шабашках он, непревзойденный рыболов-охотник, был в нашей бригаде поваром. Что он вытворял! На лесоповале мы ели тушеных зайцев с провансальским соусом, на Сахалине «рыбу хе» и красную икру из корыта, в Казахстане, где строили коровник, — «седло дикой козы» из сайгачатины.

Потом Данов пропал. Прошел слух, что он подался в самодельные попы. Через двадцать лет объявился, сообщил, что теперь он «отец Иоанн», живет в скиту, собирается в Черногорию. Подарил фотку, где он в какой-то странной цветной рясе с капюшоном. Про религию говорил неинтересно, Александра Меня хулил, корил евреев... От взаимного смущения мы быстро напились да и разбежались навсегда. Позже Данов позвонил моей жене, сказал, что я не спасусь.

...Писателем я стал случайно, но об этом уже рассказывал. Долго не печатали, потом напечатали, перевели, поставили в кино и в театре.

Мой учитель по писательскому делу — незабвенный Игорь Иванович Виноградов. Он выудил мою рукопись из самотека «Советского писателя» и позвал для разговора. Разговор-учеба затянулся на четверть века. Выяснялось: литература — территория неогороженная, места всем хватит. Писательство — дело нехитрое: три десятка букв, бумага, карандаш. Нет ни конкуренции, ни давящих авторитетов. Лениться не надо, но и мчаться наперегонки — ноздря в ноздю — нет нужды: сбоку никто не обойдет, ибо литература вне прогресса и конкуренции. Что не написал — другой не напишет.

...Сажу на даче. Весна, март, сугробы обмыливаются. Читаю путевые письма Фонвизина жене. Оказывается, и в восемнадцатом веке, задолго до Гоголя, были любители пустопорожней болтовни. Вот Денис Иванович заехал на Укра-

ине покушать в придорожный трактир, а там «...Две девушки, во днях своих заматеревших, обедали сорочинское пшено с молоком».

Звонок! Кого принесло?.. Не люблю неожиданностей — один на даче, зимой, в лесу...

Пришел сын сторожа, принес толстую тетрадь: «Мама просила прочесть».

Красивый почерк, ошибок мало: только «направо» вместе, а «на-лево» отдельно. На первой странице — про меня.

Сидит за машинкой печатной
Совсем седой с бородкой старичок.
Пишет он книгу о стране необъятной
Как жить и работать в ней мог...

(«Стоп! — сказал Иван Алексеев. — Дальше не надо. Точка».)
Я Ивана слушаюсь. Точка.

Александр Денисенко

Мальвы наломаны

* * *

Посадили меня на цепь,
Отошли на сотню шагов,
Сели в пыль на дорожный шов.
Бродит ястреб поверх тополей —
Молодой, вороной мясоед.
О, кошмарный и быстрый, о нет.

Вдруг раздался свисток соловья,
Он упал, как кусок хрусталя,
За пшеничную цепь
Приподнял мою степь
И повлѣк в голубые края.

Там на небе одно есть село.
Не достанет туда жевело.
Как у первых ворот
Меня встретит народ
Целовать мой запѣкшийся рот.

А когда я разжал кулаки,
Были полными обе руки
Горьких трав земляных,
А из ран пулевых
Я достал двух шмелей полевых.

Васильков синеглазый комок
Взял с ладони, потупившись, Бог,
Был он в первом ряду
И у всех на виду
На пилотке потрогал звезду.

И стоял я убитый в степи,
Куда Бог меня сам опустил,
А навстречу уже
Шли ко мне по меже...
...шмель уснул в моём нежном ружье.

Об авторе | Александр Иванович Денисенко родился 10 августа 1947 года в селе Мотково Новосибирской области. По профессии — телеоператор (Новосибирское ТВ), занимался также издательской деятельностью (Сибирское отделение изд-ва «Детская литература», «Мангазея»). Напечатан в антологиях «Самиздат века», «Русские стихи 1950–2000», в сборнике «Гнездо поэтов» и в авторских книгах «Аминь», «Пепел». Дебют в «Знамени».

В землю Русьскую мой соловей
 Все спешит из небесных полей,
 Но тяжёлый, как ртуть,
 Воздух бьёт его в грудь,
 Помогите ему кто-нибудь...

* * *

Вот приехала к нам автолавка:
 Бунин, ситец, литовки, трусы...
 Бабам — праздник: *узять* мулине с «городскова прилавка»,
 А отец покупает настенные с боем и звоном часы.

Под их музыку день и число, и секунды теперь мы узнаем,
 Когда всходит луна и когда в СССР выходной,
 Да к тому же амбарный замок песню «Боже, царя храни!» нам сыграет —
 Он на клубе висел, когда царь ещё был молодой.

И в придачу, конечно, дадут нам ещё Голсуорси
 И подписку на мрачный журнал «Атеист» —
 Джон пуцай подождёт, пока мы на корову накосим,
 А журнал уж давно по ночам вся деревня запоем читает:
 До чего ж хороша «Профсоюзная *жисть*»...

Эх, потрянём кошельком: в ход пошли утюги, бигуди, «шестиклинки»,
 Портсигары, «москвички», чулки, ридикюли, «Казбек»...
 — Дайте ж нам поскорей в 33 оборота пластинки,
 А не то не видать нам, в натуре, в деревне свободы, а также культуры вовек!!!

Что ж, играйте, часы и замок, и пластинки за милую душу:
 Под мелодии ваши мы спать уложили с отцом золотую траву,
 И под них на коне вороном волочил я весь день волокуши,
 А теперь на зелёнке по полю ржаному с улыбкой плыву.

Вдоль столбов телеграфных дорога спускается к речке.
 Провод порван... Гроза... И из провода Рыбников песню поёт
 Про Заречную улицу, а с нашей Заречной Татьяна навстречу —
 Это я для неё на три года часы переставил вперёд.

Автолавка к нам снова приедет под самую осень...
 Я по новым часам на три года уже повзрослел — не салага.
 Вот возьму и куплю я для миссис Татьяны роман Голсуорси,
 И начнётся у нас на всю жизнь деревенская светлая русская сага.

На ясный огонь

Кто-то в лесу стреляет
 Возле родных калин,
 А журавли составляют
 Самый прощальный клин.

Долго, как в дни Победы,
 Смотрит за реку мать...
 Жить бы и жить и белой
 Людям рукой махать.

* * *

Как заплачу я в синие ленты
Перед группой русских цветов
За деревней, которой уж нету,
Лишь осталась кирпичная кровь.
Вещество моё всё помирает,
Принимая печаль этих мест,
И душа с себя тело снимает
Среди низко опущенных звезд.
Пока льётся из глаз проявитель,
Вижу, как погубили обитель:
Растерзали деревья и доски,
И большие кукушкины слёзки.

* * *

Умер дед. Семья сидит у тела.
Самый старый дед в селе Мотково.
Самый-самый старый дед Валера
Будет жить на небе голубом.

Дед отцвёл. Про тонкую рябину
Замолчал его аккордеон,
Перед смертью он сходил на почту,
Пацанам раздал аккредитив.

Я-то знал, что деда умирает...
Мы соседи. Через городьбу.
Светлый стал. Глядит невыносимо.
Я сосед его. Колхозный тракторист.

Надо ж быть мальчишкой, кавалером.
Чтоб с такой улыбкой помереть.
Бабы его белым коленкором
Спеленали, будто он родился,
Мужики на белых полотенцах
Отнесли, наверно, в самый рай.

Брат мой, Саша, из пединститута
Раньше брал у дедушки фольклор,
А теперь сидит, тоскует, курит,
Повторяет: замять... синий цвет...

Так мы дедушку весной и схоронили.
День был серенький, но чей-то самолёт
Прозвенел над тополем, заврался...
Видно, летчик деревенский был и вот
С нашим дедушкой на небе повстречался.

* * *

Старый воин Николай
Из страны Дайяси
На хорошеньком коне
Ехал восвояси.

Сильный ветер бил в лицо.
Развевалась бурка,
А к седлу привязан был
Тонкогубый турка.
Спать ложились, а коня
В степь большую, голую...
Уходил он, наклоня
Золотую голову.

* * *

снег снег снег снег снег снег снег

это кажется метель пурга
всё уляжется уйдёт в снега
мёрзлый тополь отойдёт ко сну
в бесконечную свою страну

ешь откусывай хрусти вино
пока вьюги на Москве гостят
это мёртвые давным-давно
с неба девушки летят летят

Песня для кинофильма

Грустит собака. Грустные глаза.
Зелёные глаза. Над огородами
Подсолнухи потухшие. Роса.
Картошку уже выкопали. Продали.

Подруги за плетнями у да у
Да лодочница с горькими глазами
Мне встретится на быстром берегу
С большими довоенными слезами.

Грустит собака. Оные глаза
Набухли. Растопырились. Рехнулись.
Когда с войны вернулся я назад —
Собаки меж собой переглянулись.

* * *

Батюшки-светы, сватья Ермиловна,
Осень кидается в речку Сартык.
Кони колхоза имени Кирова
Стиснули конские рты.

Что рассказать? Возле почты — лыва,
В лыве корабль да пух петуха.
Жизнь поутихла, лицо уронила
В согнутый локоть стиха.

Наш председатель с лицом одиноким
Каждый день щупает рожь.
На потолке деревенском высоком
Бережно выступил дождь.

Там собирается в воздухе чистом
Рота родных журавлей:
Кончились летние русские числа —
Ладно, вожак, не жалеи.

Вот зарыдали они, зарыдали,
Вот позабыли меня.
Я догоню. Мне сегодня не дали —
Заняты оба крыла.

Завтра десятое августа. Осень.
Осень? Да нет же. Да осень же. Да.
Или почудилось вслед
..... и понеже
..... сильно-пресильно
..... всегда

* * *

Ещё не померкли цветы луговые,
А тополь с женою обнявшись идут,
И лошади бродят вокруг легковые,
Цветы непомеркшие бережно гнут.

Учитель с учителькой едут в тумане
(Крючков-Бархударов да Бойль-Мариотт)
Крючков-Бархударов смеётся на раме,
И крутит педали мсье Мариотт.

А вот показалась большая большая
Корова корова — звезда между рог.
Она наклонилась, телёнку читая
Зелёную книгу, зелёный лужок.

О чём ты так горько задумалось, лето?
Забьло на резкость поставить узор...
Стоит восклицательный флаг сельсовета,
Да школы неполной пронзительный взор

Напомнит, что в этом берёзовом корпусе
Есть время, и место, и род, и падеж...
Где милая мама, как в детстве... не в фокусе...
Даст хлеба два томика — с Пушкиным съешь.

учебное стихотворение

Отбросив две печали, две фрустрации,
Поглубже заглянув в стекло оконных,
Увидел я, как с побледневшей станции
Взглянули на меня огни вагонных.

Крестьянский поезд плавно приближается,
Цветами полевыми загружается,
Жена, свернувшись, спит в солдатской комнате,
А встанет, пусть заплачет, вы напомните.

Поэт стоглазый, спит твой дом трёхпалубный,
Возьми скорей во сне глагол неправильный,
Пока ты выключаешь свет берёзовый,
Спит девочка с тобой из книги отзывов.

Проснёшься — сразу видишь руки тонкие,
Глагол блеснит, вино летит в стаканы звонкие,
Она (пока ты пьёшь помятым хоботом)
Твою картину кормит светлым кобальтом.

Ну, что за голова — одни фантазии,
На службу мне пора, а я всё лазию.
Придумал про цветы, про книгу отзывов,
А там опять крестьяне грузят озеро в.

О, что я слышу — в нашем доме музыка!
Я б посмотрел, да щёлка очень узенька,
Неужто кто приехал в ночь дождливую?
И вот играет музыку счастливую...

Вставай, жена, бери свою гармонику,
А я возьму гитару семижильную,
Давай с тобой сыграем по двухтомнику
Про нашу жизнь с тобою факсимильную.

Наш домик, изготовленный мальчишками,
С кудрявою черёмухой под мышками,
С раздутыми на счастье занавесками —
Бежит к земле с большими перелесками.

Трёхпалубный, все части деревянные,
Из города сбежал, бежит полянами,
Наверно, пробирается на родину,
А мы ему давай споём Володину.

Гори, гори, грудное сердце русское,
Играй, играй, стихотворенье узкое,
А ты, поэт, завязывай, завязывай
И никому о счастье не рассказывай.

* * *

Небо над улицей Гоголя милое тёмное
десять ведь
Вечер чудесные свечи с вечера вздуты
у гордой Галины
Сессия?
Ой да не сессия
Ну так тогда именины

Мальвы наломаны
Мальвы наломаны
Розданы славные

Юлия Беломлинская
Лотерейный билет
 рассказ

Настоящий лотерейный билет я покупала в детстве, наверное, раза три. Может, пять.

Ничего не выиграла.

И никогда больше, ни разу лотерейного билета не купила.

Но это не значит, что я — неазартный человек.

Нет, я именно что — азартный человек.

Вот этот анекдот-притчу про Рабиновича, который молит Бога «помоги выиграть в лотерею!», а Бог сверху, не выдержав, кричит ему: «Рабинович, я помогу, но вы хоть раз купите лотерейный билет!!!» — я ее очень люблю. И я в нее верю.

Я все время только и делаю, что покупаю у Бога какой-то невидимый лотерейный билет.

Ну, нам-то с ним — отлично видимый.

И выигрываю.

Иногда по мелочи. Иногда крупно.

Проигрываю — тоже иногда по мелочи. Но чаще — крупно. И снова покупаю билет.

Главная лотерея моей жизни — это, конечно, любовь. Во всех видах.

Ну, в общем, понравился мне тут один... и это постоянно происходит.

Если говорить цинично, то я их, наверное, коллекционирую.

Но если говорить романтически — то я их люблю.

И вот понравился мне тут один.

Был он тут проездом. Прошлой зимой. И мы целовались.

Прямо на глазах у всего джаз-клуба «Шляпа».

Хорошо так целовались. А потом он уехал.

Уехал в свою Москву. А я его запомнила. И так начала о нем мечтать. Действительно.

Я написала ему в ФБ записку. Помнишь ли, мол, как мы с тобой замечательно целовались? И вообще — приезжай скорей назад, в Питер.

А он ответил, что пьян был и вообще ничего не помнит. И меня не помнит.

Об авторе | Юлия Беломлинская — художник-график, писатель, поэт. Родилась в Ленинграде в 1960 году. Окончила постановочный факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Работала книжным графиком, художником по костюмам в театре и кино. В 1989 году уехала в США. В 2001 году вернулась в Санкт-Петербург, где и живет по сей день. Член Союза художников России. Автор трех книг прозы и публицистики («Бедная девушка, или Яблоко, курица, Пушкин», «Любовь втроем», «По книжному делу») и книги стихов «Песни бедной девушки». Шорт-лист Григорьевской поэтической премии 2013 года. Проза переводилась на немецкий и английский языки.

И не могу ли я ему фотку выслать, что ли...

Вот так. Обидно, да?

Но я как азартный и несдающийся человек, послала ему тогда целый пакет своих фотографий в голом виде, и еще, ради него исключительно, отсканировала наконец свое портфолио — для работы в садо-мазном клубе, сделанное двадцать лет назад.

Такое, где я в каких-то латексах, с плеткой, сижу на троне среди черепов.

И стою в обнимку с дыбой и какими-то орудиями пыток.

И еще в обнимку со знаменитым хлыстом, который называется в садо-мазе «русский». Такая вся, в сапогах на шнуровке и в корсете.

В общем, сиськи и все как положено.

Дальше мы стали переписываться.

Я его очень все время звала снова приехать в Питер.

Но он все не ехал и не ехал...

И через год сама решила поехать.

Поехать в Москву на верхней полке плацкартного вагона.

Там хорошо и неклаустрофобно, и можно ни с кем не общаться.

И поселиться в дешевом хостеле. Зазвать его туда в гости...

Хостел меня, конечно, немного смутил.

Потому что там была такая комнатка метра два в длину. И один в ширину.

И там стояла железная кровать — нары. Ну, чуть пошире полки в плацкартном.

Я задумалась, конечно: как же на такой кровати, в случае чего?

Но я ж всегда жду, что на этот раз окажется выигрышный билет.

И самый мелкий выигрыш все равно подразумевает — хотя бы короткое соитие.

А крупный выигрыш — это уже дивная волшебная ночь, и потом еще, может быть, долгая роковая любовь...

И вот как же тут, на этих железных скрипучих нарах, в случае чего устроить дивную волшебную ночь? Я задумалась. Но потом сообразила: можно забраться вдвоем на верхние нары. Там над нами будет простор и высокий потолок. А если сверзимся в пароксизме страсти с этих нар, то, значит, судьба наша такая.

В общем, с помещением все было в порядке.

Но внешность моя через двадцать лет уже не имела никакого отношения к фотографиям из садо-мазного портфолио и этим меня смущала.

Я решила ее как-то подправить. У всякой женщины, рано или поздно, настанет пора, когда она должна в свою внешность серьезно материально вложиться.

И я это сделала. Я вложились.

Я пошла и купила в каком-то магазине — то ли «Элит», то ли «Этуаль» — несмываемую гипоаллергенную подводку для глаз фирмы «Клиник».

Это, на самом деле, бешеные деньги. Тыщца рублей. Но этого оказалось мало. Потому что, когда я нарисовала себе эти несмываемые полосочки на веках, выяснилось, что несмываемая подводка — она, сука, не смывается! Ни водой. Ни мылом.

Что к ней надо еще купить за 700 рублей специальную такую смывку для несмываемой подводки. В такой синей бутылочке. И я ее купила.

Потом взяла калькулятор и пересчитала свое вложение на доллары.

Вышло, что вложились я в свою внешность примерно на двадцать пять баксов.

Для меня это серьезные деньги.

И еще я похудела на пару килограммов для пушей уверенности.

Подготовка была завершена.

Я приехала в Москву и пригласила его на свидание.

В специальном красивом месте: на Тверском бульваре, у памятника Есенину.

Я в это время уже находилась на Тверском бульваре, в редакции у своих московских, а наших с ним общих друзей.

Они рекомендовали мне другое место, еще более романтическое: там же, на бульваре, есть дуб, посаженный самим Пушкиным. Уговаривали назначить свидание под этим дубом. У них была своя корысть: дуб был виден с их балкона.

Они, гады, хотели получить билет в первый ряд партера.

Для них Авшалом, поэт, писатель... «критик, публицист...» и все такое прочее, был одновременно и героем, и злодеем, в общем, личностью, к которой они, младшие товарищи, были неравнодушны.

По возрасту он был как раз между мной и этими ребятами.

И еще это имя... Да именно так его и звали: Авшалом.

И он гордился своим древним библейским именем.

У нас так не называют. Так называют у татов, или у горских евреев.

Он был как раз из горских. Он был бакинец.

Из тех, что покинули родной город, после того как там все это случилось...

Это, собственно, и была единственная, наша с ним точка схода.

Моя бабушка тоже была бакинка. Из вот такого двора.

Только не еврейка, а как раз именно что армянка. Карабахская.

И семья была в Баку в ту резню, 1918 года. А в эту, 1990-го, уже нет.

Как только армяне попросили Карабах, на каком-то пленуме, весь этот бабушкин клан сразу начал собирать деньги и менять квартиры.

Так велел самый старый дед, дядя Гайк.

Он, единственный, помнил ту резню 18-го.

Так что, когда там началось, наших там уже не было.

А евреи там оставались, и семья Авшалома тоже осталась.

И они видели... всякое.

А потом они уехали в Москву.

Вообще, по документам у него было какое-то обычное советское имя, типа Вадим.

Или Виталий. Но звали его все вот этим библейским именем.

Он был религиозный, как все эти горцы, бухарцы...

Я их называю «еврейские негры».

Мы, ашкенази, отличаемся от них примерно как белые и черные американцы друг от друга. Таты, горцы, крымчаки, бухарцы — это все наши черные.

Наши негры.

Они вообще-то в сто раз больше евреи, чем мы.

Они даже и в нашем поколении знают иврит, знают Тору, учат детей Пятикнижию.

Чего-то там соблюдают... Ну, по логике, они точно больше евреи, чем мы.

Мы-то ассимилянты.

Но мы все равно считаем, что настоящие евреи — это мы. Хоть и ассимилянты.

Но именно нас — Гитлер. Именно нас. А их — в общем, нет. Или просто не успел...

Одним словом, все звали его именно Авшалом. И никак иначе.

Московские ребята предупредили, что он опоздает на час.

— На сколько?

— На час. Ну, ко мне он обычно так опаздывает.

Это сказал Петя.

— Не... ну так не бывает...

— Бывает. С Авшаломом именно так и бывает. Ты хоть пожалей себя — там холодно.

Если договорились на пять, выйди туда хотя бы в полшестого, не раньше.

А вообще, если ничего не получится, ты приходи опять сюда. Мы сегодня пойдем в зоопарк.

— Я не люблю зоопарк. Там мучают зверей.

— Да нет, мы идем пить в зоопарк, в серпентарий. У нас там друзья. Они ночью дежурят. Будем всю ночь выпивать среди змей и песни петь под гитару. Словом, если ничего не выйдет...

Я задумалась. А как это «ничего не выйдет»? Что может не выйти?

«...а если дома заругают, ты приходи опять сюда...»

Я пришла туда в полшестого. И еще полчаса ходила вокруг Есенина.

Там было хорошо, вокруг Есенина на Тверском. Жарили шашлыки.

Торговали петушками жженого сахара и китайскими фонариками.

Я ходила там, звонила ему каждые пять минут по телефону.

Он говорил, что идет и уже рядом. Но не приходил.

«...она пришла — его уж нету, его не будет никогда!»

Потом пришел все-таки.

Я говорю: «Ты на час опоздал. У тебя совсем нет чувства времени».

А он говорит: «Да! Я такой!».

Помнится, с первым мужем я развелась из-за того, что он слишком часто произносил именно эту фразу.

Беременная на третьем месяце. И через десять дней после свадьбы.

Люблю, в общем, эту фразу.

Ну, все равно мы взяли за руки и пошли гулять по красивой, очень красивой Москве.

И кто скажет мне, что Москва некрасивая, тот ваще ничего не понимает.

Москва — дивная. Дивная такая, одна большая татарская Ордынка.

Москва своей красотой какой-то бесстыжей сразу захватывает и накрывает.

Ну, как приходом. Я от Москвы именно что пьянею.

Она, Москва, — такая. Он, Авшалом, — такой.

Может, поэтому они в итоге и не поладили...

А я? Нет, я не такая. У меня в кулаке зажат билет, тот самый.

Где вместо номера написано «Авшалом».

И я смиренно гуляю, взявшись за руки. И холодно, и руки мерзнут.

Он тащит меня почему-то в англиканскую церковь. Показать красоту.

А я видала такое сто раз. В Америке.

Потом идем по красивой какой-то улице. В знаменитую «Рюмочную».

Он рассказывает мне разные интересные вещи. А я почти все это знаю.

Просто потому, что живу на десять лет дольше его.

Но что-то рассказывает про Москву — чего я и не знаю.

В какой-то момент кажется, что все вообще хорошо и все идет по плану.

В «Рюмочной» я все-таки чувствую, что устала.

Устала быть такой смиренной и хорошей. И быть вдвоем.

Я говорю: «А пойдем в зоопарк? С ребятами пить в серпентарий?».

И он радостно соглашается. Может, он тоже устал быть хорошим и вдвоем?

Я придумываю, что мы пойдем сейчас пить в серпентарий.

А потом пойдем ко мне в хостел. И там будем ночевать.

Это все сразу озвучиваю. И он вроде не возражает.

Но зоопарк как-то не сложился. Ребята туда не дозвонились.

Потом мы ушли из знаменитой «Рюмочной» и пришли в знаменитую «Чебу-речную».

Там было отвратительно.

Там был гнусный попса-музончик, гнусный белый свет в лампах и окончательно гнусный визг тетки-подавальщицы, на ультразвуке такой крик: две порциипельменей!!!

Там мы встретились с Петей. Чтобы отдохнуть немного от этого нервного «вдвоем».

У Пети шла какая-то его, Петина, параллельная жизнь.

Зоопарк сорвался, и Петя обедал пельменями и собирался домой.

Мы болтали, шутили...

Я почувствовала, что мне уже стыдно и неловко перед Петей за то, что я тут с Авшаломом. И что он — какой-то дикий.

И что он дико одет в кожаную куртку, под которой синтетическая футболка.

И это как-то неприлично.

Петя-то был золотой московский мальчик, одетый, как положено, в какое-то правильное никак. В какую-то никакую курточку с капюшоном.

В незаметную, но правильную одежду.

А вот Авшалом был одет во все заметно-неправильное.

Стало как-то стыдно за то, что он мой парень... Которым он вовсе не был.

И когда Петя вышел покурить, Авшалом вдруг схватился за голову и застонал.

Сказал, что забыл дома ноутбук. А завтра — лекцию читать.

И сейчас он съездит быстро за ноутбуком домой, а потом мне позвонит.

Это был конец.

У меня-то чувство времени — отличное. Было около девяти вечера.

Я знала, что живет он на окраине. На окраине Москвы, прикинь?

Это не «Вятка — город маленький».

Ехать в одну сторону час как минимум.

Было ясно, что он от меня сбегает.

Что билет оказался невыигрышный и его можно разорвать и выбросить.

Ну, типа все.

Тут, если по уму, надо было попрощаться и уйти. Снять тему. Выбросить билет.

Но когда и кто так делал?

Когда и кто, поняв, что все кончено и дело не выгорело, благородно удалился?

Ни бабы такого не умеют. Ни мужики.

Все мы, человеки, как-то так устроены, что по уму у нас мало что выходит.

А все больше по сердцу.

По сердцу — я заметалась.

Засуетилась под клиентом.

Мне жалко было вот так взять и выбросить билетик.

Я ж приехала в Москву. К нему. Я рисовала полосочку.

Да и делать было нечего в Москве, в девять вечера... куда идти?

Просто идти в хостел, сидеть там и расстраиваться?

Петя идет к себе домой. А мне туда нельзя.

Мне нельзя ни к кому домой, потому что у всех хороших людей есть кошки или собаки.

А все мои друзья — хорошие люди.

А у меня аллергия на кошек и на собак. И мне нельзя никуда.

Можно только в «Дом 12». Или вот в Чебуречные-Рюмочные разные.

И я сказала: «Давай вместе к тебе съездим, а потом вернемся».

Он согласился. Мы поехали в московском метро — самом красивом на свете.

Ну, с этим-то уж никто не будет спорить?

Московское сталинско-кагановичевское метро — это просто сказка какая-то.

Все эти завитушки, все эти снопы колосьев...

Она вааащеее стильная, Москва, такая вот бредово-стильная.

Такая белогорячечно-стильная штучка.

И лужковщина влилась в этот стиль просто как родная...

Мы ехали в метро. Сперва с Петей. Стояли на эскалаторе.

Петя мне улыбался.

Пете я нравилась.

Я увидела себя в зеркало. Там, в «Чебуречной».

Я увидела такую очень даже миленькую нестарую дамочку в миленькой черной шляпке.

С идиотскими дорогостоящими полосками на веках.

Это придавало дамочке игривый вид.

Но глазами Авшаломы я тоже сумела на себя посмотреть.

Глазами кавказского парня сорока пяти годочков.

Если посмотреть его глазами — увидишь наглуемую старую шалаву.

Ну, можно и повежливей сформулировать: немолодую некрасивую распущенную бабу, с явно завышенной самооценкой.

Ужасно звучит. Даже «наглая старая шалава» звучит как-то получше.

Я очень ясно увидела себя его глазами.

И удивилась, насколько в моих собственных глазах выгляжу ну совершенно иначе.

Мы уже сидели в метро. Петя уехал по другой ветке.

Мы ехали в неведомое какое-то Гребенево Замоскворецкое...

Ни о чем не разговаривали.

Я привычно думала, как буду выбираться оттуда. Считала деньги.

Потом сказала: «Если ты меня завезешь далеко, а потом мы там застрянем и мне будет не вернуться... то учти — ты меня больше никогда не увидишь».

На эту фразу он вообще никак не отреагировал.

Было очевидно, что ему все равно, увидит он меня когда-нибудь еще или не увидит.

Он думал о чем-то своем, о завтрашней лекции. По какой-то там квантовой механике, которую он читал каким-то студентам, в каком-то техникуме...

О чем-то, вероятно, важном для него и совсем неважном для меня...

Через час мы доехали.

Вышли: Гребенево как Гребенево — все Гребеневы по всему миру одинаковы.

Я и сама в питерском Гребенево провела кусок жизни с года до тринадцати, то есть все, что называется детством...

Потом мы пришли в его квартиру...

И там оказалась такая дико неуютная жизнь.

Какая-то кочевая. Я такую жизнь видала много раз в Америке — у эмигрантов.

Я как будто вернулась снова в свою книгу «Бедная девушка».

Я бывала в таких квартирах в Бруклине и в Квинсе.

В них стоит дух неустроенности. Временности. Когда все чужое. И все неважно.

И вся жизнь, как будто временная, и скоро пройдет.

И мужик, к которому ты пришла, настолько живет своими, очень серьезными проблемами, что ему, по-любому, не до тебя.

Ты, в принципе, можешь тут остаться, и, может быть, вы даже трахнетесь.

И тебе даже может это понравиться, но для него это будет лишь одной формой онанизма — ну да, есть и такой вариант онанизма — толкать в живую бабу.

И не потому, что ты чем-то плоха, а потому, что степень нелюбви к собственной жизни так велика, что никакая баба не поможет.

Я увидела, что тут, в этом доме, идет непрерывная драма, в которой я никак не могу поучаствовать.

Я ему сказала: «Ну вот ты дома...».

А он ответил: «Тут я нигде не дома. Мой дом в Баку».

И я бы подумала, что это — такая рисовка.

Непрененно подумала бы, если бы сама все это когда-то не пережила.

Вот именно это — «не дома».

Ровно так я чувствовала себя в Америке.

Но мне было куда вернуться.

А ему некуда. Нет того Баку и той страны.

Ему — некуда именно так, как было некуда вернуться русским эмигрантам той, первой волны. «Белогвардейцам»...

У него такой свет в комнате — серый, наверху... заброшенное все какое-то...

И большая кровать.

На которой, он сказал, иногда ночуют девушки.

И я тоже могу тут остаться ночевать.

Но если мне так обязательно надо в мой хостел, то он меня проводит до хостела.

Но потом вернется, потому что ему завтра вставать к девяти утра.

Это было вот такое: «...если вам все равно, то конечно, давайте...».

А у меня на такое всегда ответ: «...если вам все равно, то пожалуй, не стоит...»

Это припевы из щербаковской песенки...

Я не знаю, что было бы, если бы я там осталась.

Или если бы мы поехали на метро назад...

Он стал показывать мне какие-то, в его понимании, интересные вещи.

Старинные бронзовые вазы и плошки, серебряные вилки и ножи с вензелями, сломанные старинные часы с мертвой кукушкой...

Все это выглядело таким... Ну, ужасно жалким — как в книге.

Как в настоящей, хорошей книге. Как у Достоевского.

Потому что это были какие-то отдельные части исчезнувшего, разоренного дома.

Места, где все это было на месте... вот такие вещи-сироты, вещи-бомжи.

Очень плохо находиться внутри настоящей, хорошей книги.

Авшалом оказался абсолютно серьезный и трагический персонаж.

Дико талантливый. Осознающий это. И совершенно разрушенный.

И цепляющийся за обломки разных культур, которые ползут, как оползень, за них не удержишься...

Ну, в общем, я пробыла там минут двадцать, и мне захотелось бежать.

Именно раз и навсегда убежать.

И забыть саму идею каких-то близких отношений.

Я вызвала такси, и оно приехало через три минуты.

Я еще позвала его со мной поехать, проводить меня. Я его уговаривала.

Сказала: «Ну поехали, я тебя хоть как-то приласкаю...».

Но он сказал, что нет, не поедет со мной, завтра вставать рано и голова болит, посадил меня в это такси, спросил еще раз, точно ли я хочу уехать, — но факт приехавшего такси был так очевиден.

А у меня было желание быстро-быстро вырваться из этого дома.

Вырваться из хорошей книжки.

В том числе и из моей хорошей книжки «Бедная девушка».

Плохо мне жилось когда-то внутри этой, еще ненаписанной книжки.

И не хочу я никогда больше туда возвращаться...

Вот так... Рядом с ним я такая... буржуазка...

И всегда была.

Даже когда я была несчастна и писала эти песни трагические.

Все равно и в двадцать лет я бы не полюбила такого. И Ван Гога я бы не полюбила.

Все мои монстры и кащеи — это такие «хорошо упакованные безумства...».

Последний, в кого я влюбилась, был модный писатель.

Я почти всегда в кого-нибудь влюблена.

Если не влюблена — то непременно мечтаю влюбиться.

И придумываю себе каких-то персонажей. Как в театре.

Но периодически из этого ничего не выходит.

А жалко. Был красивый костюм и грим. Шапочка и полосочка на веках.

И красивая декорация: Москва — Тверской бульвар.

Но я как-то быстро оказалась за кулисами, в чулане...

И убежала обратно в театр. В освещенный зрительный зал.

В «Дом 12». Туда пришла моя любимая подруга.

И можно было сидеть в кресле, есть крем-брюле и рассказывать подруге всю эту драму.

А мимо ходили знакомые художники-поэты и говорили: «Привет, Юля...».

И все это был мир уюта, успеха и благополучия.

Эдакое Крем-брюле.

А для Авшаломы — я непонятное животное.

С которым непонятно как себя вести.

Одно из непонятных животных, привычно окружающих его в непонятной чужой стране.

И то, что мы оба — евреи, возможно, показалось ему какой-то ниточкой, связующей...

Но это — фальшивая ниточка.

Я давно это знаю. Фальшивая, потому что мы оба — русские.

Мы — имперские русские.

Он из одной части Империи, я из другой.

Он — из имперской колонии. Я — из имперской столицы.

Еврейство — это так, одна из меток... одна из красок огромной разноцветной Империи.

И кажется, что роднит, — но нет, ни хрена не роднит...

В общем, этот очередной невыигрышный билет разорван, и клочки его летят в лужу...

Но зато я целый год хранила этот билетик, как некое предчувствие приключения.

Целый год была влюблена. Мечтала...

Опять не вышло.

Но я по-прежнему придумываю себе, что, может, еще разок, в последний раз влюблюсь...

А потом еще разок.

Наверное, я все-таки буду покупать эти билеты до самой смерти.

И никогда Бог не скажет мне, сердито высунувшись с небес:

— Рабинович, ну хоть раз купите лотерейный билет!

Я-то у него всегда, снова и снова — покупаю.

Авшалом... Авшалом.... Вадик или Виталик... Эх!

Олег Хафизов

Райсуд

рассказ

Ордынский не любил судилищ. Несколько часов томления ради того, что можно скопировать из готового решения, не стоили грошового гонорара за эту автоматическую работу. Но завершающий день того процесса в Заречном районном суде был настолько любопытен, что на него стоило сходить и вне службы, как на спектакль.

Ордынский активизировал транслятор потиранием точки над гайморовой пазухой около носа, поморгал, выбирая нужный канал и настраивая резкость изображения, и проверил связь, как обычно, мысленно произнеся: «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять, процесс над историческими преступниками, проверка связи». Зашли судьи, похожие на факиров в своих лиловых мантиях, публика шумно поднялась, расселась, и Ордынский начал мысленный комментарий происходящего, еле слышно бормоча себе под нос по устаревшей привычке от тех времен, когда журналисты еще передавали свои сообщения вслух.

Он городил, как обычно, первое, что приходило ему в голову, не особенно заботясь о форме репортажа. Ведь его сообщение сначала поступало на искусственный мозг редактора, а затем еще проходило несколько инстанций, проверок и исправлений, прежде чем дойти до искусственных мозгов аудитории. Так что, несмотря на мгновенную передачу информации через встроенные устройства «мозг в мозг», процесс этот получался довольно громоздким и медленным из-за тугодумия редакторов. Новости попадали в искусственные мозги населения порой на следующий день после события и даже через несколько дней, еще медленнее, чем в глубокой древности, когда их печатали и продавали на бумажных листах, и им не очень доверяли, как и в глубокой древности.

— Подсудимый выглядит самым обычным человеком, — бормотал Ордынский. — На вид ему примерно от пятидесяти пяти до шестидесяти лет. Спортивен. Худощав. Лицо восточного типа, но довольно узкое и приятное. Взгляд умный, самоуверенный и насмешливый, смотреть ему в глаза трудно. Таких лиц сейчас не бывает. Одет в обычную современную одежду — темно-серый костюм, светлую рубашку, галстук. Впрочем, мне кажется, что эта одежда его стесняет, порой он как-то егозится и тербит воротник рубашки, словно ему хотелось бы чего-то более свободного, например халата. Судья и члены суда обращаются к нему по имени-отчеству — Темучин Есугеевич — очевидно, потому, что Чингисхан — это не имя или фамилия, а что-то вроде титула.

Судья приступила к бесконечному чтению дела чуть ли не от зарождения монгольского народа, а Ордынский тем временем вводил аудиторию в курс дела, напоминая предысторию процесса.

Об авторе | Олег Хафизов — постоянный автор «Знамени». Предыдущая публикация — рассказ «Ясная осень» (2014, № 12). Живет в Туле.

Серия международных судов над историческими преступниками стартовала после того, как ученым удалось воссоздать достоверную действующую копию человека — египетского фараона Тутмоса — по фрагментам его мумии. По инициативе правительства Израиля и международной общественности фараон был признан виновным в преступлениях против человечества, насильственной депортации еврейского народа, эксплуатации и попытке геноцида. После длительного процесса и научной экспертизы, несмотря на энергичные протесты египетского правительства, Международный трибунал пришел к выводу, что воссозданный фараон является преступником, совершившим указанные злодеяния, без срока давности. Фараон был обезглавлен в прямом эфире. Его тело аннигилировано без возможности последующего клонирования.

За этим первым международным судом последовали процессы над другими великими историческими деятелями, правителями и полководцами, которых удалось вырастить по остаткам скелета, пучку волос или, как в случае с Оливером Кромвелем, даже по комочку окаменелого кала. Страсти вокруг исторической оценки этих личностей первое время бушевали, доходя даже до уличных беспорядков, но, как бы то ни было, каждый раз неизменно побеждала точка зрения большинства мировой аудитории: каковы бы ни были отдельные достоинства или достижения великих тиранов и завоевателей прошлого, они ни в коем случае не оправдывают их жестокостей.

Кромвеля обезглавили тем самым способом, каким был казнен король Карл Первый. Всех руководителей первого большевистского правительства во главе с оживленным телом В. И. Ленина загнали в подвал исторического здания в Екатеринбурге и уничтожили тем самым чудовищным способом, каким была казнена царская семья. Наполеон был со всеми положенными почестями расстрелян взводом кремлевских grenадер. Александр Македонский растоптан индийским слоном. Цезаря повторно, и на этот раз окончательно, закололи перочинными ножами специально обученные палачи в римских тогах. Тела оживленных и повторно уничтоженных тиранов после казни аннигилировали при такой температуре, которая приводила генетический код к полному разрушению и абсолютно исключала воссоздание преступника в будущем.

Прямые трансляции исторических процессов пользовались первое время огромным успехом, их комментаторы становились популярными, как футбольные обозреватели, подписка на каналы, передающие судебные репортажи, приносила огромные прибыли. Но все прекрасное рано или поздно кончается. Когда стало ясно, что процесс всегда приводит, в общем-то, к одному результату, а различаются лишь способы казни да ее антураж, большинству искусственных мозгов стало в конце концов наплевать, какую очередную пададь смогут раскопать и оживить дотошные ученые. И как именно ее повторно прикончат гуманные судьи. В конце концов исторические процессы стали настолько многочисленными и привычными, что крупные суды перестали справляться с их потоком, и заседания стали переносить в заштатные районные филиалы, такие, как наш Заречный суд, напоминающий, скорее, зал ожидания задрипанного вокзала беспилотного транспорта, чем храм исторической справедливости.

Прокурор демонстрировал публике страшные орудия убийства монгольских завоевателей: кривую саблю, стрелу и копье, предоставленные для этой цели археологическим музеем.

— Такой вот саблей монгольские всадники наносили ужасные удары и уколы своим жертвам, после которых следовали тяжелые увечья или смерть. Вот...

Прокурор взял со стола лист бумаги и, сложив его пополам, разрезал лезвием сабли. Затем он показал зрителям копье и стрелу со словами:

— Можете мне поверить, что и они острые, как бритва. Бр-р-р...

Прокурор передернул плечами.

Переводчик переводил на древнемонгольский:

— Темучин Есугеевич, признаете ли вы, что этими предметами ваши подчиненные наносили удары и уколы людям по вашему прямому распоряжению?

Чингис-хан посмотрел на прокурора не без иронии. В его узких глазах сверкнули искорки, и он внушительным хрипловатым баритоном бросил несколько слов переводчику.

— Нет, — последовал перевод. — Этими предметами моя жена Бортэ мешала плов.

Кто-то из журналистов фыркнул. Судья постучала молотком по столу.

— Признаете ли вы, что по вашему прямому указанию были разграблены и уничтожены Самарканд, Бухара и другие города?

— Разве их больше нет? — удивился Чингисхан. — Если они есть, значит, я их не уничтожил.

— Отвечайте на вопрос, Темучин Есугеевич. Правда ли то, что во время штурма некоторых городов вы гнали перед колоннами ваших войск военнопленных, прикрываясь ими, как живым щитом?

— *C'est la guerre*, — отвечал Чингис без переводчика. За годы расследования, проведенные в заключении, он, как говорят, успел выучить несколько современных языков и проштудировать горы военной литературы, включая и собственные жизнеописания.

— Верно ли, что вы применяли смертную казнь за нарушения дисциплины и трусость среди своих воинов?

Чингис подумал. Когда он наклонялся к уху переводчика, на его непроницаемом лице промелькнуло что-то вроде усмешки.

— На самом деле я дарил им букетики фиалок, — отвечал переводчик.

С галерки, где расположились студенты юрфака, раздавалось сдавленное ржание, которое было пресечено стуком молотка. Ордынский не сомневался, что именно этот ответ, придающий репортажу хоть какую-то оригинальность, как раз и ликвидируют его тупоумные начальники.

Речь защитника не заключала в себе ничего любопытного и нового. Адвокат напомнил, что Темучин Есугеевич, по свидетельству современников, не был от природы злым человеком. Невозможно оправдать жестокость его завоеваний, но следует иметь в виду, что конечной их целью было установление всеобщего миропорядка, который мы наблюдаем сегодня. Его военные преступления, несомненные сами по себе, были значительно преувеличены мусульманскими и западными историками в политических целях. Чингисхан внедрил в военную, политическую и экономическую жизнь своего времени целый ряд полезных нововведений. А главное — перед нами на скамье подсудимых сегодня не ужасный завоеватель и тиран, а просто пожилой, усталый человек, который глубоко раскаивается в содеянном, приносит свои искренние извинения потомкам погибших и готов искупить свою вину полезным трудом на благо общества. Например, в должности преподавателя строевой подготовки в кадетском училище имени Дмитрия Донского.

— Правильно я говорю, Темучин Есугеевич?

Чингис подумал и произнес какое-то слово, перевод которого с древнемонгольского означал примерно:

— Коровий бубенчик с языком из навоза.

Суд удалился на совещание, чтобы огласить приговор через час. Времени было достаточно, чтобы пропустить пару кружек пива и проверить ставки на тотализаторе в баре «Нюрнберг», имеющем лицензию на этот вид бизнеса. В тот самый день, когда в нашем городе шел процесс над Чингисханом, в Измаиле

должны были огласить приговор князю Суворову-Рымникскому. И хотя даже по самому месту проведения процесса результат был более чем предсказуем, участникам игры предлагалось в графе «виновен» выбрать несколько вариантов наказания: «работа на галерах», «расстрел», «повешение», «отсечение головы». Галеры можно было даже и не принимать во внимание, но и выбор оставшихся вариантов был не так прост, как на первый взгляд.

— Ну, что с Чингисом? Ставим на перелом позвоночника?

Перед Ордынским нависла косая фигура, в которой можно было с трудом распознать Артура Позорова по прозвищу Позор, бывшего звездой шоу «Последний читатель» до того, как телевидение было окончательно заменено прямой передачей образов в мозг.

«Сейчас попросит на пиво», — подумал Ордынский и вспомнил, что забыл отключить искусственный мозг после репортажа.

Прочитав его мысли, Позоров нарочито заржал и театрально поклонился ему в пояс. Ордынский потер переносицу с мысленным кошельком и сбросил на счет Артура небольшую сумму, как раз на пару кружек.

— Ну, как тебе Чингис? — справился, подсаживаясь, Позоров.

— Мощный мужик. Теперь таких нет, — отвечал Ордынский.

— А что если это вовсе не Чингисхан, а актер театра юного зрителя города Улан-Удэ Архыз Кулюмжинов?

— Не может быть, таких лиц не бывает в наше время.

— В глубинке еще бывают. Я сам родом из Улан-Удэ и рос на его спектаклях. Особенно «Тугарин-Змей», где он исполнял роль Калин-царя, нравился улан-удэнской детворе. Я лично ходил на него раз пять — а ты мне будешь рассказывать сказки. Рассказывай их своей целевой аудитории. Не спорю, примерно до Навуходоносора процессы шли по-честному, а теперь — сплошная туфта. Кому, как не Позорову, знать это? Через час твой Чингисхан плюхнет в беспилотник и полетит в свою Тмутаракань хлебать кумыс. Больно надо было тратить деньги на воскрешение каждого мракобеса! Ты знаешь, сколько сегодня стоит клонирование целого человека по одному фрагменту сустава? Его ведь из пальца высосали?

Ордынский, как все журналисты (но не все их клиенты), был наслышан о подтасовках, которые якобы имели место в последних, чисто коммерческих процессах суда истории. Он то верил в них, то не очень — в зависимости от гонорара, настроения и степени опьянения. Но сейчас ему неприятно было слушать похмельную болтовню Позорова, который изрекал гадости, как большинство журналистов в свободное от работы время, просто так, по привычке и для того, чтобы показаться более умным, чем на самом деле.

— Даже если это и на самом деле так. Предположим, что это действительно так, — возразил Ордынский, брезгливо отодвигаясь подальше от смрадного коллеги, который, как нарочно, придвигался к нему во время разговора все ближе и ближе. — Все равно суды истории имеют огромное значение и меняют наше общество к лучшему. Теперь каждый генерал, каждый президент или премьер-министр десять раз задумается, прежде чем отдать приказ о начале боевых действий.

— Как раз наоборот, — Позоров зажал левый глаз ладонью то ли для того, чтобы у него в глазах перестало двоиться, то ли читая какое-то сообщение мысленной почты. — До тех пор, пока мы откапываем и судим мертвецов, живые мерзавцы могут быть спокойны: до самой их смерти до них очередь точно не дойдет.

— Зато и за гробом их ждет возмездие! — Ордынский воздел палец с таким пафосом, что на него покосились мужчины с соседнего столика.

— Да и за что их казнить, эту срань? — Артур хмелел на глазах и размахивал руками. — Они и на преступление как следует не способны. Перевелись гении и злодеи с тех пор, как отменили размножение половым путем. Тамерланы не рождаются в пробирке.

— Какая разница, как именно рожден человек? — хмурился Ордынский, которому по заданию редакции приходилось воспевать законопроект об отмене натурального размножения. — Что дает эта ваша натуральность: дополнительные расходы, риск для здоровья, опасную лотерею при выборе партнера? Секс-то, слава Богу, пока никто не отменял.

— Да какой это секс? Бесконтактный!

Позоров устало махнул рукой. Этот бывший секс-символ и плейбой международного масштаба теперь напоминал, скорее, распухшую больную старуху.

— Фельдмаршал князь Суворов-Рымникский по приговору районного суда города Измаила Одесской области приговорен...

Посетители притихли.

— К бессрочным работам на симуляторе каторги «Галера».

— Подстава! Договорной процесс! — завопили мужики.

Проиграли все. Страшно было даже подумать, какая сумма досталась тому, кто знал об исходе суда заранее.

Мозг Ордынского щелкнул и подключился к каналу редакции.

— Прохлаждаешься? — угрожающе произнес редактор, к счастью, не подключенный к главному видеоканалу, на котором отображалась пивная.

— А в чем дело? До оглашения еще минут десять.

— А в том, что Чингис задушил охранника, побил голову судье молотком и изрубил саблей половину журналистов. По всем каналам уже это дали:

ЧИНГИСХАН С САБЛЕЙ НА УЛИЦАХ ГОРОДА!

Павел Нерлер

Осип Мандельштам: рождение и семья¹

РОЖДЕНИЕ

*Я рожден в ночь с второго на третье...
О. Мандельштам*

День рождения

37-летний скорняк-ремесленник Эмиль Вениаминович Мандельштам и 23-летняя девица Флора Осиповна Вербловская сочетались законным браком 19/31 января 1889 года в российско-курляндском городе Динабурге².

В ночь со среды на четверг — со второго на третье, или, по новому стилю, на 15 января 1891 года, в Варшаве у них родился первенец-сын — Иосиф, будущий поэт Осип Мандельштам.

В Варшаве день выдался непогожим — снежным и ветреным.

А чем дышала тогда планета? Какими событиями была взволнована?

Из газет этого дня узнаем, например, о недавнем (1 января) разрешении от бремени — сыном Константином — великой княжны Елизаветы Маврикиевны («Ведомости Московской городской полиции»). С этим сверстником судьба сведет поэта уже через год-полтора в Павловске — маршруты их гувернанток и колясок запросто могли пересекаться на аллеях бескрайнего и слегка запущенного парка.

А у русского посла в Берлине дан был в честь Шарлотты Прусской, наследной принцессы Майнингенской, обед. Стол был сервирован на 21 куверт, а главным гостем был сам германский Император Вильгельм II, апостол миролюбия и пламенный борец за всеобщее разоружение (sic!).

А если где еще и торжествовала воинственность, то разве что в Чили — там, говорят, ожидалась революция: конгресс требовал отставки президента Бальмаседы, а правительство стягивало к Вальпараисо войска.

А вот и чисто российские прелести — длиннющий список виновных в нарушении правил регистрации домовладельцев: в основном это похитатели режима черты оседлости, с указанием величины наложенных штрафов.

¹ Главы из книги «Собеседник. Жизнеописание Осипа Мандельштама», готовящейся для издания в издательстве «Вита-Нова». Благодарю Б. Басса, С. Василенко, Л. Жукова, Д. Иткину, В. Левина, Г. Смирину и А. Шнеера за помощь и консультации. В круглых скобках в тексте приводятся ссылки на следующие источники: Мандельштам О. Собрание сочинений в 4 томах. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993–1997 (том и страницы арабскими цифрами); Мандельштам Н. Собрание сочинений. в двух томах. Редакторы-составители: С.В. Василенко, П.М. Нерлер, Ю.Л. Фрейдлин; Екатеринбург: Гонзо (при участии Мандельштамовского общества), 2014 (НМ, том и страницы арабскими цифрами). ЕЭМ — Мандельштам Е.Э. Воспоминания / Публ. Е.П. Зенкевич. Примечания А.Г. Меца // Новый мир. 1995. № 10. С. 119–179.

² Позднее Двинск, затем и ныне Даугавпилс (Латвия).

Интересно, что в Большом в этот вечер давали оперу композитора А. Серова «Юдифь» (из уважения к царице-еврейке режим оседлости на нее не наложили), а в цирке Соломонского (легал или нелегал?) — большое представление дрессировщика Фредерика: 25 кошек, 20 крыс, 20 мышей и 4 канарейки!

А вот суворинское «Новое время» от души порадовало читателей и полным текстом поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», и задушевым разговором о еврейском засилье в России: жиды, объяснял Петр Евгеньевич Астафьев, ну абсолютно бесполезны в «духовной экономии народа русского».

«Воронежские губернские ведомости» сообщали о визите Наследника Цесаревича в Бомбей, где тот был «встречен торжественно, принял участие в процессии на слонах через весь город, в течение дня посетил магараджу и затем отбыл на тигриную охоту». Он же, «глубоко сочувствуя мысли о сооружении в Москве памятника Н.В. Гоголю, назначил вклад в 1000 рублей из собственных денег».

Бедный младенец великий князь Константин! Несчастный отрок Николай Александрович — Наследник Цесаревич! Первого, вместе с двумя братьями, большевики убьют обухом топора 18 июля 1918 года и сбросят в заброшенную шахту близ Алапаевска. А накануне в Ипатьевском доме в Екатеринбурге расстреляют и бывшего Цесаревича (он же отрехнувшийся Царь-Император), и нового — отрока Алексея.

...На Осипа Мандельштама ни пуль, ни топоров не тратили. Его жизненный путь — не менее гибельный — оборвется 27 декабря 1938 года и как бы сам по себе...

Год рождения

Итак, Мандельштам родился 15 января 1891 года на самом западном конце огромной Российской империи — в Варшаве, а умер, вернее, погиб — на самом восточном ее краю — под Владивостоком, на полпути до Колымы.

Дата его рождения имеет провиденциальное значение. Тысяча восемьсот девяносто первый год — год депортации евреев из Москвы и Ростова-на-Дону и начала первого массового исхода евреев из России (главным образом в США и Палестину). И сложись судьба Осипа Эмильевича (вернее, его родителей) иначе, и он мог бы угодить в Америку чуть ли не в возрасте пленашки.

Но отец его был ремесленником (кожевенником, перчаточником) и цеховым купцом (экспортером кож), и это избавляло его, его жену и, до совершеннолетия, сыновей из тисков законодательства об еврейской оседлости. В результате семья хотя и переехала, но не так радикально: из Варшавы в Павловск, а из него — в Санкт-Петербург, столицу империи.

Так и там началась жизнь этого необычайно подвижного применительно и ко времени, и к пространству человека, которому суждено было еще «намотать» десятки тысяч вольных и невольных километров.

Место рождения

Символично, но с самого рождения не только пространство, но и время как бы разрывало Мандельштама на части!

Он, кстати, был не вполне точен, когда писал о рождении в ночь «января, со второго на третье». Он появился на свет именно в ночь с 14-го на 15-е, поскольку в Варшаве, где это произошло, уже действовал григорианский календарь, принятый в большинстве стран, но не в России.

Ту эпоху — 1890-е — Осип Эмильевич обозначил как глухие годы России: их медленное оползание, их болезненное спокойствие и тихая заводь — последнее убежище умирающего столетия.

Точные метрические записи о рождении поэта, несмотря на все поиски, обнаружены не были. Вероятней всего, они погибли в Варшаве в годы Второй мировой, как и большинство материалов гражданского состояния за 1891 год. Единственный

установленный адрес, связанный с семьей Мандельштамов, — это адрес Менделя Мандельштама, торговца, проживавшего в Мурануве, одном из еврейских районов Варшавы, на ул. Налевки (Nalewki), дом 19³.

Сын ремесленника и купца первой гильдии, Мандельштам жил с родителями вне черты оседлости и никогда ни в каком местечке не был.

Но гипотетически и местечко могло стать и его судьбой...

Да и помнил ли Мандельштам вообще хоть как-то родной город, который он оставил в годовалом примерно возрасте? Едва ли...

Тем более что там он не задержался — в 1892 году семья переехала в аристократический и дворцовый Павловск. Следующей станцией его детской «урбанистической карьеры» стал уже сам Санкт-Петербург, торжественный и великолепный.

Но именно в столице Мандельштам со временем и встретился с «местечком» — и всерьез. Произошло это в доме Бориса Синани, в годы первой русской революции, где Иосиф познакомился с одним крайне необычным человеком. В нем — в Семене Акимыче Ан-ском⁴, «родном человеке» в доме Синани, сутулившемся «от избытка еврейства и народничества», — в нем одном «помещалась тысяча местечковых раввинов — по числу преподанных им советов, утешений» и т.д. Блестящий представитель еврейства, он и в Мандельштаме, возможно, всколыхнул уснувшую в нем родовую «местечковую» память.

Имя рождения

Первенец, родившийся в семье перчаточника и купца Эмиля-Хацкеля Мандельштама, был наречен Иосифом — в честь отца матери⁵. Уже этот дед, Овсей (Евсей) Азриэлович Вербловский, по-видимому, знал муки раздвоения между изначальной и русифицированной версиями своего имени, о чем отчетливо говорит отчество матери: Флора Осиповна.

Оба имени сосуществовали рядом, но постепенно «Осип» все больше оттеснял «Иосифа», хотя «Иосиф» время от времени возникал и в более поздние времена, в последний раз, кажется, в 1913 году⁶. Иосифом его устойчиво именовали полиция в

3 Степень родства Менделя и Эмиля Мандельштамов не прояснена. Также не прояснено и родство с Элией Мандельштам (1887–1957), матерью известного польско-еврейского врача-нейрохирурга Ежи Шапиро (1920–2003), похороненной в единственной могиле на Варшавском еврейском кладбище, где встречается эта фамилия.

4 Ан-ский Семен Акимович (настоящее имя Раппопорт Шлойме-Зейнвил Аронович; 1863–1920) — русско-еврейский писатель и драматург, сочетавший в себе, по словам Мандельштама, «еврейского фольклориста с Глебом Успенским и Чеховым». В 1880-е гг. проповедовал народнические идеи. В 1890-е гг. — жил за границей, был личным секретарем философа-народника Петра Лаврова. Стал одним из организаторов эсеровской партии. В России в начале XX в. сотрудничал с одним из «провозвестников» первой русской революции Гапоном. После 1905 г. занимался просветительской деятельностью, сбором еврейского фольклора в черте оседлости, решая задачу «спасения» и «созидания» еврейского народа.

5 К этому времени он, по всей видимости, умер, ибо у евреев не было принято называть детей в честь живых предков.

6 Практика двойного — «иудейского» и «христианского» — держания имен была узаконена для деловой документации Циркуляром Министерства финансов № 608 от 19 января 1889 г.: «Ввиду неудобств, проистекающих на практике вследствие воспрещения евреям именоваться в торговых документах теми христианскими именами, по коим они известны в обществе, м-вом финансов по соглашению с м-вом внутр. дел признано возможным, чтобы при внесении евреев в торговые документы именами, показанными в их метрических свидетельствах, проставлялись в скобках и те имена, коими они пользуются при торговых сношениях» (Гимпельсон Я.И. Законы о евреях: Систематический обзор действующих законоположений о евреях с разъяснениями правительствующего Сената и центральных правительственных установлений. Ч. II. Пг., 1915. С. 685; цит. по: Сальман М. Осип Мандельштам: Годы учения в Санкт-Петербургском университете (по материалам Центрального государственного архива Санкт-Петербурга) // Russian Literature. Vol. LXVIII. 2010. Nr. III–IV. P. 473).

своих справках и внутренней переписке, а также администрация Санкт-Петербургского университета.

Дома же его все звали Осей — сразу и уменьшительная, и русифицированная форма: именно так, «Ося», подписаны самые первые из дошедших до нас писем поэта, датированные 1903 годом. Интересно, что его младшие братья получили имена уже однозначно русские — Александр и Евгений.

К 1909 году Ося уже достаточно подросток, чтобы называться отныне — в переписке с коллегами и в периодике — Осипом, а в переписке с инстанциями даже Осипом Эмильевичем (но в переписке с родными — отцом, братьями и женой — Мандельштам так и остался Осей). Его первая подборка в «Аполлоне» была подписана, как и все его последующие книги, — «О. Мандельштам».

А вот «русифицировать» фамилию, то есть брать себе звучный и, главное, не царапающий ничье ухо псевдоним, Мандельштам не стал. Все его за жизнь псевдонимы, — а это «Фитиль» 1906 года и «О. Колобов» 1924 года, — сугубо разовые и технические. А если надо было уйти в тень, то не для того ли у человека инициалы?

Поразителен сам по себе тот гигантский эмансипационный прыжок, который в считанные годы совершил Осип, он же Иосиф, Мандельштам. У большинства даже на бытовую эмансипацию уходило поколение, а Осип Эмильевич из отцовского немецко-русского безъязычья шагнул в величайшие русские поэты, «кое-что изменившие в строении и составе» всей русской поэзии!

Так что пришлось миру поморщиться и скривиться, но привыкать и привыкнуть к этой «фамилии чертовой»: Ман-дель-штам!⁷

СЕМЬЯ

Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь.

О. Мандельштам. Шум времени

Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рождения, — а между тем у нее было что сказать. Надо мной и над многими современниками тяготеет косноязычие рождения. Мы учились не говорить, а лепетать — и, лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык.

О. Мандельштам. Шум времени

У всех людей есть родственники. К моему удивлению, родственники обнаружились и у Мандельштама, который всегда мне казался отдельным человеком, плюс беспомощный и милый брат Шура.

Н. Мандельштам. Вторая книга

Жагоры, родовое древо

У самой границы нынешних Литвы и Латвии, на пути из Риги в Шяуляй, расположились Жагоры — полугород-полуместечко Шавельского уезда Ковенской губернии⁸. Собственно, Жагор было две — Старые и Новые Жагоры, и между ними —

⁷ Но не счесть при этом вольных или невольных искажений: «Мендельштам», «Мондельштам», «Мандельштамп» и др.

⁸ Ныне Жагаре в Ионишкском районе Литвы. О еврейской жизни в Жагорах см. в: Žagare / Cohen-Mushlin A., Kravtsov A., Levin V. a.o. *Sinagogues in Lithuania N — Ž. A catalogue. Vol. 2. Vilnus, 2012. P. 371–381.*

живописная речушка Швете. В Старых, по переписи 1897 года, проживало 1629 евреев из 2527 жителей (65%), в Новых — 3814 из 5602 (68%).

Кого только среди выходцев из Жагор не было! И знаменитый ортодоксальный раввин Исраэль Салантер (1810–1883), и еще более знаменитый чаеоторговец Зеев Высоцкий (1824–1904), и идишский писатель Янкель Динесзон (1856–1919), и физик-атомщик Исаак Кикоин (1908–1984)!

Одно из множества еврейских местечек — довольно крупное, но ничем особенно не примечательное: каменные дома, ярмарка, размеренный ортодоксальный быт, местечковая замкнутость. Особенности? — не локального, но общеприбалтийского свойства: историческое тяготение ко всему немецкому (в память о своих корнях и в пику всему русскому) и ощутимая предрасположенность к Гаскале (еврейскому Просвещению), что косвенно результировалось и в интересе к реформистскому иудаизму.

В 1858 году в Новожагорской общине, членом которой был и 7-летний тогда Эмиль, имелось порядка двадцати семей с фамилией Мандельштам⁹. Почти все более или менее известные Мандельштамы, если копнуть, — выходцы из Жагор.

Согласно легенде, все Мандельштамы — потомки некоего ювелира и часовщика, в середине XVIII века приглашенного в Курляндию герцогом Эрнстом Иоганном Бироном и осевшего, по-видимому, в Жагорах¹⁰.

Романтизируя свой род, Осип Мандельштам уповал на то, что его предки — потомки сефардов, в конце XV века бежавших в Голландию и на север Германии из Испании от преследований Изабеллы Кастильской. Правда, типично ашкеназскую фамилию Mandelstamm (или, по-немецки, «Миנדальный ствол») пращур, согласно легенде, взял себе только в Курляндии, заменив ею, в ознаменование *vita nova*, свою прежнюю, древнееврейскую¹¹.

В «интересе» к сефардам прочитывалась совершенно иная «генеалогия» — литературная: прочитав в Воронеже в переводе Валентина Парнаха стихи испанских и португальских поэтов — жертв инквизиции, поэт ощутил с ними самое глубокое внутреннее родство.

Современные интернет-технологии позволили продвинуться в исследовании и реальной генеалогии поэта. Так кто же он — этот корневой Мандельштам, этот «праотец», этот, поверим легенде, ювелир-часовщик?

Разные генеалогические сайты указывают в качестве родоначальника на разных людей. Но очень уж похоже, что им является Мендель Мандельштам, родившийся около 1700 года. Ко времени избрания Бирона герцогом Курляндским в 1737 году был он в расцвете сил, так что переезд его вместе с сыновьями Хацкелем (ок. 1730–?) и Гиршем (1732–1820) весьма правдоподобен. Место же их нового жительства выдают места рождения внуков и правнуков Менделя — аккурат Жагоры! Внуки — это дети Хацкеля Иегуда-Лейб (1753–?), Мендель (1762–?) и Тевель (ок. 1765–?) и дети Гирша — Иосиф (1772 — не ранее 1858) и Хацкель (1778–1831).

9 Баранова Г., Беляускене Р. *Леон и Осип из династии Мандельштамов (по документам Государственного исторического архива Литвы) // Евреи в меняющемся мире. Материалы 4-й международной конференции. Рига, 20–22 ноября 2001. / Под ред. Г. Брановера и Р. Фербера. Рига, 2002. С. 82.*

10 Л. Кацис вводит в контекст истории рода поэта легенду о том, что по мужской линии он восходит к известному талмудисту XII в. Раши, а через него к царю Давиду (Кацис Л. *Русское слово на земле Израйля. Из еврейских комментариев к биографии и творчеству О. Мандельштама // Еврейский книгоноша. М. — Иерусалим: Мосты культуры. 2003. № 4. С. 61–68*). *Изыскание и обретение глубоких, вплоть до праотцев, библейских родословных ассоциаций — прием нередкий, но редко убедительный.*

11 Ср. у Н.Я. Мандельштам рассказ о случайно встреченных ялтинских родственниках (кстати, часовщиках) — обладателях родового генеалогического древа Мандельштамов. *Выписывая квитанцию, часовщик «... ахнул, услышав фамилию, и побежал за женой. Оказалось, что она тоже Мандельштам, и семья эта считается “ихесом”, то есть благородным раввинским родом. <...>. Старуха никак не могла добиться от Мандельштама сведений о той ветке, из которой он вышел. Мандельштам даже не знал отче-*

Веточка, ведущая к Осипу Эмильевичу, протянулась через Иегуду-Лейба Хацкелевича к Зунделю Иегуда-Лейбовичу (1795–?) — прадеду поэта. У последнего было еще двое старших братьев — Хацкель (1773–1854) и Лейзер (1779–?). А вот у Зунделя было больше всего потомства в этой ветви — шестеро: четверо сыновей — Лейб (1816–?), Мендель (1826–?), Беньямин (1831 — не ранее 1909) и Хацкель (1838–1853) и еще две дочери — Лея (1820–?) и Хая (1833–?).

Дедушка поэта — Беньямин Зунделевич Мандельштам — первый в роду, о ком известны его специфические занятия, — и это характерные едва ли не для всей ветви обработка, выделка и сортировка кож плюс торговля ими: *«Отец часто говорил о честности деда как о высоком духовном качестве. Для еврея честность — это мудрость и почти святость. Чем дальше по поколениям этих суровых голубоглазых стариков, тем честнее и суровее. Прадед Вениамин¹² однажды сказал: “Я прекращаю дело и торговлю — мне больше не нужно денег”, ему хватило точь-в-точь по самый день смерти — он не оставил ни одной копейки»* (2, 363).

Вместе с бабушкой, Мерэ Абрамовной (1832 — не ранее 1909), они жили в Жагорах, где родились все четверо их сыновей. Двое старших — Эмиль-Хацкель и Лейб, — соответственно, в 1851 и 1854 гг., а двое младших — Гирш (Герман) и Зундель — в 1868-м и 2 февраля 1869 гг.

С дедом же кончается эволюция и начинается революция в жизни этого колена Мандельштамов: прочь из родного местечка! Ни он сам, ни его сыновья, все родившиеся в Жагорах, там уже не остались. Словно бы полуторавековая ледяная глыба, подтаяв по неприметной снаружи трещине, с треском оторвалась от своего материкового основания и, влекомая течениями, покачиваясь, поплыла в океан — мир иной и куда более подвижной, текучей стихии. Произошло это предположительно на стыке 1870-х и 1880-х годов: прощайте, Жагоры, прощайте навсегда!

Итак: Осип Мандельштам и его братья — это седьмое поколение в мандельштамовском роду и первое внежагорское!..

Отец

В конце концов, всякая семья государство...

О. Мандельштам

Эмиль Вениаминович (Эмиль-Хацкель Бениаминович) Мандельштам родился в Новых Жагорах в 1851 году¹³. Детство его и юность легкими не назовешь. Учился в еврейской начальной (религиозной) школе — хедере, но, заинтересовавшись германской литературой и философией, самостоятельно выучил немецкий язык. Его личное германофильство в разы превосходило среднежагорское: любовь и верность своим «немцам» — писателям и философам — он пронес через всю свою жизнь, так что русская гимназия никакого особенного интереса для него не представляла.

В Жагорах он, несомненно, задыхался, так что вырваться из этого полугородка-полуместечка — так или иначе — стало его мечтой. Отсюда и семейная легенда:

ства своего деда. Старики пригласили нас в комнату за лавкой и вытащили из сундука большой лист с тщательно нарисованным генеалогическим деревом. Мы нашли всех — переводчика Библии, киевского врача, физика, ленинградских врачей, жену часовщика и даже деда и его отца. Мандельштамов оказалось ужасно много, гораздо больше, чем мы думали» (НМ. 2, 514; физик — это, очевидно, академик Леонид Исаакович; ленинградские врачи — дантист Александр и гинеколог Мориц Эмильевичи).

¹² Но прадедом был Зундель.

¹³ Согласно паспорту, выданному ему 19 апреля 1878 г. на основании книги записей Шавельской городской думы. А согласно данным свидетельства о рождении старшего сына — в 1852 г.

чуть ли не в 15-летнем возрасте — в видах продолжения образования — он убежал из дома в Берлин.

Но если решимость бежать и даже сам побег еще можно себе вообразить, то жизнь в чужом и столичном городе без денег и без родни — уже нет: местечковому мальчишке это просто не по зубам.

Возможно, все было немного прозаичней, и отец отправил старшего сына на берега Шпрее с тайной надеждой на то, чтобы тот вернулся назад раввином, первым в их роду? Такие случаи были, и нередко, — например, Санкт-Петербургский раввин Дабкин, который и записывал младших Мандельштамов в свою книгу.

Но почему тогда именно в Берлин? Если даже не местный, жагорский, бейт-мидраш¹⁴, то почему не мощные и знаменитые, к тому же институционально первые оформившиеся, ешивы¹⁵ в Вильно, Воложине или Мире? Почему не раввинские институты в Вильно или Житомире?

Может быть, дело в осознанной и потому особо притягательной ауре реформизма? Оставаться в лоне традиции и одновременно соответствовать духу времени? Такой симбиоз вполне мог показаться соблазнительным после застывшей, неизменной и не терпящей дискуссий жизни жагорской общины.

Берлин в еврейском образовании был своего рода Оксфордом — знаком высшего качества, при этом гарантирующим на порядок более широкие знания, в том числе и пласты светской учености. При этом он предоставлял и выбор: для тяготеющих к еврейской ортодоксии (а если и с тягой к реформированию, то к минималистскому) существовал Rabbinerseminar Азриэля Хильдесхаймера (коротко — Раввинская семинария), а для тяготеющих к собственно реформизму — Hochschule für die Wissenschaft des Judentums (Университет еврейских наук)¹⁶ — детище Абрама Гайгера, реформиста, изначально ориентирующееся на уровень немецкого университета и формально открытое для представителей любых течений внутри иудаизма и даже для не-евреев.

Надо сказать, что оба «вуза» открылись почти одновременно — в 1872–1873 гг. Слух об этом облетел еврейский мир быстро, но какое-то время слуху все же требовалось для распространения. Так что вряд ли отправка Эмиля в Берлин состоялась раньше 1875 года. А если так, то ему тогда было не 15, а скорее уж все 25 лет!

Но честолюбивая мечта мандельштамовского деда не сбылась! На свободе, вдалеке от семьи время уходило не на Тору, а на Шиллера, Гете, Гердера и других Dichter und Denker*. Когда это дошло до Жагор, то Берлин пришлось отставить. Блудным сыном — с горящими глазами и пунцовыми от стыда щеками — Эмиль возвратился на круги своя, в лоно мишпухи¹⁷ и семейной профессии.

Между тем и мишпуха не сидела на месте. Пока Эмиль в Берлине грыз то, что он грыз, родители с братьями перебрались в Ригу, где и осели на полтора поколения, покуда старшие сыновья — Лейб, а вместе с ним (или, скорее всего, за ним) и Эмиль — не покинут и Ригу.

Несостоявшемуся раввину, как и несостоявшемуся философу, пришлось признать поражение и, отставив амбиции и мечты, выучиться самому близкому и земному — ремеслу перчаточника и сортировщика кож. Но его собственные традиционность и консерватизм оказались уже основательно размыты Берлином, Гаскалой и наивно-классическим еврейским желанием избавить детей от всех бед и трудностей, выпавших на родительскую долю. Поэтому он заранее и с пониманием относился к тому, что его дети выберут какие-то иные дороги и пройдут по ним. Но гнетущий стыд блуд-

* *Поэтов и мыслителей* (нем. — прим. ред.)

14 Отдельное от синагоги место для изучения Торы.

15 Своего рода еврейские религиозные университеты, в которых изучался Талмуд и готовились раввины.

16 Оба учебных заведения просуществовали до 1938 г.

17 Несколько более широкое, чем семья, понятие: еврейский клан.

ного сына, возвратившегося без «золотого руна», точнее, ожог от собственного фиаско, зарубцовываясь, как бы переносился на еще не рожденных детей — особенно на старшего, прорезаясь в них непонятными им самим моторностью и зудом новизны.

Ремесленником же Эмиль-Хацкель оказался крайне способным и удачливым. В 1878 году он был «командирован» в Санкт-Петербург в приказчики у Охтенского Гильдии купца Шлезингера сроком на один год (по 20 апреля 1879 года включительно) для изучения кожевенного дела¹⁸. Роста он был не богатырского — 2 аршина и 3 вершка (что соответствует 157 сантиметрам), с темно-русскими волосами и карими глазами, рот и нос — умеренные, подбородок средний; особых примет не имел. Предъявив свой паспорт новожагорца для регистрации еще 19 апреля, разрешение на проживание от градоначальника он получил лишь 9 октября 1878 года.

Непорядок, конечно, зато и восвояси к 20 апреля 1879 года приказчик Мандельштам не заторопился. Одно место в «Шуме времени», — а именно рассказ отца о «конспиративной молочной лавке на Караванной, откуда подводили мину под Александра» (2, 361), — заставляет предполагать, что задержался он самое меньшее до царевбийства (а оно случилось 1 марта 1881 года), если не дольше. Но при новом царе сами порядки по отношению к евреям почти не изменились, а вот соблюдение их резко устрожилось.

Так что в 1881 или 1882 году Эмиль Вениаминович вернулся в Ригу, а оттуда вскоре переместился в Динабург (Двинск). Именно в этом городе 19 января 1889 года состоялось его бракосочетание. В пригласительном билете на свадьбу, написанном от имени родителей молодых, можно было прочесть: «Покорнейше просим Вас пожаловать на бракосочетание детей наших Флоры Осиповны Вербловской с Эмилием Вениаминовичем Мандельштамом, имеющее быть в Динабурге 19 сего Января в 1 час дня». Эмилю Вениаминовичу Мандельштаму было тогда 37 лет, а его невесте, Флоре Осиповне Вербловской, — 23 года¹⁹.

Сохранилась большая, за восемьдесят пять лет пожелтевшая бумага — аттестат, выданный 27 февраля 1891 года Динабургской ремесленной управой, подтверждающий факт «присвоения звания» мастера перчаточного дела «с присовокуплением вспомогательного ремесла сортировщика кож», выданный «по указу Его Императорского Величества». В подтверждение этого Эмиль Вениаминович приобрел специальный именной штемпель для маркировки кож.

Согласно примечанию к аттестату, «каждый ремесленник обязан на основании 370, 468, 469 ст<атей> Уст<ава> ремесл<енного> и промысл<енного> изд<ания> 1887 г. при переходе своем в другое место жительства, т. е. в город или местечко, заявить Ремесленной Управе для получения увольнительного свидетельства на выезд». Этим Эмиль Вениаминович явно пренебрег, если вспомнить время и место рождения его первенца.

Уже в 1890 году, если не в 1889-м, молодые сменили берега Даугавы (Западной Двины) на берега Вислы и оказались в Варшаве, где уже закрепился средний брат Лейб. Здесь, как следует из свидетельства, выданного 2/14 января (sic!) 1891 года, родился их первенец — Осип, любимец и гордость родителей. В свои молодые годы отец, по рассказам Осипа, был вполне общительным, рассказывал о своей юности, о родителях, братьях. Детям он хотел дать все, о чем мечтал и чего лишен был сам, в первую очередь — университетский диплом, этот еврейский пропуск в самостоятельную и культурную жизнь в большом городе, лучше всего в столичном.

Что ж, заложить основу жизни детей, дать им образование и поставить на ноги было в его власти, но ровно настолько, насколько успешным будет его скорнячко-

18 Право такое определялось Высочайше утвержденным 28 июня 1865 г. мнением Государственного Совета.

19 Возраст отца Е.Э. Мандельштам указал, согласно данным, приведенным в свидетельстве о рождении Мандельштама. Однако более достоверные сведения о возрасте Э.В. Мандельштама — в его паспорте, выданном 19 апреля 1878 г. на основании книги записей Шавельской городской думы, — 27 лет; таким образом годом рождения Э.В. Мандельштама следует считать 1851 г.

купеческое дело. И тогда вчерашний романтический философ обернулся энтузиастом-трудоголиком, ставшим настоящим кормильцем: «Все силы и время отца поглощала работа. А с возрастом — вероятно, из-за ненормального режима дня и питания — отец стал часто болеть. Его одолевали мигрени, боли в желудке. Придя домой, он закрывался в кабинете и весь вечер лежал. В доме говорили вполголоса, все реже слышался смех, еще реже музыка» (ЕЭМ, 123).

В результате Эмиль Вениаминович попал в классическую отцовскую западню: обожая детей, не щадя себя ради их благополучия, он со временем практически устранился от их воспитания и от радостей семейной жизни. Он не ходил с ними в театр или на прогулки, он даже почти не разговаривал с ними, а если и разговаривал, то не переставал пребывать в какой-то своей угрюмости. Сыновья, в свою очередь, в штывы принимали его педагогические и душеспасительные инициативы, такие как изучение древнееврейского языка и посещение синагоги. Старшие от подобной размолвки страдали мало, — уже один их возраст придавал им иммунитет в этом отношении. А вот младшему, Жене, отцовского внимания не доставало.

То обстоятельство, что, начиная с февраля 1891 года, отец поэта имел аттестат мастера-ремесленника и звание купца I гильдии, фиксировалось в книгах гильдий, содержащих сведения об адресе, уплате налогов и о членах семьи. О принадлежности к определенной гильдии выдавалось свидетельство. Подразумевалось, что у купца I гильдии за душой как минимум 50-тысячный капитал. Этот статус давал ему право не только на розничную и внутреннюю, но и на оптовую и внешнюю торговлю.

Но главной привилегией в пакете пряников, которую давала евреям эта самая «первая гильдия», было **правожительство**, то есть право безусловного повсеместного проживания, в том числе вне черты оседлости. Однако были и еще рогатки: согласно Высочайше утвержденному 16 марта 1859 года мнению Государственного Совета, воспользоваться этим правом и приписаться в купечество I гильдии вне черты можно было не ранее чем через пять лет. Если переселившийся еврей-купец переставал платить гильдии, то он должен был вернуться в черту. Право безусловного жительства, вне зависимости от уплаты гильдейских сборов, наступало после десяти лет легального проживания за чертой. Впрочем, аттестат мастера-перчаточника и сортировщика кож делал это ограничение для Эмиля Вениаминовича неважным: как признанный ремесленник, он мог переселяться за черту хоть в 1891 году²⁰.

Но в любом случае право это не было наследным, так что детям предстояло решать ту же самую задачу заново: сыновьям — до наступления совершеннолетия, каковым тогда считалось достижение 21 года, а дочерям — выходом замуж за людей с правожительством. (У Осипа, таким образом, критическим был бы уже январь 1912 года, в конце которого ему было бы самое время упаковать свои вещи и перебраться в Жагоры.)

Об Эмиле Вениаминовиче мы знаем, что официально он закрепился в Петербурге в 1896 году (может быть, даже в 1895 году). А в 1892 году, еще до рожде-

²⁰ Согласно закону 1855 г., в число правомочных входили также купцы первой гильдии, врачи, советники коммерции и мануфактур, солдаты, отбывшие воинскую повинность по рекрутскому уставу, кантонисты, аптекарские помощники, дантисты, фельдшеры и повитухи, а также ремесленники (портные, шапочники, ювелиры, часовщики, стекольщики, кожевники, красильщики, кондитеры, пивовары, слесари, переплетчики, кузнецы, каменщики, камнетесы, плотники, штукатуры, садовники, мостовщики (с точки зрения закона к ним приравнивались и... проститутки). Ремесленник должен был представить документ о знании дела и свидетельство о несудимости. Власти следили за тем, чтобы ремесленники не уклонялись от своей профессии: в противном случае их ждало выселение в течение суток. Все они имели право проживать в городах вместе с членами семей и постоянной прислугой из евреев.

ния второго сына, Александра²¹, семья покинула Варшаву и переехала в Павловск²².

С точки зрения закона, нахождение в Павловске требовало точно такого же статуса, что и в Петербурге. Но казенного раввина в Павловске не было, так что, когда Шура родился, запись об этом делали в ведомстве петербургского казенного раввина.

В 1898 году появился на свет и третий сын — Евгений²³, первый «чистый» петербуржец в семье. Семья в это время снимала квартиру в старом петербургском доме на Офицерской улице²⁴, над цветочным магазином Эйлерса.

Совсем рядом, на углу Офицерской и Торговой (и в двух шагах от Мариинского театра!), располагалась столичная хоральная синагога. *«Синагога была не гигантской, но и не маленькой, современной архитектуры и большого впечатления не производила: куполообразная крыша, массивная, широко распахнутая входная дверь...»*²⁵

С нею у всех мальчиков (особенно у старших) было связано переживание, посвоему связанное и с музыкой. В строгом религиозном ритуале большое место занимали песнопения, да и канторами в синагогу приглашали только самых лучших оперных певцов²⁶. Молитва тем самым превращалась в концерт (ЕЭМ, 125).

Женя, как, впрочем, и мать ходили туда исключительно для проформы, чтобы сделать приятное отцу. А старшие манкировали, как только могли. Конформистская пошлость молебнов за здоровье императорской фамилии — той самой, что заставляла общину совершать эту пошлость, — была непереносима. С другой стороны, когда в жизни Мандельштама наступил один из самых критических моментов — час номинального, но крещения, — она, вынужденная пошлость, послужила ему если не примером, то подспорьем.

Отцу, как в свое время и деду, конечно же, хотелось приобщить к своему делу кого-либо из сыновей. Двое младших даже иногда помогали ему вести деловую переписку — *«снимая копии с писем на папиросной бумаге с помощью огромного допотопного пресса, стоявшего в углу кабинета»* (ЕЭМ, 122). Осип же и этого не делал никогда!

С нескрываемым отвращением писал он в «Шуме времени» и о «черствой обстановке торговой комнаты» — кабинета отца, и о всепроникающем запахе дубленой кожи: *«Сначала я думал, что работа отца заключается в том, что он печатает свои папиросные письма, закручивая пресс копировальной машины. До сих пор мне кажется запахом ярма и труда проникающий всюду запах дубленой кожи, и лапчатые шкурки лайки, раскиданные по полу, и живые, как пальцы, отростки пухлой замши — все это, и мещанский письменный стол с мраморным календариком, плавают в табачном дыму и обкурено кожами»* (2, 354–355).

Между тем, работая не покладая рук, отец накопил определенную сумму и задумался о расширении гешефта. Первая мировая, казалось, только задувала в его паруса. 23 ноября 1915 года, приложив чертежи, он подал в Строительное отделение Петроградского губернского правления покорнейшее прошение о разрешении ему открыть крошечный кожевенный заводик на станции Белоостров Финляндской железной дороги (по адресу: Рутгодосский проспект²⁷, д. 6).

21 А.Э. Мандельштам родился 23 сентября 1892 г.; в том же году семья Мандельштамов поселяется в Павловске, а в 1896 г. переезжает в Петербург.

22 Перепись 1897 года зафиксировала за чертой оседлости в Европейской части России (без Сибири и Средней Азии) около 128 тысяч европейских (без бухарских и кавказских, но с крымчаками) евреев: это менее 3% всего еврейского населения империи.

23 Е.Э. Мандельштам родился 30 апреля 1898 г., в доме по ул. Офицерской, 17.

24 Теперь улица Декабристов.

25 Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать... Из мемуарного и эпистолярного наследия. В 2 тт. Т. 1 / Пер. с идиша М. Лемстера. Под ред. В. Хазана. Иерусалим, 2011. С. 388–389.

26 Многие христиане посещали синагогу из-за голоса кантора Звулуна Квартина (1874–1953). Квартин эмигрировал в 1919 г.

27 Другое название: Земская дорога.

Белоостров, между прочим, — станция пограничная: западнее была уже не совсем Россия, даже совсем не Россия, а Великокняжество Финляндское.

Шла война, и всякое начинание обязано было иметь патриотический крап или хотя бы флер. В данном случае предлагалось силами 10–15 рабочих изготавливать на заводике — для военных, разумеется, нужд — лайковую кожу для шоферских курток и перчаток. Предполагаемая годовая производительность — около 40 тыс. руб., расход дров — 8 кубосажений в год, а воды, около 50 ведер в день, с последующей очисткой ее в трех емкостях и сбросом в реку Сестру²⁸.

Это не было строительством на голом месте, отнюдь! Речь шла всего лишь об аренде уже существовавшего производства у некоего финского или, скорее, шведского партнера по фамилии Нильсон. Человек уже пожилой, был он женат на особе более молодой — «бальзаковского» возраста. Эмиль Вениаминович — бес ему в ребро! — увлекся фру Нильсон, да с такой пылкостью, какую уже не ждешь от 65-летнего мужчины. Каким-то образом это стало известно семье, и взаимная раздражительность, и без того провоцировавшая конфликты и испытывавшая семью на прочность, усилилась еще более.

В декабре 1915 года прошение господина Мандельштама было рассмотрено губернским инженером, после чего были затребованы дополнительные сведения, а на 27 февраля 1916 года был назначен осмотра завода Комиссией под председательством фабричного инспектора 4-го участка И.А. Неудачина. В протокол осмотра были вписаны постановления комиссии: улучшить имеющуюся вентиляцию, исправить стоки для воды, обеспечить бытовые условия рабочих, приобрести домашнюю аптечку, два огнетушителя, две приставные деревянные лестницы. Буде все это выполнено, писал 4 марта старший фабричный инспектор Петроградской губернии М. Семенов, то «к удовлетворению ходатайства Э.В. Мандельштама с моей стороны препятствий не встречается».

Но 26 апреля все пошло прахом: управляющий отделом промышленности Министерства торговли и промышленности просителю строго отказал! В письме Петроградскому губернатору он сообщал, что ввиду загруженности Петроградского района²⁹ его превосходительство министр удовлетворить означенное ходатайство затруднилось, о чем просило просителю объявить через полицию под расписку, вернув подлинный проект и поручив полиции блюсти, чтобы названный завод в действие допущен не был. В тот же день Петроградский уездный исправник получил предписание о прекращении действия завода и расчете рабочих, за исключением 6 человек, оставленных для окончания уже начатых выпусков кож, что ожидалось в первых числах июля-месяца.

Но Эмиль Мандельштам не смирился, он ходатайствовал и дальше и... победил! 19 октября управляющий отделом промышленности Министерства торговли и промышленности написал Петроградскому губернатору о том, что его превосходительство министр признал возможным отменить состоявшийся по настоящему делу отказ и предоставил просителю испрашиваемое разрешение. Причины? Во-первых, означенное ходатайство было возбуждено до публикации министра торговли и промышленности о недопущении в Петроградский район во время войны устройства новых и расширения действующих фабрично-заводских предприятий, а, во-вторых, предприятие это небольшого размера, двигателей не имеет, а топлива (дров) требует всего-то 8 куб. сажений в год³⁰.

28 См. дело «О рассмотрении проекта кожевенного завода Э.В. Мандельштама по Рутгодосскому проспекту, д. № 6 на ст. Белоостров, чертежи» (ЦГИА СПб СПб. Ф. 256. Оп. 33. Д. 371). На л. 20 — цветной план предполагаемого кожевенного завода.

29 Незадолго до этого министр (В.Н. Шаховской) издал приказ о недопущении во время войны устройства новых и расширения действующих фабрично-заводских предприятий в Петроградском районе.

30 ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 33. Д. 371. Л. 38.

Одержанная победа не произвела фурора и не принесла радости. Соответствующий окончательный протокол был препровожден Эмилю Мандельштаму только 9 января 1917 года, то есть через год с лишним после подачи прошения и полгода спустя после смерти жены³¹. К этому времени руки его совершенно опустились. Ну, а еще через полтора месяца грянула Февральская революция. Временное правительство окончательно разорило Эмиля Вениаминовича: постановлением его от 21 апреля 1917 года вся промышленная кожа конфисковывалась в пользу государства.

После смерти матери отношения между отцом и сыновьями до крайности напрялись. Все мальчики обожали мать и, вероятно, с юношеским максимализмом осуждали отца за фру Нильсон и винили его в преждевременной кончине матери. Младший порвал с отцом и съехал от него, старшие еще некоторое время продолжали жить с бабушкой, Софьей Григорьевной, и отцом на его иждивении.

Весной 1917 года Эмиль Вениаминович окончательно разорился. Когда умерла теща, он ликвидировал последнюю общую квартиру на Каменноостровском, распродал ставшую ненужной мебель, а остатки, включая книжный шкаф, письменный стол и кресло с дугой и рукавицами (с надписью: «Тише едешь — дальше будешь»), перевез в свое последнее съемное жилье на Петроградской стороне, на Большой Спасской.

Тогда-то и у старших братьев началась взрослая жизнь: Ося снял комнату на Песочной, недалеко от Жени, а Шура устроился у друзей.

Женя продолжал сердиться на отца, причем настолько, что даже не пригласил его на свадьбу. Но воздадим младшему должное: именно он, женившийся раньше всех братьев, взял отца в свою семью. Во второй в жизни раз обстоятельства Эмиля Вениаминовича заставляли вернуться его в «лоно семьи» — на этот раз семьи Евгения, о которой еще будет сказано.

Но даже еще не родившийся тогда внучек, Юрка, позднее вспоминал, что дед так и не нашел правильного тона в общении с детьми. Весь день он пропадал в своей комнате или уходил по своим стариковским делам куда-то, появлялся к обеду и всегда просил налить ему «супу погорячее, с самого доньшка»³².

Жертва не социалистической, а буржуазной революции, Эмиль Вениаминович все же остался в отрасли, но вынужденно переменил род деятельности: кожевенным сырьем он занимался до самой старости, выступая экспертом или посредником между заготовителями и производителями. Сохранились его «мандаты» и «удостоверения» 1920-х годов, свидетельствующие о его активной работе: в 1922 году — по заготовке конских хаз³³ для нужд Красной Армии, в 1921 (или 1931 — неразборчиво) году — по сортировке сырья на обувной фабрике «Скороход», в 1925 году — в качестве сырьевщика на заводе «Коминтерн» на кожевенной линии.

Тогда же индивидуальная его предприимчивость, подстегиваемая законным желанием иметь самолично заработанные карманные деньги, прорыла себе неожиданное русло. Он стал крупным изготовителем и поставщиком кусок для обуви³⁴, пользовавшихся спросом среди чистильщиков всего Васильевского острова. Все бы ничего, но мастерил он свои куски из... твердых переплетов книг, стоявших или

31 ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 33. Д. 371. Л. 39–48.

32 Мандельштам Т. *Студенческая артель в Белом Валу* // «Сохрани мою речь...»: Записки Мандельштамовского общества. [Т. 14.] Вып. 4. [Ч. 1]. М.: РГГУ, 2008. С. 112–119.

33 *Плотная часть конской шкуры с крупа лошади* (Морковкин В.В., Морковкина А.В. *Словарь агнонимов (слова, которые мы не знаем)*. М., 1997. С. 388; указано Р. Тименчиком).

34 *Специальные подкладки под пятки, сделанные из картона или кожи и используемые тогда, когда задник обуви натирает ногу или когда обувь мала и требуется слегка удлинить стельку. Чтобы повышение пятки происходило плавно, эта подкладка «в профиль» скошена, откуда и название.*

лежавших за зеленой тафтой. Заметили это не сразу, так что немало добротных фолиантов серьезно пострадало.

Где-то в середине 1920-х гг. в деде³⁵ проснулась забитая, но не забытая мечта юности — философия, и он сел за трактат на общебиологическую тему, каковой писал по-немецки: «Фрагменты его немецкой, трудночитаемой рукописи заинтересовали Осипа, и он пытался их расшифровать. Правильно замечание Оси в письме к отцу, что смолоду он не понимал его и относился к отцу чисто потребительски. Не помню, чтобы в те годы брат читал бы отцу свои стихи. Созрев, переживая трудные годы, испытал на себе травлю, провозглашение его “внутренним эмигрантом”, Осип особенно ценил возможность более близкого общения с родными, особенно с отцом. С годами у них находилось все больше общих интересов».

В конце жизни оба — и отец, и сын — испытали ренессанс взаимной теплоты, привязанности, любви и интеллектуального влечения друг к другу. В письме отцу от декабря 1932 года Мандельштам писал: «Я все больше убеждаюсь, что между нами очень много общего именно в интеллектуальном отношении, чего я не понимал, когда был мальчишкой. Это доходит до смешного: я, например, копаюсь сейчас в естественных науках — в биологии, в теории жизни, т. е. повторяю в известном смысле этапы развития своего отца. Кто бы мог это подумать?». Младший брат писал о старшем: «...Взамен отчужденности и полного отсутствия интереса к духовному миру отца, пришло глубокое, возрастающее с годами желание большей близости».

«Мечтой Осипа и отца было их объединение. Но его так и не удалось осуществить» (ЕЭМ, 171). Но тут надо сказать, что между братьями постоянно возникали споры на тему, кому содержать отца, с кем и у кого ему жить. Поскольку старшие не слезали с мели, то дед так и прожил до смерти на попечении младшего. Старшие помогали — только деньгами и только тогда, когда таковые у них заводились. Иногда дед выбирался в Москву, останавливаясь то у Шуры в Старосадском, то у Оси — на Якиманке, Полянке или в Нащокинском.

С годами дед стал все чаще замыкаться в себе, впадать в угрюмство и раздражительность, все чаще болел. На фотографиях 1934 года он и его старший сын выглядели не как отец с сыном, а как братья.

11 июля 1938 года — в больничной грязи и в отчаянном одиночестве — 87-летний Эмиль Вениаминович Мандельштам умер от рака. Но простилась с «дедом» одна Надежда Яковлевна: тот радовался снохе и плакал, сетуя и возмущаясь старшим и непочтительным сыном, все не едущим к нему, даже к умирающему!..

Об Осинном аресте старику не сказали.

Книжный шкаф как геном

Книжный шкаф раннего детства — спутник человека на всю жизнь. Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой литературы. Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкапу, никогда не протиснуться в мировую литературу, как в мирозданье. Волей-неволей, а в первом книжном шкапу всякая книга классична, и не выкинуть ни одного корешка.

О. Мандельштам

Речь отца и речь матери — не слиянием ли этих двух питается всю долую жизнь наш язык, не они ли слагают его характер?

О. Мандельштам

В том же табачном дыму плавал и тонул еще один предмет обстановки отцовского кабинета: задернутый зеленой тафтой книжный шкаф.

35 Так домашние звали Эмиля Вениаминовича.

Для старшего сына — то ли Joseph'a, то ли Осипа — он стал чуть ли не классической былинной развилкой: направо пойдешь?.. налево?.. или, может быть, справа налево?..

Шкаф был многоязычным: книги и фолианты на древнееврейском, на идише, на немецком и на русском языках. В еврейско-немецко-польско-литовском обиходе семей его родителей русский язык был безоговорочно самым изгойским и маргинальным, отчего он невольно обретал статус острова наибольшей свободы.

Рижские дедушка с бабушкой дотянулись в своем русскоязычии до одногоединственного и вопрошающе произносимого слова: «покушали?». Другая родственница, тетя Иоганна Копелянская, родом откуда-то еще из Прибалтики, говорила по-русски с немецким акцентом и, сидя в кресле и раскладывая пасьянс, делала это примерно так: «Жени-Жени, ты хочешь чай с молока или без молоком?».

Да и сам Эмиль Вениаминович был человеком не русской, а немецкой языковой культуры. По-немецки вел он свои грессбухи и деловую переписку, по-немецки писал свой философский трактат. Находя в нем признаки «прирожденного мыслителя — смеси талмуда и немецкой философии», Екатерина Лившиц (жена Бена Лившица) аттестует его как «старого еврея, плохо говорящего по-русски»³⁶.

Но — плохо говорить по-русски и говорить по-русски с еврейским акцентом — не одно и то же. Сколько раз и мне приходилось слышать великолепную русскую речь, но... с сильнейшим жаргоном! Такой акцент, безусловно, одна из разновидностей той знаменитой мандельштамовской «крошки мускуса»: заговорившему на жаргоне с детства избавиться от него уже не получится.

Поэтом отнесемся с доверием к свидетельству такого ненадежного свидетеля, как Георгий Иванов. Один из очень немногих мандельштамовских знакомцев, кто бывал у него дома, он утверждал³⁷: никаких следов акцента русский язык Мандельштама-старшего не содержал. Косвенно об этом говорит и фраза матери поэта в одном из писем: «...еврейская дама из Москвы. Как тень за мной — все на жаргоне, сил моих нет!»³⁸ — по-видимому, дома у Флоры Осиповны такого источника страданий не было. Да о том же свидетельствовал и сам поэт. «В детстве я совсем не слышал жаргона, лишь потом я наслушался этой певучей, всегда удивленной и разочарованной, вопросительной речи с резкими ударениями на полутонах» (2, 361).

Акцент, который чуткое ухо могло уловить у Эмиля Вениаминовича, был даже не немецкий: разве может быть акцент у безъязычия?

«У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? — Нет. Речь немецкого еврея? — Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? — Я таких не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза — это было все что угодно, но не язык, все равно — по-русски или по-немецки. // По существу, отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший восемнадцатый или даже семнадцатый век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге. Религиозные интересы вытравлены совершенно. Просветительная философия претворилась в замысловатый талмудический пантеизм. Где-то поблизости Спиноза разводит в банках своих пауков. Предчувствуется — Руссо и его естественный человек. Все донельзя отвлеченно, замысловато и схематично. Четырнадцатилетний мальчик, которого

36 Екатерина Лившиц. «Я с мертвыми не развожусь!...». Из воспоминаний и дневниковых записей / Публ. П. Нерлера и П. Успенского. Вступит. статья П. Нерлера. // Новый мир. 2015. № 9. С. 138.

37 Г. Иванов в «Ответе Струве и Филиппову» писал: «Повторяю: отец Мандельштама отлично говорил по-русски» (Новый журнал. 1956. Кн. 45).

38 Из письма Ф.О. Мандельштам из Халлензее от 9 июня 1908 года (цит. по собранию Е.П. Зенкевич).

натаскивали на раввина и запрещали читать светские книги, бегит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собирались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши: вместо Талмуда читает Шиллера, и, заметьте, читает его как новую книгу; немного продержавшись, он падает из этого странного университета обратно в кипучий мир семидесятых годов, чтобы запомнить конспиративную молочную лавку на Караванной, откуда подводили мину под Александра, и в перчаточной мастерской и на кожевенном заводе проповедует обрюзгшим и удивленным клиентам философские идеалы восемнадцатого века» (2, 360–361).

Совершенно иные сигналы посылала сыновьям Флора Осиповна, отличница из русской гимназии: «Речь матери, ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь; словарь ее беден и сжат, обороты однообразны, — но это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку приbedненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков?» (2, 361).

Закономерно, что всю переписку и все переговоры на русском языке, в том числе и об учебе сыновей, вела именно мать.

Но вернемся к книжному шкапчику раннего детства.

Мандельштам сравнивает его с геологическим разрезом, чьи пласты отлагались десятилетиями: и, как и в геологии, — чем ниже горизонт, тем он древней!

Что же там, в самом низу?

«Нижнюю полку я помню всегда хаотической: книги не стояли корешок к корешку, а лежали, как руины: рыжие Пятикнижия с оборванными переплетами, русская история евреев, написанная неуклюжим и робким языком говорящего по-русски талмудиста. Это был повергнутый в пыль хаос цудейский» (2, 355).

Туда же вскоре «...упала древнееврейская моя азбука, которой я так и не обучился. В припадке национального раскаянья наняли ко мне настоящего еврейского учителя. Он пришел со своей Торговой улицы и учил, не снимая шапки, отчего мне было неловко. Грамотная русская речь звучала фальшиво. Еврейская азбука с картинками изображала во всех видах — с кошкой, книжкой, ведром, лейкой одного и того же мальчика в картузе с очень грустным и взрослым лицом. В этом мальчике я не узнавал себя и всем существом восставал на книгу и науку. Одно в этом учителе было поразительно, хотя и звучало неестественно, — чувство еврейской народной гордости. Он говорил об еврейях, как французенка о Гюго и Наполеоне. Но я знал, что он прячет свою гордость, когда выходит на улицу, и поэтому ему не верил» (2, 355–356).

Итак, первый горизонт — это Жагоры и хедер, а второй — короткая берлинская вольница, отозвавшаяся в шкафу большими закупками в более позднее время — для ума и сердца: «Над цудейскими развалинами начинался книжный строй, то были немцы: Шиллер, Гете, Кернер — и Шекспир по-немецки — старые лейпцигско-тюбингенские издания, кубышки и коротышки в бордовых тисненых переплетах, с мелкой печатью, рассчитанной на юношескую зоркость, с мягкими гравюрами, немного на античный лад: женщины с распущенными волосами заламывают руки, лампа нарисована, как светильник, всадники с высокими лбами, и на виньетках виноградные кисти. Это отец пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей» (2, 356).

А вот и третий — самый верхний — пласт этого почвенного среза, самый плодородный его слой, питательнейший перегной — несколько полок русских книг матери!

Поэт называет не всех своих книжных любимцев. На пути к Надсону — их всего шестеро, включая двух иностранцев: Гете и Шиллера. А из своих это Пушкин, Лермонтов, Тургенев и Достоевский.

Вот «...Пушкин в издании Исакова — семьдесят шестого года. Я до сих пор думаю, что это прекрасное издание, оно мне нравится больше академического. В нем нет ничего лишнего: шрифты располагаются стройно, колонки стихов текут сво-

бодно, как солдаты летучими батальонами, и ведут их, как полководцы, разумные четкие годы включительно по тридцать седьмой. <...> // Черная песочная рыска за четверть века все любовно впитывала в себя, — духовная затрапезная красота, почти физическая прелесть моего материнского Пушкина так явственно мною ощущается. На нем надпись рыжими чернилами: “Ученице III-го класса за усердие”» (2, 356).

И вот он уже держит в руках — «...ключ эпохи, книгу, раскалившуюся от прикосновений, книгу, которая ни за что не хотела умирать и в узком гробу 90-х годов лежала как живая, книгу, листы которой преждевременно пожелтели, от чтения ли, от солнца ли дачных скамеек, чья первая страница являет черты юноши с вдохновенным зачесом волос, черты, ставшие иконой? Вглядываясь в лицо вечного юноши — Надсона, я изумляюсь одновременно настоящей огненностью этих черт и совершенной их невыразительностью, почти деревянной простотой. Не такова ли вся книга? Не такова ли эпоха? Пошли его в Ниццу, покажи ему Средиземное море, он все будет петь свой идеал и страдающее поколенье, — разве что прибавит чайку и гребень волны. Не смейтесь над надсоновщиной — это загадка русской культуры и в сущности непонятый ее звук, потому что мы-то не понимаем и не слышим, как понимали и слышали они. Кто он такой — этот деревянный монах с невыразительными чертами вечного юноши, этот вдохновенный истукан учащейся молодежи, именно учащейся молодежи, то есть избранного народа неких столетий, этот пророк гимназических вечеров? <.. > Сюда шел тот, кто хотел разделить судьбу поколенья вплоть до гибели, — высокомерные оставались в стороне с Тютчевым и Фетом. В сущности, вся большая русская литература отвернулась от этого чахоточного поколенья с его идеалом и Ваалом» (2, 357–358).

А в двадцатом веке явление Надсона уже не повторится: неоромантическая революционная поросль поделится между Маяковским (волнующие темы) и Есениным (трогательный стиль), а «высокомерные» останутся с Пастернаком и самим Мандельштамом.

Но, вступившись за оригинального Надсона, Мандельштам не пощадил его двойника от литературоведения — родственника своего Семена Афанасьевича Венгерова, который «...ничего не понимал в русской литературе и по службе занимался Пушкиным, но “это” он понимал. У него “это” называлось: о героическом характере русской литературы. Хорош он был с этим своим героическим характером, когда плелся по Загородному из квартиры в картотеку, повиснув на локте стареющей жены, ухмыляясь в дремучую, муравьиную бороду!» (2, 358).

Итак, именно русской литературе — этой чужой и властной крови — суждено было стать победителем в этом тройственном рыцарском турнире культур, чемпионском книжного шкапа.

Но не следует недооценивать и проигравших — отцовские самые нижние полки, эти запыленные «клочки черно-желтого ритуала» (2, 354). Еще рижский дед-бунтарь (прощайте, Жагоры!), как и бунтарь-отец Мандельштама (здравствуй, Петербург!), соблюдали традиции, пытаясь приобщить к этому и внука. И неважно, что не преуспели в этом, важнее, что в этом хаосе иудейском он родился, что он его слушал и, даже отталкиваясь, слышал.

Так и повелось: русское и еврейское взяли за руки и зашагали, пусть и не в такт друг другу, но вместе, отбрасывая друг на друга таинственный взаимный свет: «Крепкий румяный русский год катился по календарю, с крашеными яйцами, елками, стальными финляндскими коньками, декабрем, вейками и дачей. А тут же путался призрак — новый год в сентябре и невеселые странные праздники, терзавшие слух дикими именами: Рош-Гашана и Йом-Кипур» (2, 354).

Мать

*Матери мы обязаны всем, особенно Осип.
Е.Э. Мандельштам*

*В светлом храме цудей
Хоронили мать мою...*

О. Мандельштам

Мать поэта, Флора Осиповна (Овсеевна) Мандельштам, урожденная Вербловская, родилась 13 апреля 1866 года в Вильне³⁹. Отец — Овсей (Евсей) Азриелович Вербловский, мать — Раша-Ита Гиршевна (Софья Григорьевна) Вербловская, в девичестве Эльяшева, родом из Юрбурга⁴⁰. Флора была третьим из шестерых детей: старшими были брат Израиль-Мендель (1863)⁴¹ и сестра Маша (1865), а младшими — еще трое братьев: Алексей (1867), Иоаким (1868) и Гершон (1871).

О корнях и веточках рода Вербловских или рода Эльяшевых, к которым она принадлежала, мало что известно. Но ее собственная семья, проживавшая в больших губернских городах, отчетливо отличалась от мужниной. В сущности, то был образчик интеллигентной еврейской семьи, причастной или тянувшейся уже не к Гаскале даже или к реформизму, а напрямую к русской и/или европейской культуре: «С *исаковским Пушкиным вяжется рассказ об идеальных, с чахоточным румянцем и дырчатыми башмаками, учителях и учительницах: 80-е годы в Вильне. Слово “интеллигент” мать и особенно бабушка выговаривали с гордостью»* (2,356).

В Вильне Флора окончила не польскую, а русскую гимназию и навсегда полюбила русскую литературу и русскую музыку. До замужества она жила в Минске, так же, как и ее брат Гершон (он же Генрих) с племянником Михаилом. В Минске же проживали и другие родственники — Венгеровы: Афанасий Леонтьевич, например, был директором банка, его жена Паулина Юльевна (урожденная Эпштейн, из Бобруйска, 1833–1916) — со временем станет знаменитостью, а именно немецко-еврейской (sic!) писательницей, выпустившей «Записки бабушки: картины из культуры русских евреев в XIX столетии» (1908–1910). Их старший сын, упомянутый уже Семен Афанасьевич Венгеров, будущий пушкинист, рос в Минске, получая домашнее воспитание и образование.

Всю свою собственную жизнь — всю без остатка! — Флора Осиповна посвятила семье. В сыновьях она обрела главный смысл существования, в чем ее целиком и полностью поддерживала мать, Софья Григорьевна Вербловская, после смерти мужа (видимо, ранней) прилепившаяся к семье именно этой дочери. Убежденная сторонница культурно-интеллигентской и русскоязычной модели пути развития российского еврейства, или, попросту, культурной ассимиляции, она искренне радовалась, видя, как эта модель раскрывалась в дочери и распускалась во внуках. Сопряженные с этим соблазны и риски недобровольного, в сущности, перехода в христианство ее не смущали. Перед глазами стояли примеры из семейного круга — профессорские карьеры Николая Максимовича Виленкина (он же революционер и поэт Минский) и того же Семена (Симона) Венгерова, крестившихся, соответственно, первый — в 1882 году (ради женитьбы по любви) и второй — в 1872 году (сразу же по окончании гимназии и ради поступления в Медико-хирургическую академию).

Будучи в молодости, как и ее мать, хорошей пианисткой, Флора Мандельштам прививала сыновьям музыкальный вкус, воспитывала в них искусство вслушивания и понимания музыки. Старшего, Осипа, игре на фортепьяно она учила сама — по си-

³⁹ По другой версии — в Шавли (совр. Шяуляй) под Вильно.

⁴⁰ Современный Юрбаркас — город в западной Литве.

⁴¹ Это, видимо, о нем в «Шуме времени»: «Какая скудная жизнь, какие бедные письма, какие несмешные шутки и пародии! Мне показывали в семейном альбоме дагеротипную карточку дяди Миши, меланхолика с пухлыми и болезненными чертами, и объясняли, что он не просто сошел с ума, а “сгорел”: так гласил язык поколенья» (2, 358).

стеме Лешетицкого: в результате он и во взрослые годы мог пропеть в «Египетской марке» осанну нотописи, свободно вставить в текст нотную цитату или вдруг приступить к инструменту и запросто, с лету, спонтанно наиграть сонатину Моцарта или Клементи или что-то еще, занадобившееся к разговору. Младшие — Шура и Женья — учились игре на скрипке: их педагогом был Миша Пиастро — консерваторский однокурсник Сергея Прокофьева и один из учеников великого Леопольда Ауэра, создателя известной «русской скрипичной школы»⁴².

Мать не пропускала ни одного выступления питерских и приезжих виртуозов. Не жалея денег, она — чаще по очереди, по одному — водила сыновей на концерты и спектакли, причем не только в залы или на сцены Петербурга (Дворянское собрание, Капелла, Мариинка), но и в Павловске («Концерт на вокзале») или на Рижском взморье. Их можно было встретить и на симфонических концертах дирижеров Александра Зилоти, Сергея Кусевицкого и (тогда восьмилетнего!) Вилли Ферреро⁴³, и на сольных или совместных выступлениях скрипачей и пианистов — Яши Хейфеца, Яна Кубелика и Йозефа Гофмана, Эсфири Чернецкой-Гешелин и совсем еще юной Марии Юдиной, певиц Ольги Бутомо-Названовой, Зои Лодий и многих других.

Свое увлечение музыкой, ее исполнением, Флора Мандельштам переносила на исполнителей, с энтузиазмом собирая автографы любимых артистов. Последние, как правило, останавливались в гостинице «Европейской», визави Филармонии. Поджидая гениев в скоплении таких же, как она, почитателей у входа в гостиницу, а иногда и проникая внутрь, она, как правило, знакомилась с гастролером и добывала желанный автограф. А во время гастролей Гофмана и Кубелика она даже оказалась принятой чешским (то бишь еврейским) скрипачом в его роскошном гостиничном номере. С собою на поклон она взяла Осипа, спустя 20 лет живо описавшего такую немую сценку: «Он [Гофман — П.Н.] тревожно взмахнул ручкой, испугавшись, что мальчик играет на скрипке, но сейчас же успокоился и подарил свой автограф, что от него и требовалось» (2, 365–366).

Осип же вынес из этого концерта совершенно иное — проблему гениальности как дара и проблему соотношения, связи, слияния между художником и аудиторией:

«...Эти маленькие гении, властвуя над потрясенной музыкальной чернью, от фрейлины до курсистки, от тучного мецената до вихрастого репетитора, — всем способом своей игры, всей логикой и прелестью звука делали все, чтобы скватать и оступить разнузданную, своеобразно дионисийскую стихию. Я никогда ни у кого не слышал такого чистого, первородно ясного и прозрачного звука, трезвого в рояли, как ключевая вода, и доводящего скрипку до простейшего, неразложимого на составные волокна голоса: я никогда не слышал больше такого виртуозного, альпийского холода, как в скупости, трезвости и формальной ясности этих двух законников скрипки и рояля. Но то, что было в их исполнении ясного и трезвого, только больше бесило и подстрекало к новым неистовствам облепившую мраморные стены, свисавшую гроздьями с хоров, усеявшую грядки кресел и жарко уплотненную на эстраде толпу. Такая сила была в рассудочной и чистой игре этих двух виртуозов» (2, 366).

Мандельштамовские стихи без труда выдают его музыкальные влечения: тут и Бах, и Бетховен, и Моцарт, и Шуберт, и Брамс, и Глюк, и Лист, и Вагнер, и Чайковский, и Скрябин.

Если для жагорских Мандельштамов переселение Эмиля в столицу было самым настоящим прорывом и десантом (в Санкт-Петербурге у него, правда, был мастер-учитель, но практически не было родственников), то для виленских Вербловских это было далеко не так: родственников в столице у них было довольно много.

42 Ауэр Леопольд (Лев) Семенович (1845–1930), скрипач-вундеркинд и профессор Санкт-Петербургской консерватории в 1868–1918 гг., основоположник русской скрипичной школы, автор книги «Моя школа игры на скрипке» (1-е изд. 1929, на англ. яз.). Среди самых известных его учеников — Яша Хейфец.

43 О. Мандельштам потом встретится с ним еще раз — в Воронеже.

Самая близкая — тетьа Вера (Вера Сергеевна Пергамент), пианистка и переводчица Оскара Уайльда, секретарь сенатора М.М. Ковалевского, крупнейшего русского экономиста и государственного деятеля. Одинокая женщина, она в 60 лет неожиданно вышла замуж за такого же одинокого и даже более, чем она, пожилого человека — Михаила Валерьяновича Карпинского (1871–1942), преподавателя французского языка. Зажили они хорошо и безоблачно, и Шура с Женей охотно навещали их во втором дворе одного из домов на Невском. Оба умерли в 1942 году, что безошибочно указывает и на причину — голод в самую страшную блокадную зиму.

Другим маминым родственником был «беспомощно-ластоногий» Юлий Матвеевич Розенталь, финансист и купец II гильдии с 1892 года, родившийся около 1840 года где-то в Новороссии: «Буйная радость охватывала нас, детей, всякий раз, когда показывалась его министерская голова, до смешного напоминающая Бисмарка, нежно безволосая, как у младенца, не считая трех волосков на макушке» (2, 373). Вопреки «Шуму времени», Юлий Матвеевич не был бездетен: в 1897 году он проживал в доме 71 по Екатерининскому каналу вместе с женой Полиной и дочерью Эрнестиной⁴⁴.

Был он не просто завсегдатаем, но и «семейным домовым» — своего рода домашним психотерапевтом и медиатором, превосходно умевшим выслушивать всех и вся, гасить конфликты, находить и подсказывать то, что разряжало ситуацию, облегчало ее для всех, восстанавливало мир. «Все мы находили у него доброту, мудрый совет, заботливое внимание» (ЕЭМ, 123). Однако сама потребность в таком медиаторе — лишний признак того, что идиллическими отношения в семье не были.

Близкими (правда, не вполне все же ясно, какими именно) родственниками Вербловских были Венгеровы: Семен Афанасьевич (1855–1922) — крупнейший историк литературы, пушкинист и библиограф, и его сестры — Зинаида Афанасьевна (1867–1941), переводчица и жена поэта Н. Минского, и Изабелла Афанасьевна (1877–1956), профессор Петербургской консерватории по классу рояля.

...А вот здоровье у Флоры Осиповны было слабое. Больное сердце толкало ее каждое лето за границу, к европейским врачам, и почти каждое лето она выезжала «на воды», откуда, изнывая от тоски, писала своим деткам бодрые-пребодрые открытки или поучительные письма. Иногда она брала с собой маленького Женю, иногда ездила одна и всегда очень скучала без остальных мальчиков.

Так, весной и летом 1904 года она побывала в Берлине — вместе с мужем и младшим сыном — еще дошкольником. Старшие в это время оставались в Петербурге под присмотром бабушки: «Мамочка, дай Осеньке его полотняную куртку, ему жарко, бедняжка томится в комнате летом. Отец закажет вам все летнее. Калоши купи Шуриньке у Маркова, уг <ол> Невского и Лит <ейного>, везде Prix-fixe. Жарко, к чему калоши, но нужны необходимо, зимние долой!»⁴⁵

Следующая поездка — летом 1906 года, и сопровождающее лицо — снова Женя, но вскорости и он вернулся в Россию. А в 1908 году в Берлине она была в обществе и Жени, и Оси.

Отношения внутри семьи были сложными. Родители женились, как тогда было принято, не по любви, не по взаимному влечению, а по сватовству и уговору родителей. И если даже книжный шкаф зафиксировал два обособленных внутренних мира, то в жизни дистанция была еще больше. Конфликты вспыхивали то тут, то там: и возможно, что мать, светская интеллигентка в первом поколении, слишком рьяно и пассионарно размахивала знаменем эмансипации перед носом своего мужа, религиозного традиционалиста в последнем поколении (революции, в его понимании, были допустимы только внутри традиции, без ее слома «до основанья, а затем»). Оба, конечно же, обожали своих детей, и каждый, — разумеется, по-своему, — все делал для

44 Справочная книга о лицах Санкт-Петербургского купечества и других званий, акционерных и паевых обществах и торговых домах, получивших с 1 ноября 1896 г. по 1 февраля 1897 г. свидетельства и билеты по I и II гильдиям на право торговли и промыслов. СПб., 1897. С. 523. Стлб. 2. В 1916 г. он был еще жив.

45 Цит. по собранию Е.П. Зенкевич.

их благополучия, но именно дети, их поведение и воспитание, вероятней всего, и были главной ареной жарких боев, выигранных, скорее всего, пассионарной Флорой. Нет сомнения, что идея отдавать сыновей в элитарную частную школу — Тенишевское училище, считавшееся тогда одним из лучших в столице, принадлежала матери, неважно, собственная или подсказанная кем-то из Венгеровых. При этом старшие сыновья были отнюдь не «*маленькими Эротами любознательности с колчаном метких вопросов за плечами*» (З, 193), а самыми обыкновенными мальчишками, то есть порядочными балбесами. Лишенный честолюбия Шура тенишевских стандартов просто не выдержал, а не лишенному честолюбия Осипу приходилось нанимать репетиторов, хорошо и со знанием дела знакомявших его с основами революционности.

Внутрисемейная атмосфера перманентного мировоззренческого конфликта, как и глухая стена, стоявшая между родителями, конечно же, не могла не влиять на мальчиков. Особенно тяжело это давалось самому впечатлительному и ранимому — Осипу. Итог: желание дистанцироваться и его (вместе с Шурой) отчуждение от семьи в целом, все нарастающая центробежная тяга. Даже младший брат подмечал, что старшие «*...никогда не могли позвать к себе товарищей, вся их жизнь, по существу, проходила вне семьи и оставалась неизвестной домашним*. <...> С возрастом отчуждение Осипа и Александра от семьи все усиливалось» (ЕЭМ, 123). Привычно держась друг за друга, старшие сыновья выросли и все меньше времени проводили дома.

В середине июля 1916 года ей выпала последняя в жизни радость: любимый ее Женечка принят в Политехнический. Тотчас же ему была послана из дома телеграмма.

А через несколько дней после этого — примерно 20 июля — с ней случился инсульт. 25 июля 1916 года, так и не придя в сознание, Флора Осиповна скончалась от апоплексии мозга.

Все эти дни с ней были муж и мать. Все сыновья находились в разъездах: старшие — в Коктебеле, у Макса Волошина⁴⁶, а младший — на Волге, на плавучем госпитале. Вызванные телеграммами, они приехали: Женя — успев попрощаться, а старшие — только к похоронам.

Флору Осиповну Мандельштам похоронили 28 июля на Преображенском еврейском кладбище⁴⁷: она умерла в 50 лет!

Софья Григорьевна осталась жить с зятем и внуками, но пережила дочь всего на год — она умерла в следующем, 1917 году.

Средний брат

21 сентября / 5 октября 1892 года — уже не в Варшаве, а в Павловске родился, а 28 сентября был обрезан средний брат Осипа Мандельштама. Мальчика сразу же нарекли христианским именем Александр⁴⁸, но все близкие и домашние всю жизнь будут называть его Шурой.

Учиться его отдали туда же, куда и Осю, — в Тенишевское, но Шура не потянул: пришлось его оттуда забрать и перевести в 4-й класс 1-й мужской гимназии, где он и прочился с 1905 по 1912 гг.⁴⁹ В 1907 году с гимназического полупансиона Шуру перевели на экстерн: видно, дела у отца шли не ахти как⁵⁰. В 1909 году мать хлопотала, последовательно, о переводе сына в следующий класс без экзаменов или о назначе-

46 По данным В. Купченко, все трое братьев были вместе в Коктебеле, но едва ли можно заподозрить в выдумке детальнейшее описание всей поездки от Петрограда до Астрахани (ЕЭМ, 140).

47 ЦГИА СПб. Ф. 422. Оп. 3. Д. 531. Л. 71.

48 Конечно, это имя было включено и в еврейский именной — как дань благородству и милосердию Александра Македонского при вежливом завоевании им Земли Обетованной, только вряд ли за наречением стояла привязанность к рыжему непобедимцу.

49 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 246. Д. 10423; Оп. 1. Д. 4032. Л. 1–5; Ф. 14. Оп. 3. Д. 61329. Л. 8.

50 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 4032. Л. 14.

нии ему возможно более позднего срока для сдачи экзамена, ссылаясь при этом на его болезни (крупозное воспаление легких, левосторонний плеврит и др.), но все кончилось оставлением Шуры на второй год. 7-й класс он окончил в 1910 году, но в 1911-м снова был оставлен на второй год, что было против правил и потребовало уже не только материнского прощения, но и ходатайства директора гимназии перед Управлением столичным учебным округом⁵¹.

И вот, наконец, 1 июня 1912 года Шура закончил Первую гимназию. В его «Аттестате зрелости» за № 1240 две пятерки (Закон Божий и немецкий язык), пять четверок (философская пропедевтика, французский, математика, математическая география и законоведение) и пять троек (русский язык и словесность, латынь, физика, география и история)⁵².

20-летний Шура настолько закопался в зигзагах своего второгодничества, что не заметил, как вплотную — всего лишь с годом в запасе — подкралось к нему его совершеннолетие, а с ним и проклятые еврейские вопросы правожительства в столице и воинской повинности! Демон черты оседлости соткался перед ним точно так же, как и годом раньше перед Осипом.

Так что же делать?!

Как что? — то же, что и Осип годом раньше: креститься и поступать в университет!

Причем уже в этом, 1912 году, потому что если в будущем году не поступишь, то тогда точно все — пеняй на себя и готовься сменить родительский дом на царскую казарму.

И вот в течение трех дней — с 4 по 6 июня — с совершенно неожиданным для себя проворством Шура собирает три необходимейших свидетельства — о принадлежности отца к купцам II гильдии, о своей приписке к призывному участку и о своем крещении⁵³. Особенно интересно последнее, за № 2395, датированное 6/19 июня. Вот его перевод с финского: «Сим удостоверяется с приложением казенной печати, что пастор находящейся в Выборге Методистской Епископской церкви Н.И. Розен есть подлежащее должностное лицо для выдачи означенного на обороте свидетельства, каковое по сему должно быть признано действительным. В Выборгской Губернской Канцелярии 20 июня 1912 года. Губернатор Ф. Фон-Фалер. Ландссекретарь Г.В. Моландер»⁵⁴.

Как видим, крестясь, Шура пошел строго по дорожке, проторенной старшим братом, но, вероятно, без таких последствий, как разрыв с отцом, уже выпустившим весь свой правоверный гнев на Осипа, а других вариантов для Шуры (например, заграничный университет) он в разгар своей коммерческой авантюры в Белоострове оплатить не мог.

Первым августа датировано Шурино прошение ректору университета о зачислении его в студенты математического отделения Физико-математического факультета⁵⁵. Но только 22 сентября он был зачислен в студенты — после уплаты отцом 25 рублей в пользу Alma Mater⁵⁶ и после нового зигзага судьбы — перекрещения из методистов в лютеране!

17 сентября он принес в университетскую канцелярию «Свидетельство» за № 1063 о своем переходе 16 сентября 1912 года из Методистской Епископской церкви в Евангелически-Лютеранское исповедание и записи в члены прихода церкви Св. Марии на Петербургской стороне (пастор Мазинг)⁵⁷. Связано это было, вероятно, с тем, что у

51 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 4032. Л. 8–13. *Управляющий округ разрешил, но с такой оговоркой: «Разрешаю, если позволяет норма для учеников-евреев. 23 августа 1911 года».*

52 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61329. Л. 8.

53 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61329. Л. 9, 11, 13.

54 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61329. Л. 9–9об. *С припиской: «Сохранил имя и отчество». Свидетелями (возможно, приглашенными пастором) были Ю. Фагеррус, вдова Д.С.С. и Инна Шредер.*

55 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61329. Л. 2.

56 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61329. Л. 2.

57 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61329. Л. 10.

пастора Розена к этому времени, по-видимому, уже начались неприятности из-за этой его деятельности, в легальности которой у антисемитов и полицейских появились сомнения. Вполне возможно, что слухи об этом достигли и университета, после чего тот стал косо смотреть на соответствующие свидетельства⁵⁸.

Как бы то ни было, но дорога в университет открылась и ему, и Шура устремился по ней. Но как? 28 сентября, когда не прошло и недели с момента зачисления, непоседливый Шура обратился к ректору с новой просьбой — о переводе с физико-математического факультета на юридический, что и произошло 3 октября⁵⁹.

В 1913 году — по жеребьевке — он едва не загремел в армию, но, на основании 61 ст. Устава о воинской повинности, получил отсрочку от призыва вплоть до 1919 года⁶⁰. При этом, поскольку призывные виды на старших Мандельштамов имело не только Санкт-Петербургское (3-й московский участок), но и Ковенское по воинской повинности городское присутствие, то вопрос этот, как и в случае Осипа, еще некоторое время — с марта по август 1914 года — муссировался в треугольнике из двух присутствий и одного призывника, пока Шуру от Ковно не отписали и не освободили от штрафа в 300 рублей⁶¹.

К сожалению, мы не знаем, какие предметы Шура прослушал в *alma mater*, кому и какие экзамены сдавал.

Его переход с физико-математического факультета на юридический в 1912 году был не последним его переходом. 14 октября 1918 года, уже при Советах, Шура попросил ректора Первого Петроградского университета (так теперь назывался бывший Императорский) перевести его на факультет... восточных языков, по разряду христианского Востока! И был назавтра же зачислен!..

Но 19 ноября / 2 декабря того же года — новое прошение. На сей раз об оставлении его — «в связи с обстоятельствами переживаемого времени, тяжельми душевными переживаниями и материальными затруднениями» — на третий (sic!) год на 4-м курсе. И вновь ему пошли навстречу, оставив в университете до 1 июня 1919 года⁶².

Так или иначе, но, начиная с осени 1912 года, Шура проучился около 6 лет: в каком-то смысле он учился даже успешнее старшего брата, ибо его ни разу не отчисляли. Тем не менее, как и Осип, он был, что называется, вечным студентом по призыванию, и диплома об окончании не имели ни тот, ни другой.

6 декабря Шура получил на руки удостоверение в том, что он студент Первого Петроградского университета и что «недоимщиком не состоит»⁶³. С этой ксивой, надо полагать, он вскоре и отправился вместе со старшим братом в их долгое путешествие на Юг — путешествие, подарившее каждому из них по невесте и прямое личное знакомство с Гражданской войной и тюремными камерами.

Вообще-то Осип и Александр, погодки, и в детстве, и в юности, и в молодости были неразлучны. Шура был своеобразной тенью Осипа: вместе они жили в Коктебеле, вместе пустились в 19-м году в Харьков и Киев, затем вновь Коктебель и Феодосия, а затем Батум и Тифлис, вместе вернулись в Санкт-Петербург. В 1921 году

58 См. ниже. В феврале 1914 года у Пристава 3 уч. Московской части Санкт-Петербургской столичной полиции снова возникли вопросы о праве жительства А. Мандельштама в столице, и они обратились в Канцелярию университета с просьбой об уведомлении о том, «когда, где и каким причтом совершен обряд Св. Крещения над означенным Мандельштамом» (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61329. Л. 23)

59 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61329. Л. 3.

60 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61329. Л. 12. Ср. подобный случай с пропуском срока об определении по воинской повинности вольноопределяющимся у В.П. Семенова-Тян-Шанского (срок службы — 2 года) (Невский архив. Историко-краеведческий сборник. Вып. VIII. СПб., 2008. С. 39–40).

61 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61329. Л. 24, 10а, 26.

62 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61329. Л. 5.

63 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61329. Л. 6.

в поездке по Закавказью спутником Осипа был уже не он, а Надя. Но после того как они вернулись в Москву, Шура снова стал жить под крылом у брата: под крышей Дома Герцена и буквально на птичьих правах.

Со своей будущей женой — художницей Элеонорой Самойловной (или, по-семейному, — Лелей⁶⁴) Гурвич (1900–1989) Шура познакомился еще в 1919 году в Коктебеле. Ее семья постоянно жила в Феодосии, а на лето Гурвичи снимали у Е.О. Волошиной целых три комнаты, выходящие на нижнюю террасу ее дома.

Шура же был молод, весел, остроумен, общителен и попросту красив: высокий, стройный, с кудрявыми черными волосами, с большими серо-голубыми глазами и длинными, как у Осипа, ресницами. Он любил музыку, хорошо пел, отлично играл на скрипке, с удовольствием посещал концерты (но театр, особенно оперный, не признавал). Он красиво грассировал по-французски, и сама речь его была музыкальна. Отлично играл он и в бильярд, но бильярд был и его слабостью — нередко он оставлял в лузах свои последние деньги.

Осенью 1922 года судьба свела Шуру и Лелю в Москве, где Шура жил вместе с Осипом в Доме Герцена, а Леля училась во ВХУТЕМАСе. «После этой встречи мы уже не расставались», — вспоминала Э.С. Гурвич. Пожились они в 1926 году.

Несколько лет Шура платил взносы в строительный кооператив, Леля в это время жила на Сретенке — в комнатке, которую получила как студентка ВХУТЕМАСа. Когда Шура вернулся в Москву, его новая комната была готова: они сложили свои «жировки» и обменяли их на одну комнату в Старосадском переулке, дом 10, кв. 3 — большую, узкую, светлую, с высоким потолком и большим венецианским окном: в окне — вид на Ивановский монастырь, весной заглядывала в него, благоухая, цветущая липа.

Вся трудовая карьера Шуры была связана с книгами. Началась она на стыке 1918–1919 гг., когда работал во Всеукраздате, а затем в Госиздате. В июле 1923 года Александр Эмильевич окончил первые производственные курсы по книжному делу при Госиздате, а в апреле 1925 года — книжный техникум. В 1926 году в сборнике «Книга и ее работники» вышла, кажется, единственная его статья (в соавторстве с Е. Евгеньевым) — «Красный книгоноша» (этому движению Александр Эмильевич отдал много сил). В 1926–1927 гг. он жил в Армавире и работал в местном отделении КОГИЗа, сюда к нему заезжал Ося. Дело свое он любил, трудился много и добросовестно, возвращался домой нередко около полуночи, на выходной приносил домой для обработки библиографические карточки.

Книги были не только его работой, они были и его любовью, его сердечной привязанностью. Как вспоминал его сын, тоже Шура, он говорил: «Мне ничего не надо, мне нужен уголок на диване и книги»⁶⁵.

Жили они на Старосадском скромно, почти что бедно — на его небольшую зарплату и на случайные заработки жены, работавшей художником-оформителем. Но пропорционально скромными были и потребности (никакого бильярда!). Рождение сына осенью 1931 года высветило его семейственность и домашность, обнаружило доброту, мягкость и покладистость характера. Голоса он никогда не повышал, чего не скажешь о Леле.

Когда Шурик был маленький, Шура читал ему сказки собственного сочинения, ближе к школе подбирал и читал ему книжки посерьезней, например, «Возмутителя спокойствия» Леонида Соловьева или «Приключения капитана Врунгеля» Андрея Некрасова. По выходным отец с сыном гуляли по окрестным улицам, бульварам и

64 Элеонора Самойловна Гурвич (1900–1989). *Детство и юность — в Феодосии. Отец — служащий — был как художник-любитель принят в феодосийское литературно-художественное общество «Киммерика», организованное М. Волошиным и К. Богаевским. Училась у Волошина, Богаевского, Пискарева, Фаворского, окончила ВХУТЕМАС, член Союза художников. Ее творческие возможности как мастера станковой графики в полной мере проявились с начала 1960-х гг.*

65 Мандельштам А.А. *Несколько слов о моем отце // Новый мир. 2016. № 1. С. 166.*

садам, чаще всего — в скверике, что в Солянском тупике (зимой там заливали каток). В «Арктике» — бывшей кирхе на Старосадском — открылся кинотеатр, заходили и в него. Несколько раз выбирались на автобусе в Нескучный сад или на Воробьевы горы, один раз плавали на пароходе по каналу Москва — Волга. Под Новый год — обязательная елка с самодельными игрушками.

В свои последние годы Шура чувствовал себя и выглядел очень неважно, гораздо старше своих лет. Лицо и горбатый нос как бы вытянулись, а шапка седых волос только подчеркивала их величину. Но все чаще он впадал в депрессию, делаясь легкой добычей любых болезней. Во время вспышки какой-то из них маленького Шурика отправили в Нащокинский переулок, к дяде Осе и тете Наде и ее матери, Вере Яковлевне. Это, наверное, тогда, приняв живейшее участие в заботах о племяннике, Осип Эмильевич кормил трехлетнего племянника лучшим, что, по его мнению, создал коллективный кулинарный разум, — вареными яйцами.

Тридцать восьмой слизнул дядю Осю, но война принесла новые беды и новую горе. В конце июня 1941 года школа, где учился Шурик, организовала выезд детей из Москвы куда-то в Рязанскую область. Обратного в Москву с детьми уже не пускали, и в начале июля в лагерь приехала Леля — одна, налегке, с маленьким чемоданчиком, и, забрав сына, двинулась в «глубокий тыл» — в Ростов-на-Дону, к своему брату. Шура оставался работать в Москве в КОГИЗе, но в августе его отправили в командировку в город Горький на барже по Оке. Приходилось быть и матросом, и грузчиком. Из Рязани (sic!) он написал своим: «...Я здоров и бодр. Дорога очень хорошая. Много простора и разнообразия... Березовые холмы местами напоминают крымские... О тебе и Шурике думаю больше, чем о себе. Побывать с тобой и Шуриком хоть несколько дней хочу, как никогда не хотел...».

В сентябре Шура снова в Москве, ночами в команде по противоздушной обороне тушит на крышах зажигалки. А 16 октября — в самый разгар страхов о том, сдадут Москву или не сдадут, — неожиданный и экстренный приказ по КОГИЗу: эвакуироваться в Красноуфимск на Урале, а оттуда в Нижний Тагил. Отъезд был настолько неожиданным, что самых нужных вещей взять с собой он не смог. В поезде Шура встретился с Ахматовой, и какое-то время они ехали вместе. Ахматова потом рассказывала, что Шура был очень изможден: вещей, кроме рюкзака, у него не было, и главное — страхи из-за незнания того, где же его семья.

Между тем уже и Ростов стал угрожаемым немцами городом. И вот Леля с Шуриком эвакуируется из него сначала в Ташкент, а затем в Самарканд. В Ташкенте их повстречал Е.Я. Хазин и привел Лелю к Ахматовой и Надежде Яковлевне. Вскоре Шура, Леля и Шурик отыскали друг друга и начали переписываться, а жена начала подыскивать ему «книжную» работу в Самарканде.

В Нижнем Тагиле Шура заведовал небольшим книжным магазином, при котором и поселился в комнатке уборщицы. Уральские зимы суровы. В магазине холод, одежды не хватает, еды тоже. Но самое тяжкое — тоска по семье. Он рвался к своим, в Самарканд, но так и не спросил, отпустят ли его, — время-то военное.

Вот фрагмент из последнего его письма — от 6 мая 1942 года: «...Сегодня получил письмо от Шуриныша. Я готов ехать к вам немедленно. Однако, насколько я знаю, разрешение на это получить сейчас нельзя... Строю на всякий случай здесь жизнь на зиму. Посадил 40 кг картошки. Посадка не очень удачная, и нет дождей. Стараясь оборудовать отдельное жилье. Однако твой приезд сюда — крайний выход для встречи. Последнее время бытовые условия моей жизни стали лучше. 23/IV послал тебе 100 рублей. Сегодня вышлю еще 200. На днях успешно выполнил задание по району о покупке стабильных учебников. На руках мозоли от лопаты. Перо кажется лопатой...».

От последнего письма и до кончины — молчание, а прежде писал по 2–3 письма в месяц. Видимо, ему было очень плохо.

А 20 июня 1942 года Александр Эмильевич Мандельштам умер в больнице. Официальная причина — упадок сердечной деятельности, а скорее всего — просто от истощения, физического и психического.

Младший брат

Самый младший брат — Евгений — родился 1/14 мая и был обрезан 8/25 мая 1898 года⁶⁶, когда семья жила на Офицерской. С самого детства он питал слабость к музыкальным вечерам, на которые его брала мать, к чтению приключенческой литературы, к столярному делу и моделированию самолетиков. Среди его главных отличительных черт — собранность, активность, инициативность и недюжинные лидерские качества: все то, чего начисто не было у братьев.

Учась — с 1907 по 1916 гг. — в Тенишевском училище, он был автором и редактором журнала «Юная мысль», который выпускал его класс. В 1914 году, после объявления войны, создал в училище «Лазаретный комитет» по сбору средств на лечение раненых, устраивал в их пользу благотворительные концерты, на которые съезжался весь Петербург. Это позволяло тенишевцам содержать в одном из госпиталей Союза городов до 20 больничных коек!

Весной 1916 года, когда он — и заметьте: с золотой медалью! — окончил Тенишевское училище⁶⁷, над ним уже не тяготел тяжкий выбор, стоявший перед братьями: креститься или нет? Золотая медаль предусматривала конкуренцию только среди медалистов, да и черты оседлости к тому времени фактически уже не существовало: война дунула на нее, и она отлетела далеко-далеко на восток — вслед за еврейскими беженцами и эвакуированными.

В июле его приняли в Петроградский Политехнический институт имени императора Петра Великого в Лесном, на электромеханическое отделение.

Занятия начинались с осени, но разрыв с отцом и отказ от его помощи⁶⁸ сделали Женину учебу и карьеру инженера проблематичными. Необходимость зарабатывать самому заставила его сменить институтскую скамью на оплачиваемые занятия. Так что летняя, первоначально лишь в фимиаме патриотизма им самим воспринимавшаяся работа на плавучем госпитале Петроградского Союза городов, а затем в 11-м Городском лазарете (Женя вскоре стал его заведующим), оказалась провозвестником нового — сугубо взрослого и самостоятельного — этапа в его жизни.

Для начала он покинул отчий кров на Каменноостровском и поселился у родителей своего школьного друга Вадима Конради, в крошечной мансарде на седьмом этаже одного из доходных домов на Песочной улице. А вскоре нашел себе и работу — сначала в Петроградском комитете Союза городов, а затем в студенческом отряде станции Скорой помощи Красного Креста в Свечном переулке. А начав зарабатывать, снял себе комнату в Геслеровском переулке.

Но Великая война требовала все новых участников, и в 1917⁶⁹ году Евгения призвали в армию уже напрямую. Он стал юнкером — сначала училища, готовившего прапорщиков для инженерных войск, а затем Михайловского артиллерийского училища⁷⁰. Переехав в казарму, сполна хлебнул и муштры на плацу, и офицерского чванства, и салажких прелестей дедовщины в казарме (тогда это называлось «цукань-

66 Согласно метрической записи в Петроградской хоральной синагоге, обряд обрезания совершил все тот же отставной рядовой Авсей Клинкельштейн (ЦГИА СПб. Ф. 422. Оп. 3. Д. 296. Л. 86)

67 Вот отметки из его «Аттестата», выданного 23 мая 1916 г.: Закон Божий — 1; Русский язык и словесность — 5; Немецкий язык — 5; Французский язык — 5; Русская и всеобщая история — 5; География — 5; Зоология и ботаника — 5; Физиология — 5; Химия — 5; Геология и физическая география — 5; Космография — 5; Арифметика — 5; Алгебра — 5; Геометрия — 5; Тригонометрия — 5; Аналитическая геометрия — 5; Физика — 5; Коммерческая арифметика — 5; Счетоводство — 5; Политическая экономия — 5; Гражданское и торговое право — 5; Товароведение — 5; Коммерческая география — 5; Рисование — 4 (ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 3. Д. 4119. Л. 4).

68 Напомню, что отец со своим белоостровским заводиком стремительно катился в это время навстречу разорению.

69 Номинально — 30 декабря 1916 г. (ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 3. Д. 4119. Л. 26).

70 ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 3. Д. 4119. Л. 24.

ем»), и даже ночную кадетскую атаку черносотенных русаков на юнкеров-евреев в летнем лагере в Красном Селе! (ЕЭМ, 142–143)

25 октября вместе с батареей училища Евгений был поставлен защищать Зимний дворец! Но юнкера, по его словам, не сделали по штурмующим толпам ни единого выстрела — вместо этого они договорились с революционными солдатами Павловского полка, и те, приняв орудия, выпустили их из громимого дворца.

Новая, Советская, власть демобилизовала студентов, но возвращаться в Политех уже не хотелось. Опыт 1914 года с «Лазаретным комитетом» и опыт 1917 года со студенческим отрядом Скорой помощи заронил в нем интерес к медицине и профессии врача, и в самом начале 1918 года он поступил во Второй (бывший Женский) Медицинский институт, он же Санитарно-гигиенический, базировавшийся при Петропавловской больнице в Архиерейском переулке — той самой, в которой умирала мать. В институте его избрали в совет старост и делегировали в аналогичный общегородской совет.

Время было еще свободное, но уже голодное, и для смягчения продовольственной ситуации Женя организовал огородную студенческую артель, став ее председателем. В нее сразу же записалась чуть ли не тысяча нуждающихся медичек и медиков. Землю (40 десятин) и особняк под общежитие артели выделили в национализированном, но еще не утратившем своей живописности поместье Белый Вал в 18 верстах от Луги, а финансирование (кредитование) взял на себя Союз рабочих производственно-трудовых кооперативов (сокращенно — «Производсоюз») под руководством гуталинного короля Брауде — *«красивого человека с черной ассирийской бородой»* и в вошедшей уже в моду кожаной куртке. Впрочем, у себя в Белом Валу Женя и сам косил под «комиссара», когда на коне и с наганом в кобуре выезжал на место стычки артельщиков с монахами Черемнецкого монастыря, вооружившимися косами: и правда — на что еще им косы, если монастырские заливные луга городские агрокоммунары у них реквизировали?! (ЕЭМ, 144–146).

Не забывал Женя-председатель и о своих братьях. Шуру назначил представителем в Петрограде, а неожиданно заявившегося Осипа, к этому времени уже служившего и даже переехавшего в Москву, определил в полевую бригаду: *«И вот среди белых козынок девушек появилась на поле фигура поэта О. Мандельштама — сугубо городского человека, абсолютно не приспособленного к такому труду ни физически, ни душевно. Осип с трудом, страшно уставая, выдержал три дня и, вконец измученный, уехал в Петроград»* (ЕЭМ, 146)⁷¹.

Но самое главное — здесь, в Белом Валу, Евгений Мандельштам встретил и полюбил Надю Дармолатову, вскоре ставшую его женой: *«Прошли десятилетия, я уже восьмидесятилетний старик, а в памяти живут эти первые дни супружества и ничем не замутненного счастья»* (ЕЭМ, 146).

По возвращении в Петроград молодые поселились в однокомнатной квартирке Евгения в Геслеровском⁷². В феврале 1919 года они поженились⁷³, после чего переехали в куда более основательное жилье — в квартиру Дармолатовых в доме 31 на 8-й линии Васильевского острова, на долгие годы ставшую для Жени домом, а для обесмертившего ее Осипа («Я на лестнице черной живу, и в висок...») — приютом.

Самое время рассказать о семье Дармолатовых и об их квартире.

Коллежский советник Дмитрий Иванович Дармолатов (1863–1915) происходил из донских казаков, его матушка была женщиной очень простой и, по слухам, клас-

71 Такое явление старшего брата могло произойти только на стыке июня — июля 1918 г., когда он взял отпуск в Наркомпросе и — в полном нервном расстройстве — уехал (чтобы не сказать — бежал) в Петроград (вероятно, спасаясь от угроз Блюмкина, но скорее всего — дистанцируясь от июльского эсеровского переворота).

72 Весьма возможно, что он делил ее с Шурой, ибо тот в переписке с университетом указывал ее в качестве своего адреса (но не исключено, что Шуре нужен был только сам адрес, а фактически он жил у своих друзей).

73 Своего отца Женя на свадьбу так и не позвал.

сической антисемиткой, что его крайне угнетало. Сам он был весь устремлен к высотам мировой культуры и вершинам избранной профессии — банковско-финансового дела. Начав в 1894 году с заведующего Орловским отделением Госбанка, в 1896 году он принял ростовское отделение Азово-Донского банка — одного из крупнейших в России. В 1899 году он перебрался в столицу в качестве члена его правления⁷⁴.

В конце 1890-х годов он женился на девушке поразительной красоты, доброты и христианской кротости. С нею, с Марией Николаевной Дармолатовой, они прожили четверть века и родили четырех дочерей.

В квартиру на 8-й линии семья переселилась в 1915 году, после смерти Дмитрия Ивановича. После революции квартира стала коммунальной, но первые уплотнения были почти добровольными: хозяин еще мог выбирать, кого к себе подселять.

Двух младших дочерей, Веру и Надю, — близнецов, родившихся 17 сентября 1894 года, даже мать различала с трудом. Все и всегда было у них одинаковое и общее, в том числе учеба в Женской гимназии П.А. Макаровой и на Бестужевских курсах.

Но Надино замужество оказалось непосильным испытанием для психики Веры. Ведь, как нередко у близнецов, они с Надей были до этого буквально неразлучны! И 2 марта 1919 года, когда Надя уехала на Украину и разлука с сестрой стала не угрозой, а реальностью⁷⁵, Вера выбросилась из окна⁷⁶.

25 марта 1920 года у Жени и Нади родилась дочь Наташа (Татьяка). В 1924 году Надя родила сына — Алексея, но заразилась при этом стрептококковой инфекцией и через два месяца умерла. Вскоре, без матери, умер и малыш⁷⁷. Четырехлетняя Татьяна, всеобщая любимица, осталась сиротой. Воспитывала ее бабушка, Мария Николаевна, обещавшая дочери, что не оставит внучку и будет жить с ней и зятем.

Татьяка, или Татуся, красивая и милая девушка, хорошо училась и обладала литературными способностями: писала стихи, занималась в литературном кружке С.Я. Маршака, увлекалась стихами дяди Оси (сохранилась тетрадка его стихов, переписанная ее рукой). По окончании школы в 1938 году она поступила в университет на исторический (?) факультет, занятия в котором оборвала война. Татьяна с бабушкой остались в осажденном Ленинграде. Мачеха⁷⁸, уехавшая с Юриком в Арбаж, усиленно звала Татьяку с бабушкой приехать к ним, но Татьяна упорно отказывалась. У нее был сердечный друг, некто Юра Поляков, с первых дней войны ушедший на фронт. Возможно, она хотела быть поближе к нему, но он погиб.

В феврале 1942 года, в самую страшную блокадную зиму, умерла бабушка. И только тогда Татьяку, заболевшую в блокаду милиарным туберкулезом, удалось выпроводить в Арбаж. Прибыла она туда очень истощенной, и, несмотря на отчаянные усилия мачехи, вскоре заболела и 3 ноября 1942 года умерла.

Вот что писал о ней Осип Мандельштам 18 февраля 1926 года: «Мария Николаевна она **очень неплоха** — настоящая умница — велит вставить ему челюсть. Эта бабушка — прекрасно ухаживает за дедой и Татьякой, все понимает, меня приняла без всякой натяжки — хорошо» (4, 64).

Учиться Евгению было решительно некогда: сдавать такие трудные предметы, как анатомия, физиология или гистология и переходить с курса на курс ему помога-

74 Кроме того, Дармолатов был членом совета Киевского Частного коммерческого банка, председателем правлений: Общества ртутного и угольного дела «А. Ауэрбах и К^о» и Общества Карпово-Обрывских каменноугольных копей; директором Общественной Токмакской железной дороги.

75 Надя сопровождала Женю в поездке в Харьковскую губернию за вареньем (ЕЭМ, 147–148).

76 У нее, правда, был и собственный жених — Владимир Павлович Покровский, родной брат Корнилия Покровского, ухаживавшего за Анной, старшей сестрой. После ее смерти Владимир еженедельно приходил с букетом к Марии Николаевне и подолгу беседовал с ней (ЕЭМ, 148).

77 Евгений Эмильевич в это время находился под арестом.

78 Татьяна Григорьевна — см. ниже.

ла дружба с сокурсницей Наташей Григорьевой. А вот общественническая жилка (вечный староста!), в молодости не перестававшая в нем клокотать, была его стихией. Но стихией не вполне управляемой, поскольку в начале 1920-х годов Евгения трижды арестовывали, трижды!

В первый раз — 28 декабря 1920 года по обвинению в проведении контрреволюционной агитации среди студентов и преподавателей Медицинского института. Постановлением Петроградской ЧК от 5 февраля 1921 года он был осужден к шести месяцам принудительных работ⁷⁹. Но после хлопот свояка С.Э. Радлова, Евгения отпустили под домашний арест: его беременная Татькой жена, Надежда Дармолатова, была тогда на сносях.

Первую пару недель он просидел на Гороховой, в самом штабе ЧК: в камере столкнулся с Яковом Шпиро, своим соучеником по Тенишевке, выросшим в крупного авантюриста. Так и не допросив, Женю перевели в настоящую тюрьму — в Дом предварительного заключения на Шпалерной, где он провел еще два с половиной месяца. Оттуда он попал на принудительные работы в Чесменский лагерь, находившийся в старинных зданиях бывшей богадельни на окраине города — близ Чесменской церкви. Режим был нестрогим, и все напоминало обнесенную колючей проволокой казарму с «палатами» на 15–20 человек.

После освобождения Евгений продолжил обучение в институте, а на работу устроился в Производсоюз — заведующим сельскохозяйственным отделом и организатором очередной сельхозартели⁸⁰.

Летом 1922 года Надя ждала второго ребенка, но роды окончились трагически: умерли оба — и мать (от сепсиса), и новорожденный мальчик (от пиемии). Самого Евгения в эти дни арестовали во второй раз. На этот раз из Гороховой его вытащил доктор Ю.Ю. Джанелидзе, ходивший на прием к председателю петроградской ЧК Н.П. Комарову. Тот распорядился перевести Мандельштама под домашний арест: так что домой Женя вернулся и около недели прожил вместе с конвоиром, после чего конвоира отозвали (ЕЭМ, 155–156).

А вот в третий раз его арестовали 23 марта 1923 года — по обвинению в проведении антисоветской агитации и распространении в контрреволюционных целях ложных слухов — и постановлением Комиссии НКВД по административным высылкам от 11 мая 1923 года он был осужден к высылке из Петрограда без указания срока и с запрещением проживания в перечисленных в постановлении местностях⁸¹. Постановлением все той же Комиссии НКВД по административным высылкам от 23 мая 1923 года высылка в его отношении была отменена без указания причин⁸². Причина же на самом деле была: энергичные — через Бухарина и Зиновьева — хлопоты старшего брата.

При этом сам Евгений Мандельштам говорил и писал о том, что на допросах ему инкриминировали связь с меньшевиками — реальными или мнимыми, и что, несмотря на то что сам он был беспартийным, к меньшевикам причислили как бы и его самого⁸³.

После третьего ареста Женю долго не восстанавливали в институте, никуда не брали на работу. Но помог случай: по протекции Павла Болеславовича Зенкевича, кузена своей однокурсницы Наташи Григорьевой, он устроился на службу в МОДПИК

79 Арх. дело № П-44067. Реабилитирован по этому делу заключением Прокуратуры СПб. от 9 октября 2003 г. Письмо начальника Управления ФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области П.П. Аникина Е.П. Зенкевич № 10/21-3-502 от 5 июля 2004 г.

80 На станции Новоселье Варшавской дороги, между Лугой и Псковом (ЕЭМ, 154).

81 Арх. дело № П-87820.

82 Реабилитирован по этому делу заключением Прокуратуры СПб. от 21 мая 1998 г.

83 Весьма вероятно, что эти ниточки тянулись к «Производсоюзу», где работали также заметные меньшевики, как Филипп Юдин или Федор Исаевич Ежов-Цедербаум (1883–1937), двоюродный брат Юлия Осиповича Мартова (см.: <http://socialist.memo.ru/lists/bio/l23.htm>).

(Московское общество драматических писателей и композиторов) — агентом по сбору авторского гонорара при уполномоченном общества по Ленинграду Б.К. Рынде-Алексееве. Когда в 1924 году последнего сменил С.Э. Радлов, Евгений Мандельштам стал ответственным секретарем ленинградского МОДПИКа.

Служба в МОДПИКе была для него оптимумом: ненормированный рабочий день позволял ему сочетать продолжение учебы с зарабатыванием на жизнь. Временная, как ему поначалу думалось, работа привлекала общением с интересными людьми и участием в организации творческих вечеров и диспутов. А в результате он прослужил в МОДПИКе и других писательских организациях вплоть до 1931 года, то есть около 11 лет (ЕЭМ, 159–167).

Впрочем, в 1926 году, когда Евгений окончил, наконец, Медицинский институт, на короткое время он вновь оказался на развилке: мир искусства или мир науки? Ему предлагали стать научным сотрудником Института профессиональных заболеваний, но он «уже с головой окунулся в мир литературы и театра и отойти от него уже не смог, да и не захотел» (ЕЭМ, 160–161).

При Радлове и Мандельштаме в Ленинградском отделении МОДПИКа членствовало более 400 человек. В 1925 году с переводом драмы «Кромдейр-Старый» вступил в нее и Осип, пораженный братниной активности и близко к сердцу принявший сопутствующие трудности и проблемы.

После смерти жены Евгений нескоро пришел в себя. Но в 1927 году он по уши влюбился, причем — в ту самую Ольгу Ваксель (Лютика), из-за которой в 1924 году его старший брат чуть было не развелся со своей Надеждой. Втроем с Ольгой и ее сыном Арсиком Евгений Мандельштам поехал на Черное море: было у них что-то вроде медового месяца, но вот только без свадьбы — все существо Лютика было антиматерией к институту брака⁸⁴.

Во второй раз Евгений Эмильевич женился в 1928 году. Его вторая жена, Татьяна Григорьевна Григорьева (1904–1981), была энтомологом, сотрудником Ленинградского института защиты растений. Вместе с ней на 8-ю линию переехала и ее старшая сестра Наташа (1899–1975): по специальности врач-эпидемиолог, она училась вместе с Евгением в институте, а до 1929 года и работала вместе с ним в МОДПИКе.

13 сентября 1930 года родился Юрий, и у Татки появился братик.

Мария Николаевна Дармолатова одинаково хорошо относилась и к «своей» Татьяне, и к «чужому» Юрке. Фактически до самой своей смерти она воспитывала обоих — и Юру, и Наташу.

Юрий Евгеньевич со временем окончил 2-й медицинский (Санитарно-гигиенический) институт в Ленинграде, работал по распределению санитарным врачом в Кингисеппе, а с 1958 года и до конца жизни — в академическом Институте эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова, где прошел путь от лаборанта до ведущего научного сотрудника и доктора биологических наук (1979)⁸⁵. Он умер 15 октября 1990 года.

Его жена — Татьяна Викторовна Мандельштам (Домарева; 5 августа 1931 — 3 октября 2011) была кандидатом химических наук. В 1957 году, после окончания химфака Ленинградского государственного университета и аспирантуры, осталась на химфаке, где работала младшим научным сотрудником лаборатории природных соединений, затем ассистентом кафедры радиохимии, а с 1964 года — доцентом ка-

84 См.: «Возможна ли женщине мертвой хвала?..» Стихи и воспоминания Ольги Ваксель / Редактор-составитель и автор послесловия: А. Ласкин; научный редактор и автор вступительной статьи: П. Нерлер; подготовка текста: И.Г. Иванова, А. Ласкин, Е. Чурилова; комментарии: Е. Чурилова. М.: РГГУ, 2012. 437 с. (Записки Мандельштамовского общества. Вып. 20).

85 Он автор монографии «Нейрон и мышца насекомого» (Л.: Наука, 1983. 168 с.) и большого числа статей по ультраструктуре и физиологии мышц и нервно-мышечных соединений насекомых.

федры органической химии⁸⁶. В 1990-е гг. занялась историей семьи Мандельштамов и сделала об этом несколько публикаций⁸⁷.

В конце 1920-х гг. правление МОДПИКа ставило перед Наркомпросом вопрос об объединении с Драмсоюзом и создании общей и единой организации (Всероскомдрам), что и произошло — официально, начиная с 1 апреля 1930 года, председателем был назначен директор МОДПИКа В.А. Тронин, драматург и партийный функционер⁸⁸. Евгений Мандельштам стал ответственным секретарем ленинградского отделения Всероскомдрама.

Но всякая реформа чревата неожиданными последствиями, в том числе и для реформаторов-активистов. Они, как правило, первыми и подпадают под взмахи новой метлы. На ленинградское свое отделение Тронин наслал комиссию, которая искала и нашла в отчетности какие-то злоупотребления. Осип, измученный своей «битвой под Уленшпигелем» (см. об этом: «Знамя», 2014, № 5–6), писал 24 февраля 1930 года жене в Крым о «битве» младшего брата: «У моего Жени — процесса пока нет. Никаких злоупотреблений. Но травля и шельмование грандиозные. <...> Он **исключен** из Модпика. Без всяких средств. Хочет по врачебной линии, когда все выяснится. <...> Вся шайка писателей Женю предала, разбежалась» (4, 133).

Как бы то ни было, но в 1931 году и со Всероскомдрамом пришлось распрощаться.

Приезд Осипа с женой в Ленинград в январе 1931 года совпал с этим кризисом у младшего брата. Отношения со старшим тогда напряглись до чрезвычайности, и именно тогда Женя закатил Осипу скандал из-за его стихов: в прочитанных старшим братом гениальных строчках младший вдруг опознал и «лестницу черную» в своем подъезде, и «вырванный с мясом звонок» своей квартиры: он возмущался и кричал, что он с женой — настоящие советские люди и что *такие* стихи для них — мерзость.

Но улеглось и это. Тогда, в 1931 году, в отличие от 1923 года, альтернативы трудоустройства у Евгения Эмильевича все же были, и некоторые вчерашние его клиенты готовы были за него похлопотать. Сочетание организационного опыта в сфере искусства с медицинским образованием впервые навело его на мысли о научно-популярном кинематографе. Евгений Мандельштам поступил на «Ленфильм» в качестве законтрактованного сценариста научно-популярных фильмов с обязательством сдавать по два фильма в год (и вот вам тематический план на первый год: «Санитарная культура села» и «Охрана труда в СССР»!).

Он засучил рукава и взялся за дело с тем же самым энтузиазмом, с каким, будучи горожанином-первокурсником, взялся за сельскохозяйственную коммуну в глубинке. Чтобы преуспеть в кинодокументалистике, нужно было нырять в нее с головой — идти в ассистенты или помрежи съемочной группы. Но зарплата в таком случае была бы настолько малой, что не давала бы возможности прокормить семью.

Тогда в 1932 году подвернулся другой выход. Один Женин приятель, В.Н. Владимиров-Венцель, служил в Ленинградском профкоме писателей ответственным секретарем. Он настоял на принятии Е. Мандельштама в члены горкома и предложил ему работу во вновь создаваемой при горкоме организации — Ленинградской комиссии по улучшению быта литераторов (сокращенно — Ленкублите)⁸⁹, размещавшейся, вместе со столовой, в доме Шлякова на Невском (дом 106). Председателем

86 Она автор ряда статей и учебного пособия: Голодников Г.В., Мандельштам Т.В. *Практикум по органическому синтезу*. Под ред. проф. К.А. Оглоблина, Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1976, 376 с.

87 Мандельштам Т.В. *Студенческая артель в Белом Валу // СМР. Вып. 4/1. М., 2008. С. 112–119.*

88 Плотников К.И. *История литературной организации Всероскомдрам (по материалам Отдела рукописей ИМЛИ РАН)*. Диссертация на соискание ученой степени канд. фил. наук. М.: ИМЛИ, 2015. 284 с.

89 Своего рода предшественница Литфонда, оформленного на Первом съезде писателей в 1934 году.

правления была избрана Лидия Сейфуллина, а Женя проработал в этой комиссии и затем в Литфонде около четырех лет.

В 1936 году Жене пришлось уйти и из Ленкублита. И тогда впервые «заработал» его медицинский диплом. До самого начала войны Евгений проработал врачом-гигиенистом, следя за гигиеной труда на производствах, основами социального страхования и организации отдыха.

Заработки врача-гигиениста были скромны. Денег для того, чтобы обеспечить семью, до войны состоявшую из семи человек, не хватало. И Евгений Эмильевич хватался за любую «халтуру» — читал лекции, чуть ли не любые, вел занятия на курсах, чуть ли не любых, и т.п. Возможно, он «экономил» и на казавшейся ему непомощной помощи старшему брату.

На стык 1936 и 1937 гг. пришлось самые трудные месяцы в отношениях с Осипом, когда старший брат, реагируя на письмо или разговор по телефону, клеймил его, правда, не отсылая письма, в которых он его клеймил: «Здравствуй, брат! // Впрочем, — кажется, уже не брат. // Это — другое. // Это — что-то другое». Или: «Евгений Эмильевич! <...> Денег я у тебя не прошу, но запрещаю тебе где бы то ни было называть себя моим братом» (4, 175).

В 1941 году он был призван в армию и прошел всю войну военным эпидемиологом, обслуживал «Дорогу жизни» на Ладого. А в 1946 году Евгений Эмильевич вернулся к научно-популярной кинодокументалистике. Сначала как редактор и консультант, а позднее — как сценарист: около 50 его скриптов пошли в производство. Особое место в его фильмографии занимала лента о классической генетике «В глубине живого» (1958; совместно с Д. Даниным и Н. Жинкиным). Борьба вокруг этой картины, в разгар лысенковщины, продолжалась девять лет и завершилась тем, что ее создатели получили звание лауреатов Ломоносовской премии (1966) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1967).

В 1963 году Евгений Эмильевич женился в третий раз⁹⁰ и переехал в Москву, где поселился у своей новой жены, Евгении Павловны Зенкевич⁹¹. Так что знакомство с Павлом Болеславовичем Зенкевичем отозвалось в его судьбе не только МОДПИКом.

В 1979 году Евгений Эмильевич Мандельштам умер, и с ним завершилось земное пребывание седьмого колена рода Мандельштамов из Жагор.

⁹⁰ Роман закручивался в те же самые 60–65 лет, что и у Эмиля Вениаминовича с фру Нильсон!

⁹¹ Случайно совпало, что ее московская квартира располагалась в районе метро «Речной вокзал», недалеко от московской студии научно-документального кино.

Дмитрий Иванов

Время Че — XXI век

Полвека минуло с тех пор, как погиб самый знаменитый революционер всех времен Че Гевара, и уже четверть века, как коммунизм из нашего «светлого будущего» превратился в наше смутно осознаваемое прошлое. Но именно в посткоммунистическую эру странным образом вдруг наступило время Че. Герой кубинской революции Эрнесто Гевара, больше известный как Че, погиб в теперь уже далеком 1967 году, так и не раздув пожара мировой или хотя бы всеамериканской революции. Однако сейчас можно увидеть его лик повсюду, от транспарантов на демонстрациях антиглобалистов и жертв бюджетных кризисов до нашивок на заднем кармане джинсов и вывесок ночных клубов, и нескончаемым потоком выходят посвященные революционеру фильмы и книги.

Тенденции почитания, поминания и потребления образа Че оформились в самом конце прошлого века и к началу XXI века превратились в особого рода феномен. *Феномен Че — это популярность в капиталистическом обществе образа революционера, яростно боровшегося против капитализма.* Феномен Че уже не только и даже не столько политический, сколько культурный и экономический. Теперь образ революционера не только не опасен, этот образ полезен и приятен ультрасовременным буржуа, предпринимателям и потребителям. Образ революционера вызывает приток адреналина у тех, кто не желает идентифицировать себя с рутинной благопристойного и размеренного образа жизни традиционных буржуа. Антикапиталист Че популярен в обществе потребления, он стал едва ли не иконой стиля. Так что капиталисты больше не боятся Че, они любят Че, нуждаются в Че, хотя и не понимают Че. Они тянутся к нему интуитивно и инстинктивно, потому что именно в образе Че нынешний постиндустриальный капитализм находит выражение своих ценностей: яркой индивидуальности, инновационности, мобильности, быстрой карьеры, вызова рутине и даже... мечты о дауншифтинге.

Феномен Че пытаются раскрыть историки и журналисты, писатели и режиссеры. В поисках разгадки они перебирают событие за событием его жизнь, чем только умножают число вопросов без внятного ответа. Факты жизни Че не объясняют феномена Че.

ЖИЗНЬ ЧЕ

Основные вехи жизни Эрнесто Гевары можно изложить просто и коротко, всего лишь в двадцати пяти пунктах.

Родился 14 июня 1928 года в Аргентине, в городе Росарио-де-Санта-Фе, и при крещении получил имя Эрнесто Гевара де ла Серна.

В 1931 году заболел астмой и на протяжении всей жизни боролся с ее приступами.

Об авторе | Дмитрий Иванов — доктор социологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, автор книг «Виртуализация общества» (2000), «Глэм-капитализм» (2008) и др. Автор «Знамени» с 2013 года, см. статью «Сверхновая экономика» (2013, № 3).

В 1944–1945 годах занялся самостоятельным изучением философии и впервые читал Маркса, но, по его собственным словам, «ничего не понял». А представление о марксизме он составил на основе нескольких высказываний Энгельса, Ленина и... Гитлера (в личном архиве Че Гевары сохранились его выписки из «Майн Кампф» о «расовом характере» теории Маркса)¹.

Учился на медицинском факультете университета в Буэнос-Айресе с 1947 по 1953 год, получил диплом врача.

В 1952 и 1953 годах совершил два путешествия по Латинской Америке и описал свои впечатления в заметках, первая часть которых была через полвека положена в основу фильма «Дневники мотоциклиста». В этих заметках первоначальные наблюдения беззаботного бродяги за природой и незатейливой жизнью аборигенов перемежаются более поздними вставками с леворадикальными по духу оценками социально-экономических условий жизни и политических событий и фигур.

В 1954-м жил в Гватемале, где перебивался случайными заработками то медика-лаборанта, то фотографа, проводил время в общении с такими же иммигрантами и с местными коммунистами, а еще стал очевидцем организованного спецслужбами США военного переворота — свержения правительства президента Арбенса.

В 1954–1956 годах в публицистических и поэтических рукописях², в письмах родственникам и в беседах с друзьями стал подавать себя как коммуниста и марксиста, так и не прочитав работ самого Маркса и не вступив ни в одну компартию.

В 1955 году в Мексике, куда переехал после переворота в Гватемале, женился на перуанке Ильде Гадеа.

В 1955 году познакомился с прибывшими в Мексику после освобождения из тюрьмы лидерами неудавшегося восстания на Кубе — братьями Фиделем и Раулем Кастро и с энтузиазмом вступил в созданный ими отряд кубинских эмигрантов, от которых и получил прозвище «Че»³.

Оставив жену и десятимесячную дочь в Мексике, тайно отправился в конце ноября 1956 года на Кубу в качестве врача вооруженного отряда противников кубинского президента Батисты.

2 декабря 1956 года в числе 82 участников экспедиции высадился с яхты «Гранма» на кубинский берег в провинции Ориенте в районе города Никеро и спустя три дня получил «боевое крещение», когда солдаты армии Батисты внезапно атаковали и рассеяли отряд Кастро неподалеку от селения Алегрия де Пио.

В июле 1957 года получил звание команданте и стал командиром колонны (отряд из 75 человек) в повстанческой армии Фиделя Кастро, которая после первого поражения выжила, выросла и вела партизанскую войну с правительственными войсками в горах Сьерра-Маэстра на дальнем востоке Кубы.

В сентябре — октябре 1958 года провел «8-ю»⁴ колонну (140 бойцов) на запад Кубы (из Сьерра-Маэстра в Сьерра-дель-Эскамбрей) и стал фактически командую-

1 Составленные в юности списки книг для чтения и конспекты, претенциозно озаглавленные «Философские тетради», частично опубликованы в сборнике работ Че Гевары *América Latina. Despertar de un Continente*. Melbourne — New York — La Habana: Ocean Press, 2003, p. 156–179.

2 Неопубликованные при жизни Че Гевары наброски книги о проблемах здравоохранения, статьи о политической ситуации в Гватемале и Латинской Америке в целом, а также его стихи можно теперь прочесть в сборнике *América Latina. Despertar de un Continente*. Melbourne — New York — La Habana: Ocean Press, 2003, p. 80–86, 122–154.

3 В Аргентине и Боливии возглас *Che!* используется для привлечения внимания собеседника, в смысле «Эй!». В других странах Латинской Америки так иногда называют вообще всех аргентинцев и боливийцев из-за частого употребления ими этого словечка.

4 На самом деле в повстанческой армии Кастро не было такого числа колонн, номер «8» был военной хитростью и должен был создавать у генералов Батисты ложное впечатление о силах противника.

щим партизанскими силами в западной части острова и вторым после Фиделя человеком в руководстве революционного движения.

Выиграл сражение за город Санта-Клара 28–31 декабря 1958 года и после известия о бегстве Батисты из страны совершил 2 января 1959 года марш на Гавану, где стал комендантом крепости Ла Кабанья и организовал аресты и расстрелы силовиков, служивших Батисте.

В 1959 году стал «стопроцентным» кубинцем: получил кубинское гражданство, женился на кубинке Алейде Марч (заочно разведясь с первой женой), был назначен председателем Национального банка Кубы.

В 1959–1965 годах в качестве представителя кубинского правительства совершал длительные зарубежные поездки, в ходе которых побывал в двадцати восьми странах.

Опубликовал в 1960 году книгу «Партизанская война», ставшую международным бестселлером и учебным пособием для левых экстремистов.

В 1960 году после бесед с посетившим Кубу вице-премьером правительства СССР Микояном вновь занялся изучением марксизма и на этот раз успешно — быстро освоил созданную Марксом формационную теорию социально-экономического развития. Из сопоставления теории с практикой «реального социализма» в СССР он понял, что это не новое общество, а все тот же капитализм, только еще и обремененный бюрократизмом, тормозящим развитие.

С 1961 по 1965 год работал министром промышленности, а еще рубщиком сахарного тростника, периодически покидая министерское кресло на пару недель, чтобы показать согражданам пример «коммунистического труда».

В статьях и выступлениях в 1962–1964 годах пропагандировал собственную концепцию экономического развития Кубы, расходившуюся с экономической моделью, которую правительству Кастро навязали советники из СССР, ставшего с 1960 года главным спонсором нового кубинского режима.

Оставил в апреле 1965 года все официальные посты, жену и пятерых детей⁵ на Кубе и провел семь месяцев в партизанском отряде в Конго, пытаясь развернуть там революционную войну.

После неудачи в Конго вернулся в 1966 году на Кубу и подготовил группу для партизанской экспедиции в Боливию.

В ноябре 1966 года с сильно измененной внешностью и фальшивым паспортом въехал в Боливию и возглавил партизанский отряд в горах, где рассчитывал создать очаг революционной войны.

После полугода скитаний по горам и стычек с частями боливийской армии попал в окружение, был ранен и взят в плен 8 октября 1967 года.

Расстрелян 9 октября 1967 года в боливийском селении Ла Игера.

Череда фактов подводит к мысли, что *жизнь Че — это цепь приключений маргинала и дилетанта*, который ни в одном месте и ни в одном деле не был вполне своим. Он брался то за одно дело, то за другое, большей частью так и не доводя их до завершения. Он был поначалу врачом, иногда путешественником, немного солдатом, отчасти политиком, самую малость финансистом, слегка военным теоретиком, чуть-чуть философом и экономистом, по мере сил чернорабочим, в чем-то аргентинцем, кое-как кубинцем и время от времени мужем и отцом. В жизни Че не было таких выдающихся свершений, которым всерьез стремились бы подражать современные почитатели и потребители его образа. Сама по себе жизнь Че не содержит объяснения феномена Че. Поэтому объяснение часто ищут в «магии личности», и тогда на место фактов приходит мифология.

5 У Че Гевары и Алейды Марч родились две дочери и два сына. Дочь Че от первого брака жила вместе с ними.

МИФОЛОГИЯ ЧЕ

Миф — это возведение быта в ранг бытия. В мифе вся сложность мира складывается из простых, понятных и подручных вещей, составляющих быт человека, и вся сложность жизни сводится к обыденным мыслям, чувствам и действиям. В мифе мир создается за шесть дней, покоится на спинах трех китов, и все в нем состоит из четырех стихий — земли, воды, воздуха и огня. В античной мифологии природные стихии, войны, возвышение и гибель царств — результаты по-человечески понятного семейного быта, то любви, то ссор Зевса и его многочисленной родни. Картины по-человечески понятных проблем и их решений богами снимают сложные вопросы о природе вещей, устройстве мира, смысле жизни и ходе истории. В ветхозаветной мифологии драматизм и напряжение истории определяются тем, как ловко использует дьявол-искуситель особенности личности Бога-творца, ревнивого, подозрительного и мстительного опекуна человечества. В новозаветной мифологии судьба мира изменяется с приходом нового лица — Бога-сына, доброго и готового на самопожертвование друга человечества.

Мифы всегда заменяют исследование структуры событий и динамики истории рассказом о роли личности в истории. Личность героя мифа и есть олицетворение истории. И те, кто пытается объяснить феномен Че, разгадывая магию его личности, вносят свой вклад в создание мифологии Че. Пропагандистами социализма создается образ Че как самого человеческого коммуниста, бескорыстного борца за социальную справедливость, марксистского Спасителя. Противниками социализма создается образ Че как самого опасного коммуниста, маниакально-депрессивного любителя повоевать, марксистского Искусителя.

Однако более любых идеологов преуспели аполитичные продавцы значков и футболков. В их незамысловатом мифе образ человека с бородой и в берете становится олицетворением революции вообще. В образе, запечатленном в 1960 году кубинским фотографом Альберто Кордой, нет никакой политической идеологии, а есть завораживающий лик, выхваченный прямо из быта человека, который пришел на очередной митинг и которому в суете и горячке тех событий, что называются революцией, не во что было одеться и некогда было посетить парикмахера. Именно этот созданный Кордой фотопортрет в современной массовой культуре стал каноническим, потому что лучше других транслирует мифологический образ Че: вечно молодой революционер — романтик, «конкистадор свободы» без определенной идеологии, определенного места жительства и занятия.

Этот канонический образ является стержнем всей мифологии Че, на него ориентируются теперь и поклонники и противники Че Гевары, под него подстраиваются идеологи, на него нанизываются все книги и фильмы о Че Геваре. До интеллектуалов мифологию Че доносят биографические книги, безостановочно издаваемые после его смерти, и собрания его сочинений. Первые такие собрания вышли в 1969 году (в Италии в четырех томах) и в 1970 году (на Кубе в двух томах), а новейшее — серия антологий — публикуется с 2002 года австралийским издательством на основе материалов гаванского Исследовательского центра «Че Гевара», возглавляемого вдовой легендарного команданте Алейдой Марч. До не склонных или не способных к чтению образ Че доносит кино. Самый первый фильм о команданте Геваре под названием «Че!» был выпущен в 1968 году кинокомпанией «XX век — Фокс» с Омаром Шарифом в главной роли. Последними по времени стали снятый Вальтером Саллесом в 2003 году фильм «Дневники мотоциклиста» с Гаэлем Гарсиа Берналем в главной роли, вышедший в 2005 году фильм Джоша Эванса «Че Гевара» с Эдуардо Норьегой и вышедший в 2008 году фильм режиссера Стивена Содерберга «Че» с Бенисио дель Торо. А еще в 2009 году в Аргентине поставлен мюзикл «Че».

В России начало канонизации образа Че было положено книгой И. Лаврецкого «Эрнесто Че Гевара», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» в 1972 году. Собственно работы Че издавались скупой: «Партизанская война» (1961), «Боливийский дневник» во фрагментах (1968), «Эпизоды революционной войны» (1974), сборник статей «Экономические воззрения» (1990). Казалось бы, с концом правления компартии и с распадом СССР должен был иссякнуть или, по крайней

мере, ослабеть поток книг коммуниста Че и о коммунисте Че. Но как раз с конца 1990-х российские издательства гораздо активнее выпускают биографические работы о Че и сборники его трудов⁶. Вот уж воистину: с уходом коммунистов наступило время Че.

Несмотря на различия в подходах и оценках, образ Че, сложившийся и в антикапиталистической идеологии, и в антикоммунистической идеологии, и в буржуазной массовой культуре, в общем один и триедин: бескомпромиссный революционер — ночной кошмар всех обывателей, самоотверженный строитель социализма — ночной кошмар всех предпринимателей, партизан-интернационалист — ночной кошмар всех правителей.

То, что этот образ революционного бойца и романтика является общепринятым, отнюдь не означает, что это аутентичный Че. Есть и другой Че, больше похожий на буржуазного интеллектуала и прагматичного менеджера. И этот другой Че отчетливо проявляется в собственных словах и делах Эрнесто Гевары.

В 1959 году во время турне по странам Азии и Африки команданте Че записал в своем дневнике: «Я люблю мой ингалятор больше, чем пистолет... Я склонен к глубоким размышлениям во время тяжелых приступов астмы»⁷. Так говорил Че Гевара, полагая, что для революционера возможность развивать идеи не менее ценна, чем возможность пострелять.

Команданте Че продвигал революционную идею в направлении развития общества потребления еще в 1961 году, когда, выступая перед руководителями кубинских предприятий, иронически отзывался об идеологии ярых противников буржуазного образа жизни: «Не существует никакого конфликта между красотой и революцией. Действительно, ошибка — изготавливать уродливое изделие для повседневного пользования, когда оно может быть приятным на вид (и здесь-то и заложен динамит), потому что товарищи иногда думают, что когда при плохой организации снабжения людям подсовывают дрянь и старье, а люди начинают протестовать, то, значит, они контрреволюционеры»⁸. Так говорил Че Гевара, полагая, что главным ориентиром для отвечающего за промышленную политику министра-марксиста является «народ-потребитель» (по-испански — el pueblo consumidor).

Команданте Че развивал собственную концепцию управления экономикой и при этом опирался на опыт менеджмента американских монополий на Кубе и вступал в полемику с марксистами, боявшимися «заражения» буржуазной идеологией: «Мы можем сказать, что в качестве техники предшественником бюджетной системы финансирования является империалистическая монополия... В то же время наша незрелая концепция Революции привела нас к искоренению ряда установившихся методов только потому, что они были капиталистическими. Поэтому наша система все еще не достигла степени эффективности, которую имели местные филиалы монополий в управлении и контроле производства; мы идем по этому пути, очищая его от любого прежнего словесного мусора»⁹. Так говорил Че Гевара в 1964 году, полагая, что лучший образец организации и управления революционное правительство может найти в капиталистическом менеджменте.

6 Вот лишь несколько примеров: Тайбо П. Гевара по прозвищу Че. М., 2000; Че Гевара Э. Я — конкистадор свободы. М., 2000; Жан Кормье. Че Гевара. Спутник революции. М., 2004; Майданик К. Эрнесто Че Гевара, его жизни, его Америка. М., 2004; Гавриков Ю. Последний романтик революции. М., 2004; Че Гевара. Эпизоды революционной войны. М., 2005; Че Гевара Э. Статьи, выступления, письма. М., 2006; Андерсон Дж. Че Гевара. Важна только революция. М., 2009; Войцеховский З. Че Гевара, который хотел перемен. М., 2013.

7 Цитируется по книге Тайбо П. Гевара по прозвищу Че. М., 2000, с. 374.

8 Выступление на Встрече изготовителей национальной продукции 27.08.1961. Цитируется по книге Тайбо П. Гевара по прозвищу Че. М., 2000, с. 445.

9 Guevara, Ernesto Che. Obras. 1957–1967. La Habana, 1977, Tomo II, p. 260; русский перевод — в книге Гевара Ч. Экономические воззрения. М., 1990, с. 121.

Говоря о главных экономических задачах кубинской революции, команданте Че самую дерзкую и перспективную из них формулировал так: «Наконец, будет необходимо приступить к более или менее постепенной автоматизации всех процессов производства, то есть войти полностью в электронику. Можно возразить, что эта сфера — одна из наиболее новых и сложных отраслей промышленности и что лишь считанные страны ею овладели. Мы полагаем, что это — еще одно основание, чтобы ускорить ее изучение и развитие. Мир движется к электронной эре. ...Все указывает на то, что эта наука превращается в некое мерило развития; страна, которая ею владеет, будет в авангарде»¹⁰. Так говорил Че Гевара. И говорил он это в 1962 году, когда прошло лишь несколько месяцев с момента изобретения первой интегральной схемы (прототипа всех будущих микропроцессоров), когда компьютеры были размером с автобус, а Биллу Гейтсу и Стиву Джобсу было по семь лет.

Уже этих примеров достаточно, чтобы размыть канонический образ Че и нарисовать совсем другой образ выдающейся личности: рефлексирующий революционер — лидер, обладающий глобальным видением, прагматичный организатор новой экономики — менеджер, принимающий нестандартные решения, ироничный партизан — создатель альтернативных трендов.

Вопрос, какой из предъявленных выше двух образов Че аутентичный, неразрешим в пределах любой мифологии, которая по определению предполагает только простой, доступный на уровне быта ответ. Че ускользает, уходит от такого ответа, как уходил на всем протяжении своей недолгой жизни от одного себя к другому себе. Мобильная аутентичность Че была заявлена им самим в его книге «Партизанская война», где из технического руководства по ведению неконвенциональной войны у него родилась философия партизана: «Все это приводит нас к вопросу, каков образ жизни партизана. Его нормальная жизнь — поход»¹¹. Собственно военные действия оказываются лишь эпизодами в этой жизни. Этого принципа «жизнь — поход» Че очевидно придерживался, когда после победы над Батистой остался на Кубе и стал министром, когда отправлялся в зарубежные турне и на рубку тростника, когда отказался от всех своих должностей и отправился вновь воевать, сначала в Конго и, наконец, в Боливию. Это и есть его прикладная философия: подлинное бытие — свобода, и это подлинное бытие достигается в движении. Чем комфортнее условия существования, тем подвижнее нужно быть, чтобы удержаться в подлинном бытии.

Ни в каноническом образе Че, ни в альтернативном образе Че не отражается полностью и без искажений уникальная личность Эрнесто Гевары. Факты показывают, что реальный Че был весьма многолик. Поэтому для объяснения феномена Че нет смысла задаваться вопросом об аутентичном Че. Гораздо осмысленнее будет вопрос об актуальном Че, то есть вопрос о том, почему писатели, режиссеры, создатели рекламы и их публика именно теперь так часто самовыражаются при помощи образа Че и почему они так долго не замечали другого Че. А это вопросы не о жизни и не о личности Че. Это вопросы о нашем обществе и о нашем времени: почему сейчас наступило время Че?

ВРЕМЯ ЧЕ

Нужно различать время действия Че и действительно время Че. Время действия Че — середина XX века. В то время нарастал кризис индустриального капитализма, марксизм был альтернативной идеологией, и партизаны разворачивали свою борьбу в джунглях.

Рост эффективности производства за счет его стандартизации и концентрации создал товарную массу, массу рабочих и массу проблем неэффективности рынка,

10 Guevara, Ernesto Che. *Escritos y discursos*. Tomo 6. La Habana, 1977, p. 108; русский перевод — в книге Гевара Ч. *Экономические воззрения*. М., 1990, с. 65.

11 Guevara, Ernesto Che. *Obras*. 1957–1967. La Habana, 1977, Tomo I, p. 68; русский перевод — в книге Гевара Э. *Партизанская война*. М., 1961, с. 47.

слишком слабого, чтобы обеспечить потребление всего произведенного. Назрел сдвиг от «пещерной» конкуренции и эксплуатации работников к консюмеризму, то есть к режиму «создания» корпорациями потребителя и управления потребительским поведением.

В условиях неэффективности рыночных структур вполне закономерно силу набирает та идеология, которая традиционно сфокусирована на обличении рыночной стихии и прославлении централизованного планирования. Поэтому в середине XX века именно марксизм, предлагавший развитие общества на основе отказа от рыночной экономики, выглядел серьезной альтернативой и переживал пик своего влияния.

На периферии индустриального капитализма, и глобальной — в странах третьего мира в целом, и локальной — в лесах и горах аграрных районов, кризис переживался острее, а партизанские атаки против существующего режима заменяли собой любую идеологическую борьбу. Поэтому укрывавшиеся вдали от промышленных центров вооруженные отряды повстанцев имели широкую поддержку и неплохие шансы на успех.

Действовавший в то время Че Гевара изо всех сил старался быть и борцом против капитализма, и марксистским идеологом, и партизанским командиром. И, тем не менее, это явно было не его время. Его идеи о новом обществе высокого уровня технологий, образования, потребления и его действия по внедрению нового менеджмента чаще наталкивались на общее непонимание и сопротивление, чем находили сочувствие и поддержку. Его соратники по прошлой борьбе делали ставку не на развитие того типа общества, которое социологи и экономисты в 1970-х годах стали называть постиндустриальным, а на экспорт сырья (сахара и никеля), на кредиты и на советников из СССР. А Че советский строй считал отсталым и называл «гибридным», соединяющим социалистическую риторику о новом обществе со старой экономической системой, застрявшей на уровне индустриального капитализма начала XX века¹². Все это Че увидел, когда в качестве представителя революционного правительства несколько раз побывал в СССР. Визиты вызвали у него разочарование в советской системе «самоуправления» предприятий, а те предприятия, которые ему демонстрировали как образцовые социалистические, он открыто называл капиталистическими, похожими на те, что Куба уже имела до революции¹³. Возврат к ним, пусть и под социалистической вывеской, представлялся абсурдным: революция не имеет смысла, если возвращает к пройденному и не открывает путь к новому обществу. Примирить в теории концептуальные противоречия между идущим от его партизанской философии активизмом и марксистским мейнстримом Че так и не смог. Найти более адекватную, чем марксизм, форму выражения для своего интуитивного постиндустриализма Че Геваре также не удалось. Практической попыткой разрешить эти противоречия стал отказ Че Гевары от всех руководящих постов и гражданства Кубы и отъезд в Конго, чтобы вновь стать действующим партизаном.

Че искренне стремился быть марксистом, но в результате освоения экономических и революционных теорий Маркса и его последователей не Че стал марксистом, а произошла *геваризация марксизма*. Даже с использованием таких ритуальных формул, как «партия рабочего класса», «строительство социализма», «пролетарский интернационализм» и т.п., Че продолжал развивать свою партизанскую философию. Че пытался представить кубинский социализм прямым продолжением революционного движения «пылкого» партизанского авангарда и поэтому был недоволен тем, что практика построения «нового общества» на Кубе скорее тождественна старому капитализму с его «холодным» законом стоимости. В написанном

12 Это свое «открытие» капитализма в СССР Че сначала формулировал очень аккуратно, старательно подбирая необходимые для советских товарищей слова. Но в «Пражских тетрадах» — заметках, написанных в 1966 году уже после ухода со всех руководящих постов, — эта позиция изложена уже без всякого стеснения. См. Че Гевара Э. Статьи, выступления, письма. М., 2006, с. 509–513.

13 См., например, Тайбо П. Гевара по прозвищу Че. М., 2000, с. 509.

в 1965 году (накануне своего ухода из министров в партизаны) философском письме о социализме и человеке Че предупреждал: «Гонясь за химерой реализации социализма с помощью ущербных средств, доставшихся нам в наследство от капитализма (товар как элемент экономики, рентабельность, индивидуальный материальный интерес как рычаг и т.д.), можно зайти в тупик»¹⁴. Этот путь советской системы Че отвергал и, следуя философской концепции молодого Маркса о коммунизме как неотчужденном бытии человека, утверждал: «Для того чтобы построить коммунизм, одновременно с материальной базой нужно создавать нового человека»¹⁵.

Че полагал, что «человек при социализме» представляет собой более полную реализацию человеческой природы, возвращенной через свободный труд и выраженной через культуру и искусство¹⁶. И тут же анализ «реального социализма» приводил Че к выводам о том, что, во-первых, труд не свободен, поскольку человек по-прежнему принуждаем к труду законом стоимости; и что, во-вторых, художественное творчество редуцировано к воспроизведению догм и шаблонов «социалистического реализма», который Че вполне резонно считал искусством прошлого века.

Отсутствующую в марксизме теорию экономики переходного периода, то есть построения «нового общества», Че предлагает строить на двух опорах: «формирование нового человека и развитие техники»¹⁷. Ведущую роль в движении к «новому обществу» Че вполне логично отводит образованию, призванному обеспечить и новое сознание (революционное и свободное от институциональности старого общества с его законом стоимости) и новое знание (инструментальное и продуктивное). В этом пункте логика Че ведет не к развитию марксизма, но, скорее, к развитию постиндустриальной идеи человеческого капитала, хотя постиндустриализм у Че и выражен не очень внятно в силу архаичности выбранного им языка тогдашних последователей Маркса.

Отсутствующую в марксизме концепцию нового, по-настоящему революционного искусства Че предлагает создавать силами нового поколения, которое придет на смену тех интеллектуалов и художников, чей «первородный грех» Че видит в недостатке подлинной революционности. Че не видит смысла искать рецепт новой культуры и нового сознания в «замороженных формах социалистического реализма», который лишь следует образцу реализма XIX века и потому является культурной репрезентацией капитализма. В противоположность нападкам тогдашних советских руководителей во главе с Никитой Хрущевым на художников-модернистов Че заявляет, что «декадентское искусство» XX века — меньшее зло по сравнению с «социалистическим реализмом». Че предлагает двигаться в культуре не назад в прошлый век, а от «декадентских» форм XX века вперед, поскольку задача революционного искусства — создание «человека XXI века»¹⁸. В этом пункте логика Че также ведет не к «обогащению» марксизма, а скорее в направлении той критики модернизма, которая стала основанием постмодернистского дискурса в культуре конца XX столетия.

Концепция «нового человека» обнажает то противоречие, которое породили идеологии модернизма. Че заявляет, что лидеры революционного авангарда (примером здесь у Че служит харизматичная личность Фиделя) пользуются доверием масс, потому что знают их «желания» (*anhelos*). И Че тут же оговаривается: «Речь идет не о том, сколько килограммов мяса съедается или сколько раз в году некто может отправиться на пляж, не о том, сколько красивых вещей, прибывающих из-за границы, можно купить на существующую зарплату. Речь идет именно об индивиду, чувствующем себя более совершенным, с гораздо большим внутренним богат-

14 Che Guevara Presente. Una Antologia Minima. Melbourne — New York — La Habana, 2005, p. 228–229.

15 Ibid., p. 229.

16 Ibid., p. 232.

17 Ibid., p. 233.

18 Ibid., p. 235.

ством и гораздо большей ответственностью»¹⁹. Здесь Че явно принимает сторону одной из разновидностей модернизма. Но он четко показал дилемму: левый модернизм или правый модернизм. Любой модернизм апеллирует к «желаниям» человека и одновременно репрессивует те из них, которые объявляются «неправильными» или «опасными». В XX веке левый модернизм репрессировал желания, ассоциируемые с потребительским комфортом, правый — желания, связанные с радикальным самовыражением. Че противопоставил два модернизма и остановился в шаге от постмодернистского осознания их общей репрессивной природы и превращения концепции «желаний» в основу преодоления модернизма через смешение консюмеризма и радикального протеста. Этот шаг, который диктовался собственной логикой Че, но не был сделан им самим, за него сделали другие. Во-первых, в 1960-х годах по этому пути прошли неомарксисты Франкфуртской школы Маркузе и Адорно и французские постструктуралисты Делез и Бодрийяр, а во-вторых, сейчас логике смешения консюмеризма и радикального протеста интуитивно следуют те стихийные постмодернисты, которые успешно торгуют вещами, несущими изображение самого знаменитого партизана всех времен.

Че стремился обозначить те концептуальные проблемы, которые обнаруживал в марксизме и решения для которых мучительно искал. Но стремление решить проблемы революционного преобразования общества выводит Че за оказавшиеся тесными рамки марксизма и подводит его вплотную к идеям постиндустриализма и постмодернизма. Профессионалы в философии — неомарксисты и постструктуралисты — шли к ним на протяжении десятилетий, а дилетант Че совершил рывок к постмодернизму в первой половине 60-х где-то в промежутках между совещаниями в Министерстве промышленности, поездками на рубку тростника и визитами в страны Восточной Европы, Азии и Африки. Партизанский постмодернизм Че Гевары выразился в парадоксальном и неприемлемом для модернистской культуры перетекании и смешении дискурсов. Марксизм с его объективистским историческим материализмом перетекал у Че в почти ницшеанский дискурс с его критикой буржуазности и идеей сверхчеловека. Экономический дискурс «построения социализма» легко переходил у Че в эстетический дискурс создания искусства «человека XXI века».

Приверженность интуитивным и не вполне артикулированным принципам свободы, контринституциональности, мобильности не позволила Че стать верным последователем какого-либо из уже сложившихся «-измов»: марксизма-ленинизма, неомарксизма, троцкизма, маоизма и т.п. И сам он, придя однажды через экстремальный опыт к своей прикладной философии, до конца оставался партизаном — мобильным и свободным от институциональности. Че жил в полном соответствии со своей партизанской философией: вступал в новые дела так, как будто это очередной поход, и вскоре уходил с насиженных мест — занятий, постов, стран. Поэтому в середине прошлого века — времени господства больших «-измов», то есть претендующих на универсальность идеологий и общественных систем, Че всюду был чужим. Его образ тогда был популярен лишь среди немногочисленных радикалов, которые были дважды маргиналами — и по отношению к большинству обывателей и по отношению к активистам революционных движений, составлявших марксистский мейнстрим.

Действительно время Че — это начало XXI века. В это время капитализм, переживший кризисную трансформацию, стал постиндустриальным; марксизм, переживший крах социализма, стал постмодернистским; повстанцы в джунглях с революционной борьбой переключились на наркопроизводство, а действительно партизанское движение переместилось в «каменные джунгли» городов.

Постиндустриальный капитализм — это капитализм после виртуализации. Виртуализация означает замещение реальности ее симуляцией, то есть образом реальности. Необязательно с помощью компьютерной техники, но обязательно с применением логики виртуальной реальности. Эту логику можно наблюдать и там, где

компьютеры непосредственно не используются. Например, создание брендов переводит конкуренцию на рынке в виртуальную реальность, где изображаемые производителем и воображаемые потребителем «особые свойства» товара повышают его стоимость. Виртуальное производство сосредотачивается в сфере рекламы, маркетинга и PR, а традиционное промышленное производство теряет ведущую роль, становится поставщиком «сырья» для производства образов и потому вытесняется на периферию. Другим примером может служить создание политических имиджей, которое переводит избирательную кампанию в режим виртуальной реальности, где изображаемые и воображаемые «особые качества» политика повышают его рейтинг. Виртуальная борьба за власть ведется через средства массовой информации, а традиционные политические организации утрачивают свое значение.

В условиях постиндустриального капитализма социальные институты превращаются в виртуальную реальность по мере того, как люди все больше оперируют образами там, где институциональные нормы и правила предполагают создание реальных вещей и совершение реальных действий. Когда виртуализация становится обыденным явлением, когда брендинг и имиджмейкинг повсюду, сетевые структуры, поддерживаемые коммуникациями между теми, кто создает и транслирует образы, начинают доминировать над массовыми организациями и движениями индустриальной эпохи.

Марксизм после краха социализма — это артефакт для постмодернистов. Он превратился в россыпь фрагментов, которые невозможно собрать в идеологию большого стиля, но можно вставлять в постмодернистские стилизации. После мгновенного, по историческим меркам, свержения в Восточной Европе и России власти марксистов, называвших установленный ими экономический и политический режим «социализмом», в идею скорой смены эксплуатации и капитализма эмансипацией и коммунизмом всерьез верят только немногочисленные ультралевые активисты, которые плохо знакомы с трудами Маркса и страшно далеки от народа. Зато эстетическую силу марксистской риторики и символики высоко ценят аполитичные интеллектуалы, которые с легкостью комбинируют марксизм, фрейдизм и структурализм и делают критику капитализма и пафос революционной борьбы «сырьем» для теленовостей, журнальной аналитики, коммерческой рекламы и прочей продукции массовой культуры. Сегодня марксизму его место в общественной жизни в большей степени обеспечивает не политика, а эстетика, движимая столь характерной для постмодернизма иронией. Но при всей насмешливости и скептицизме любая ирония — ностальгическое чувство. Это ностальгия размеренного и просвещенного быта по взрывному и дикому бытию. В иронии находит свой выход грусть оттого, что больше нельзя быть всерьез.

Когда капитализм становится постиндустриальным, а марксизм — постмодернистским, партизанское движение в горах и джунглях утрачивает всякую связь с революцией. Неконвенциональная борьба за изменение общества уступает место неконвенциональному бизнесу: пережившие время действия Че повстанцы теперь организуют на подконтрольных им территориях выращивание наркокультур — коки и опиумного мака — и могут десятилетиями строить свой кокамунизм или макомунизм в труднодоступных районах Колумбии, Бирмы или Афганистана. Партизанское движение, способное изменить общество, возможно теперь только в «каменных джунглях» городов. Однако это не те «городские партизаны», которые подобно бразильцу Карлосу Маригелле, американцам из группы «Метеорологи» (Weather Underground), итальянцам из «красных бригад» и немцам из «фракции красной армии» (RAF) начинали в 1960-х годах с ультралевых манифестов²⁰, а закончили вооруженными ограблениями банков, похищениями и убийствами.

Сейчас настоящие, то есть нарушающие не отдельные правила, а само функционирование социальных институтов партизаны — это вооруженные не взрывчат-

²⁰ В Интернете и сейчас можно легко найти написанный под явным влиянием «Партизанской войны» Че Гевары «Мини-учебник городского партизана» Маригеллы (*Mini-Manual do Guerrilheiro Urbano*).

кой, а дешевыми технологиями копирования «пираты». К их неполитическому и непреднамеренному движению примыкает и применение нетрадиционных и морально рискованных форм продвижения товаров и услуг под названием «партизанский маркетинг» (guerrilla marketing). Эти движения выглядят пародией на партизанскую борьбу XX века. Однако любая пародия — это отнюдь не простое передразнивание. *Пародия — это комфортный способ поклонения, причащение без необходимости жертвоприношения.*

Капитализм стал другим: его институты виртуальны. И в конфликте с ними оказываются виртуальные партизаны — многочисленные ультрасовременные буржуа, которые время от времени вживаются в образ революционного действия и при этом интенсивно применяют сверхновые коммуникационные технологии. Идея разрушить капитализм и желание жить при капитализме для них парадоксальным образом соединились, и соединились они в образе Че. Этот виртуальный, ностальгический и пародийный Че заполнил собой пространство коммуникаций. Канонический образ Че доведен до уровня клише и тиражируется как логотип альтернативности и продвинутости, высоко ценимых на рынках капитализма, пережившего виртуализацию и крах социализма. Сегодня буржуа питают слабость к Че, потому что в его образе выражается дух постиндустриального и постмодернистского капитализма. Так что феномен Че объясняется не его биографией и не свойствами его личности, а характером сегодняшнего общества.

Канонический Че — это универсальный логотип, опознавательный знак на поверхности сверхнового капитализма. Но в идеях и действиях того, другого Че, который не был ни понят, ни принят, ни даже замечен современниками (ни сторонниками, ни противниками), можно разглядеть глубинную логику трансформации капитализма XX–XXI веков. Для капитализма наступает по-настоящему время Че, когда можно не просто объяснить феномен Че, но объяснить и изменить общество при помощи другого Че: Че — философа и Че — менеджера.

Капитализм способен развиваться, поглощая и институционализируя, то есть превращая в норму и рутину освободительные движения и радикальные альтернативы. Поглощая, нейтрализуя их, капитализм одновременно сам становится другим, трансформируется в альтер-капитализм.

Сначала свобода конкуренции, которая была подрывной, антиобщественной идеей в эпоху протекционизма, регламентации и корпоративных привилегий, была утверждена как принцип экономики, и главным институтом капитализма стал рынок. Эту институционализацию рынка в XVIII веке создатель классической экономической теории Адам Смит воспел в образе «невидимой руки» конкуренции, создающей порядок и процветание²¹.

Затем централизация и планирование, эти пугающе «социалистические» идеи, трансформировали капитализм в экономику больших корпораций и государственного регулирования, а организация власти и контроля, исключая конкуренцию, тоже стала институтом капитализма. Эту нерыночную, но капиталистическую структуру в XX веке создатели так называемой новой институциональной теории Рональд Коуз и Оливер Уильямсон воспели в образе «иерархии», снижающей трансакционные издержки — затраты на заключение и поддержание контрактов²².

Теперь в капитализм инкорпорируются в виде проектно ориентированных и сетевых структур те неформальные отношения и открытые самоорганизующиеся сообщества, которые противопоставлялись корпорациям и государству идеологами и активистами новых социальных движений (экологических, правозащитных и т.д.) во второй половине XX века. Таким образом, институционализируется сеть, трактуемая в новой экономической теории как организационная структура, промежуточная между рынком и иерархией²³.

21 Смит А. О природе и причинах богатства народов. М., 1962.

22 Уильямсон О. Экономические институты капитализма. М., 1996.

23 Powell W. Neither Market Nor Hierarchy. Network Forms of Organization // Research in Organizational Behaviour. Vol. 12 (1990).

Альтер-капитализм XXI века сейчас возникает в таких структурах, как, например, «пиратство» в бизнесе и экстремистские движения в политике. Они выглядят подрывными и антисоциальными, но именно такие структуры лучше других отвечают на вызовы настоящего времени, поэтому они — следующий ресурс развития капитализма.

И структурное объяснение феномена Че заключается в том, что теперь пришло и его время одновременно стать ресурсом развития капитализма и изменить капитализм. Концепция революционной борьбы, выдвинутая Че Геварой на основе его кубинского опыта и в пике традиционным революционером-марксистам, вновь оправдывает себя в условиях постиндустриального общества.

Партизан (*el guerrillero*) у Че — социальный реформатор (*un reformador social*), борющийся за преобразование общественного строя (*el régimen social*): «Он нападает на характерное для данного момента состояние институциональности и посвящает себя разрыванию (со всей возможной в данных условиях силой) «легал» этой институциональности»²⁴. Для Че борьба партизан — это борьба самого народа за освобождение от несправедливого строя, а партизанский отряд — «вооруженное ядро» и «сражающийся авангард» народа.

В постиндустриальном обществе роль «народных масс» в качестве движущей силы революции переходит от ставших малочисленными крестьян и промышленных рабочих к потребителям. Именно потребители — это интенсивно эксплуатируемые массы, и потому активные потребители наиболее восприимчивы к революционному пафосу освобождения от оков институциональности²⁵. Протест против сковывающих свободу норм отчетливо проявляется и в лояльности к «пиратам», и в том, что потребителей очаровывают «партизанский маркетинг» (*guerrilla marketing*) и использование в рекламе революционной риторики и символики, включая логотип «Че».

Главные институциональные оковы в постиндустриальном обществе создает так называемая интеллектуальная собственность. Справедливость притязаний поборников исключительных прав интеллектуальной собственности весьма сомнительна: подорвав своим инновационным товаром позиции конкурентов, они хотят оградить себя полицейскими силами от такой же судьбы и удержать монопольное положение на рынке. А вот антикапиталистический характер интеллектуальной собственности несомненен: она явно сдерживает расширение производства и экономический прогресс. Поэтому партизанский бизнес «пиратов» и разного рода дисканунтеров — это стихийная революционная борьба против брендов и копирайта, за свободу и справедливость для потребителей. Как и во всякой революционной борьбе, в партизанском бизнесе участвуют многочисленные авантюристы с вполне корыстными целями, далекими от идей свободы и справедливости. Но альтер-капитализм формируется по мере того, как негативно оцениваемая и маргинальная практика «пиратов» оказывает влияние на «нормальную» практику, и все больше компаний в конкуренции за потребительский спрос встраивают альтернативные, партизанские формы бизнеса в свои структуры и процедуры и тем самым встраиваются в другую, альтернативную нынешнему капитализму экономику.

Таким образом, правильно понятая партизанская стратегия Че может послужить уроком революционерам в постиндустриальном обществе. Вот только вопрос о том, кто является революционером, в постиндустриальном обществе решается по-другому. Плохая новость для профессиональных революционеров — в том,

²⁴ Guevara, Ernesto Che. *Obras. 1957–1967. La Habana, 1977, Tomo I, p. 34; русский перевод — в книге Гевара Э. Партизанская война. М., 1961, с. 14.*

²⁵ Это парадоксальное положение потребителей в ультрасовременном обществе хорошо отражает термин «консюмериат», скрестивший консюмеризм с пролетариатом и введенный в 2000 году шведскими аналитиками Александром Бардом и Яном Зодервистом в их книге «Нетократия». Но справедливости ради следует заметить, что остроумные шведы прошли по пути, уже указанному Че Геварой в его чеканной формуле «*el pueblo consumidor*».

что массы рабочих и крестьян могли быть движущей силой революции в XIX–XX веках, в XXI веке движущей силой становятся потребители. Соответственно, забрасывая трудящихся листовками с призывами, прячась по лесам с оружием и взрывая бомбы, невозможно подорвать существующий строй. Плохая новость для профессиональных капиталистов — менеджеров и бизнесменов — в том, что направляющая сила революции всегда одна и та же — умствующие буржуа и предприимчивые буржуа, которые борются с оковами институциональности. Соответственно, невозможно в существующей экономике удержать рынок, подменяя конкуренцию судебным преследованием тех, кто революционизирует бизнес и управление, использует контринституциональные, партизанские приемы борьбы за благосклонность потребителей.

Таковы в общих чертах вызовы времени Че. В начале нового века команданте повстанческой армии и министр промышленности социалистической Кубы Че Гевара не годится больше на роль символа и вдохновителя борьбы с капитализмом. Теперь образ и идеи Че не подрывают капитализм, а подпитывают альтер-капитализм. Представить альтер-капитализм в образе Че — это вызов одновременно традициям и профессиональных революционеров с их учебниками по марксизму, и профессиональных капиталистов с их учебниками по менеджменту. Но в том-то и суть времени Че: сдвиг привычных структур, трансформация и взаимные переходы одного в другое создают непривычные конфигурации капитализма и революции, марксизма и менеджмента, партизанского движения и бизнес-организации, реального и виртуального, прошлого и настоящего. Пришло время узнаваемого, но при этом неизвестного Че, другого Че, который выпал из своего времени и для которого его настоящее время наступает, когда возникает другой капитализм. И феномен Че — это знак, указывающий направление, в котором следует двигаться в поисках ответов на вопросы о том, что представляет собой ультрасовременное общество и как в нем управляться с делами.

Анатолий Королев

Стена с глазами

Заметки о злоключениях постмодерна из первых рук

Писать свои *Mémoires* заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистоимый. Но трудно. Не лгать — можно; быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью, — на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать <...> суд людей нетрудно; презирать суд собственный невозможно.

Пушкин — Вяземскому

0

Чаще всего я представляю судьбу в виде стены с глазами.

О, она прекрасно видит тебя.

А ты ее нет.

И на эту стену надо запрыгнуть прямо с земли, иначе нельзя.

Иногда судьба выбирает любимчика и подстраивает к ногам избранника лесенку из ступеней, наступи и шагай вверх!

А если ты не заметил ступеньку фортуны в суете бытия?

Что тогда?

Несколько времени судьба ждет, иногда день, иногда месяц.

Не заметил? Ах так! И стена рока вымахивает в два раза и глаза фатума закрываются... Сказать ли честно? Думаю, что шанс стартующему писателю вообще выпадает один-единственный раз в жизни.

В этом умонастроении я форменный фаталист.

Подчеркиваю, шанс *старта* тебе дается один-единственный раз.

Думаю, лица из творческого набора судьбы со мной согласятся, у каждого в уголке памяти сияет золотом тот краеугольный камешек опоры.

Я вот тот знаменательный день запомнил на всю жизнь... Это случилось, в 9 часов утра 16 августа 1974 года, когда я, на бегу, достал письмо из почтового ящика... Я тогда жил в Перми, уныло тянул лямку в областной комсомольской газете корреспондентом в отделе комсомольской жизни, писал о соцсоревновании среди молодежных бригад... Вот и сегодня спешил на службу... Надо ли говорить, что участью своей тяготился и, возвращаясь после работы домой, в комнатушку родной коммуналки на втором этаже двухэтажного дома постройки пленных немцев, пытался писать роман; самая заурядная картина; прав Хемингуэй, который однажды заметил, что проблема

Об авторе | Анатолий Васильевич Королев — писатель, драматург, эссеист. Публикуется в «Знамени» с 1992 года. За это время в журнале были опубликованы: «Голова Гоголя», «Эрон», «Человек-язык», «Быть Босхом», «Дама пик», «Орущий сфинкс» и др. Лауреат премий нашего журнала, а также международной премии Пенне, премии Аполлона Григорьева, премии правительства Москвы и др. Ведет мастерскую прозы в Литературном институте им. Горького. Почетный профессор/доктор «гонимой кауза» Пермского университета. Живет в Москве.

всех молодых писателей одна — ты пишешь, находясь в состоянии тупой усталости. Это как раз про меня.

Да, о письме... недавно (тсс... вот она ступенька) мне попал на глаза альманах «Киносценарии», выходил такой сборник в те далекие годы, покупать его я не стал, но, прислонившись к киоску, белло полистал и наткнулся на сценарии для «Фитиля», был такой сатирический киножурнал в СССР под патронатом поэта Сергея Михалкова. Три сатирических сюжета в альманахе заняли едва ли одну страницу. Прочитав эти миниатюры, я хмыкнул и подумал, что написать такой куцый сценарий не составит труда и тут же придумал сюжет о том, как по всей стране вандалы ломают телефонные автоматы пермского телефонного завода и как эту проблему можно высмеять в духе киносатиры.

Не мешкая, на редакционной машинке я отпечатал свой сценарий — хватило полстранички — и отправил в Москву, минул месяц... и, вот оно! Достая огромный фирменный конверт: Ордена Ленина киностудия «Мосфильм», редакция Всесоюзного сатирического киножурнала «Фитиль», с трепетом разрываю по диагонали, вынимаю лакированный листик размером с ладошку, где в пробел вписана моя фамилия и ниже идет отпечатанный в типографии текст: *Уважаемый тов. Королев, к сожалению, ваш сюжет редакция журнала «Фитиль» не может использовать.* И под текстом отказа маячит зигзаг пером по паркету.

Ниже нарисована стрелка и написано: См. на обороте.

Переворачиваю бланк. Читаю...

Уже от руки:

Срочно, подпишите экземпляр сценария!

Сообщите паспортные данные.

И крупно — *Столбов.*

Ничего не понимаю, переворачиваю, читаю заново, ага, замечаю, что предлог «не» косо перечеркнут тонким штришком; с этой поправкой текст читается так: *Уважаемый тов. Королев, к сожалению, ваш сюжет редакция журнала «Фитиль» может использовать.*

Что за оказия, создатель?

И только тут соображаю: редакция «Фитиля» печатает тысячным тиражом только *отказы*, а бланков *одобрения* у них просто-напросто нет. Взяли этот.

Не мешкая, заново печатаю свой сюжет, лихо ставлю подпись.

Вписываю данные из паспорта... горделиво думаю, ну, брат, рублей пятьдесят получишь, а то и все сто...

Надо признаться, что в редакции молодежки тогда колебались, брать ли меня в штат, и вот уже второй год я корпел на ставке стажера, с окладом 60 рублей в месяц.

Но мимо!

Короче, мой сюжет (выпуск № 155, 1975) был снят на «Мосфильме», главную роль хулигана — взломщика автоматов сыграл замечательный комик Михаил Кокшенов, зал в кинотеатре хохотал, а за полстранички текста мне была заплачена сумма, равная моему газетному окладу за два года (!), уф... теперь я мог писать роман по утрам и потому вскоре уволился.

Главное, я понял, где ключи от судьбы — да, в кино они, в кино!

Так ступенька роковой глазастой стены шагами фатума увела меня в мое будущее. Сначала — из газеты в кино. Затем — из кино в литературу. Попутно — из Перми в Москву.

Как-то, года через два, мы с режиссером Валерием Кремневым (я выиграл еще одну историю со сценарием и переехал в столицу, но скажу сразу — фильм так и не сняли) шли по коридору «Мосфильма» мимо двери с позолоченной табличкой «Фитиль». «Толя, стой! — сказал Кремнев. — У тебя снят сюжет в «Фитиле»? — Да... Ты сегодня первый раз на «Мосфильме»? — Да... — А ну-ка!»

Мы вошли в просторную залу с ковром на полу... витал запах молотого кофе (особый знак комфорта в СССР), при нашем появлении вдали поднял голову незнакомец за письменным столом из карельской березы (эге, подумал я, здесь с чужаками не делятся). Вот автор, сказал Кремнев, которого ты не знаешь. Почему

же, сухо заметил Столбов (помните, подпись на бланке отказа) это... и назвал мою фамилию.

Я растерялся.

Оказалось, что всех своих авторов они распрекрасно знают в лицо.

Мы сели выпить кофе, и он со вкусом рассказал, что на тему ломки автоматов было написано столько-то сценариев, что в планах редакции этот сюжет стоял столько-то лет, что Михалков укорял на летучках, пора-де ударить по телефонному вандализму в стране, но не было в тех сюжетах изюминки, смешной внезапной развязки, пока мы не получили письмо из Перми... и облегченно вздохнули.

Остальное опустим.

1

Кажется, впервые почувствовал, что настала пора позолоченной жатвы, панорама видна с высоты, и ты уже легко видишь носатый профиль начала в далеком 1980 году, когда, оседлав волну от кино, ты пылким Буратино перебрался в Москву, имея в портфеле толстенную рукопись дважды переписанной повести с вызывающим названием: «Мотылек на булавке в шляпной картонке с двойным дном».

Признаюсь, я тогда не ведал, что за глаза уже именуюсь *постмодернистом*, да и имя чудного, львиного рыка и шипа змеиного — постмодерн — не слышал, а мнил себя, скажем осторожно, «фигурой из авангарда», человеком поиска, беглецом из провинции, где царил кондовый стиль передвижников советского толка, где друзья иронично подарили мне как-то махину альбома Репина на день рождения, каковой я благополучно сдал букинистам уже через неделю (в скобках замечу — ныне гений Ильи Ефимовича легко признаю и расшаркиваюсь), но, как говорил Пушкин, подлец тот, кто не возлюбил свободы в час младости, глупец тот, кто в зрелые годы примется освистывать государя.

Переехать в Москву в советские годы — уже головоломка!

Я шел по доске судьбы скачками шахматного коня, срочно написал пьесу, чтобы в сентябре поступить на Высшие театральные курсы, где была открыта ниша для драматургов.

Коня, коня, полцарства за коня...

Написал удачно — приняли.

И вот я уже курсант Мельпомены.

Господа таланты, ядовито обратился к нам Виталий Вульф в первой строке своей первой лекции об американском театре, в искусстве в цене только одна гениальность...

Но главным мечтанием провинциала была, конечно, литература.

Сценарий, запущенный в кино, завис отчасти по моей вине.

Я мысленно кружил ястребом над своей первой будущей книгой.

Этих кругов уже было сделано два.

Уже дважды я переписал свой эскиз «Ловушка на ловца».

Зачем?

А затем, что я переводил свой причудливый авангардный стиль речи в реалистическую манеру, потому как с опозданием, но все же таки догадался, что, пока буду сочинять опусы в духе трагедий про кровь кукол («Дракон» и др.), профессиональным писателем в СССР мне не стать, а терновый венец эстетического диссидента хотя и льстил отражению в зеркале, но и как-то клювом покалывал в темечко.

И вот переиначиваю в третий раз...

Чего же я добивался, переписывая увесистый опус, где счел Гражданскую войну поводом для иронии, как над белыми, так и над красными, где сочувствовал только лишь раненой коннице, да почтовому голубю, и еще мотыльку с шестью глазами? Если жестоко — я возжелал тогда ни много ни мало увеличить свободу читателя от идолов содержания и надорвать по мере сил те путы геометрической сетки, в какую угодил русский язык в эпоху полувекового торжества социалистического реализма.

На мой тогдашний взгляд, наша художественная речь была настолько скована нормой, что являла собой некую заматеревшую глыбу канцеляризма, кроме того, это был язык, которым писались допросы и на котором легко выносились приговоры в годы надзора.

Сменить матрицу речи, в-о-о-т куда метил мой умысел, перенастроить гул языка в новый мелодизм, потому как язык — есть дом бытия (читай Хайдеггера), и смена мелоса — мечтал я по ночам — приведет к смене поведения речи в быту, *растает лед, взойдет она, звезда пленительного счастья, оковы тяжкие падут*, ну и так далее.

По сути, именно мелос и был истинной целью того, что позднее наша критика назовет русским постмодерном, а кумирами этого прицела для меня были тот же Гоголь или хотя бы Андрей Белый. Языком «Носа» или «Петербурга» было бы невозможно написать текст расстрельного приговора Мейерхольду... именно так я понимаю поведение Хармса, который хранил при себе, в карманах пиджака и в сумке — на случай ареста — как благонамеренные координаты вроде паспорта, свидетельства о рождении или членского билета Союза советских писателей, так и артефакты отрицания благонамеренности: пожалуйста, вот, справка о психическом заболевании, вот Евангелие 1912 года, и еще лупа, три водочные стопки, четыре иконки, дамская брошка, часы без стрелок... а облаком в штанах к этому безумному набору Хармс навесил стихотворение Александра Введенского «Элегия», переписанное от руки, а затем перепечатанное машинисткой НКВД, с патетическим финалом:

На смерть, на смерть держи равненье
Певец и всадник бледный.

Этот обдуманый на случай ареста «текст» вызвал панику в ленинградском НКВД и хаос в протоколе допроса, подобно той оторопи, в какую-то часу, гребень и носовой платок Гулливера поставили в тупик чиновников Лилипутии, что приняли тикающие часы за неизвестное науке животное, гребень — за ограду дворца, а платок — за корабельный парус.

Вызов Хармса я считаю примером поведения писателя, в контексте навязанного тоталитарного нарратива, который сродни бессрочному аресту.

Я вне координат!

Так, выходящей обэриута, Хармс довел стандартный текст протокола допроса до состояния безумия и добился искомой капитуляции ареста — человек не отвечает за свои слова.

Вот на кого я держал мысленный ранжир, когда три года шлифовал свою реплику о Гражданской войне, главный герой которой вовсе не красный комиссар и не белый офицер, а мотылек, летящий над театром военных действий, где влюбленные лошади, превратившись в античных кентавров, могут снять с себя удила, седла, подпруги, сбрую, достать из пасти железо и обняться.

Разрушить речью поэта язык Гражданской войны.

Отдаться чарующей игре видимости.

Не отвечать за слова террора, писать так, чтобы текст не имел никаких прежних последствий для человека, — вот то, о чем туманно грезил постмодернизм хотя бы в границах моего писательского тела, *простите мне невольный прозаизм*.

Так вслепую, щекой лунатика на крыше в сторону луны, я нащупал практически все установки постмодерна, не ведая о нем напрямую, а именно: фрагментарность коллажа, уход от корней, культ сомнений в правильности здравого смысла (почти по Лиотару), чувство вины языка перед человеком, слог революции выхолостил субъект, лишил вещь бытия (это уже Лакан), пространству диктата я поставил мат с помощью мотылька и его желаний, я стаскивал жизнь с минуции (булавки) цели (это почти Деррида) и т.д. Короче, я сочинял оду победы воображения над царством природы, единственное, что я отрицал в постмодерне, был тезис Ницше: «Бог умер!», нет, нет, нащепывал я — тет-а-тет — на ухо пишмашинке: это ты умер, г-н Ницше, а Бог жив.

Как ни странно, но мой дикий первенец был издан стотысячным тиражом благодаря поддержке ведущего редактора «Молодой гвардии» Адели Алексеевой, хотя и под более плоским названием — «Страж западни», успешно увидела свет и моя

вторая книга «Ожог линзы», между тем советская жизнь водопадом хаоса устремилась в стремнину распада СССР.

2

Казалось бы, ура! У новаций замечательные перспективы.

По крайней мере именно так полагал ваш покорный слуга на заре литературной судьбы.

В 80-е годы прошлого века русская литература вступила в фазу предчувствия будущих перемен и уже перед распадом Советского Союза представляла собой (с точки зрения языка) неустойчивую фигуру.

Реалистический канон вступил в состояние своеобразной «оттепели».

Если раньше язык литературы поддерживал канон в напряжении канцелярского дискурса, то с началом перестройки и ослаблением цензуры язык перестал поддерживать доктрину контроля, и литература — вдруг — пустилась в свободное плавание поиска формы и новых сюжетов.

Состояние подобной свободы было для нас (для критики в первую очередь, для писателей, во вторую) непривычным и в короткие сроки привело к культуре вольницы.

Литература стала отчасти похожа на того самого легендарного улана, который пустился вскачь на своем коне прямо по тротуару на Невском проспекте утром после убийства Павла Первого.

Теперь, мол, можно! Свобода, господа! Посторонись!

(Примем этого улана за условную единицу творческой дерзости. Один вольт, один ампер, один хармс, один улан.)

Так, в оппозиции канону, были сформированы основные черты новых текстов: ирония вплоть до издевки, отказ от линейности повествования в пользу перестановки, уход от традиций, отказ от диалога с идеалом и гуманизмом, скепсис по отношению к ходу истории.

Человек — настаивает новый текст, — уже не характер, не личность и даже не человек, а оттиск императивного дискурса...

Именно в рамках игры с языком советского левиафана и его манифестациями впервые внятно заявил о себе русский постмодернизм, который практически сразу разделился на два ведущих течения:

1) концептуализм и 2) необарокко/коллаж.

Эта терминология сегодня, кажется, общепринята, и я среди тех, кто разделяет эти дефиниции.

Концептуализм сосредоточился в первую очередь на игре с пустотами и лакунами, которые образовались в сфере содержания канона, а код необарокко по преимуществу увлекся игрой с формами. Если концептуализм сохранил хотя бы внешние приметы реализма мысли и строгость высказывания, укрепил дух реестра и культ иерархии, отрицая догму, все же сохранил правила, то необарокко/коллаж сразу принял характер вызывающей игры стилей, заявил культ эклектики и превратился в такого рискованного клоуна на проволоке.

Цель этой злой клоунады — высмеять весь реалистический образец.

Цель концептуализма была строже и уже — разоблачить заблуждения канона.

В тогдашней ситуации вольницы, казалось бы, никаких серьезных возражений постмодернизму в литературе не будет, но!

Но, между тем, когда контроль партии и цензуры над жизнью литературы иссяк, а СССР окончательно вступил в состояние распада (90-е годы), русская литература внезапно оказалась в парадоксальном состоянии **новой старой устойчивости** — на читателя хлынул поток запрещенной прежде русской литературы: тексты Набокова, Замятина, Бабеля, Мандельштама, Пастернака, Платонова, Солженицына; эти вещи, написанные в ключе классической нормы, по законам реализма стали репрезента-

тивной витриной перемен и... и! хаос распада оказался внезапно вновь сцементирован, створочен классикой реалистической речи.

Канон взял реванш.

И хотя это был сравнительно короткий период (примерно 5–7 лет) **постав** свободы был сорван, а критика дружно подхватила возвращение классических текстов, которые были раньше неудобны режиму из-за содержания. В этот период постмодернизм неожиданно стал оппонентом не только (и даже не столько) социалистического реализма, а вступил в конфронтацию с левиафаном всей русской классики, с эстетикой XIX века, с давлением христианской традиции.

Свист пересмешника постмодернизма стал едва слышен.

В итоге новая литература была вдруг поставлена ситуацией времени в форму новой строгости и нового контроля. Только теперь роль цензуры взяла на себя запрещенная прежде русская антисоветская классика. Постмодернизм стали сопоставлять (порой даже стравливать) с образцами классической внятности, а характер сравнения текстов вдруг приобрел характер очной ставки и допроса, где цитаты из новых писателей подавались практически как улики.

Я это хорошо помню на собственной шкуре.

Мои тексты стали подавать как полемику с моими же кумирами, с Набоковым, с Платоновым или с Булгаковым. Я же метил камнем — из пращи Давида — в Голиафа соцреализма.

Новизна была окружена контуром, и эстетическая дерзость увязла.

Наш постмодернистский улан провалился в болото.

Только к самому концу 90-х годов, когда запас несоветских текстов иссяк, литературный истеблишмент (только Москва и Петербург формируют у нас оценки в России) всерьез обратился к современности и обнаружил — яркой новаторской новой словесности практически нет.

Почему? Отчасти потому, что ей помешали стать мейнстримом.

Утренний, самый важный этап поступательной эволюции литературы был сорван, и новый текст остановился в фазе мутаций, в состоянии невнятицы, и это состояние этической паники и эстетической эклектики продолжается до настоящего времени.

3

Между тем две книги открыли мне дверь в Союз писателей СССР, что в те годы было крайне важным условием для профессии, однако я впал в хандру... удача московского старта (издать новичку в «Молодой гвардии» и особенно в элитном «Советском писателе» два дебютных текста — не шутка) стала угнетать мой творческий дух размышлениями о том, что мои книги оказались вполне приемлемыми для публикации.

Они лишены подлинной дерзости...

Ты конформист, пенял я себе по ночам...

Усомниться в себе — сладкая мания всех молодых людей.

Следовательно — тут я слишком резко ставил парус под ветер, — ты должен писать только лишь *невозможное*, выбирать самый *неприемлемый* для изданий сюжет, иначе в твоём деле нет ни доли деяния. И хотя я тогда слишком давил на педаль амбиций, соглашусь с хандрой 80-х годов. Не мной сказано: книга — это поступок. Текст писателя должен быть опасным деянием и не иметь расчетливости беллетристика. Аэд, разродись в *прекрасном*, — предупреждает Платон кифареда. Именно в таком ключе я угрюмо сочинял бесконечный кирпич прозы, равняясь скорее на музыку, чем на литературу. Мессиан, Пендерецкий, молодой Шостакович — вот боги того романа.

Кастальский ручей стекает не вниз, а вверх по склону Парнаса.

Одним словом, я превратился в затворника.

Стал заложником необъятного замысла.

Речь о романе «Эрон»... вот уж где эстетика постмодерна была наконец озвучена в должной форме.

К слову надо заметить, что судьба заблаговременно намекала герою, что всякие самонадеянные попытки поколебать устои русской речи, каковая со времен хотя бы Державина выбрала реализм домом своего бытия, тщетны.

Вдруг, как черт из табакерки, у меня появился двойник... раздается звонок приятеля:

— Толя, дорогой, поздравляю.

— С чем?

— Купил сегодня твою книжку, залпом прочитал, замечательно.

— Какую такую книжку?

— Ну... вот... «На исток речушку, к детству моему».

— Да не я это, это мой чертов двойник.

— Слава Богу... читал и не верил глазам, ты ли это? Какое говно!

(Промолчу).

Смех смехом, но лукавый сыграл со мной шутку, ведь моя фамилия из популярных русских заговорных имен: *королек*, *король*, так мои деревенские предки приманивали счастье к младенцу.

Книга этого Королева-реалиста была написана тем самым слогом раболепия перед натурой, какой постмодернист-Королев считал для себя невозможным.

Я решил ехать к тому Анатолию К. и предложить ему бросить жребий — кому из нас владеть королевским именем, я был готов честно подчиниться оракулу и в случае неудачи искать себе псевдоним, но вот закавыка: а согласится ли неизвестный на мое предложение, с какой стати! Короче, пока я тянул, мой двойник вдруг оставил сей свет, но книга его отныне прочно стоит в моей библиотеке как образец той самой речи, которой я бросил свой вызов (а в интернет-магазине *Ozon.ru* «На исток речушку...» упрямо числится в ряду моих книжек).

И вдруг...

Как говорил один премьер: никогда такого не было — и вот опять!

На третий год работы мое заточение было внезапно прервано самым решительным образом, я получил письмо из журнала «Знамя» и вздрогнул подобно герою булгаковского театрального романа: надо сказать, что я тогда вообще не получал никаких писем, жил в одиночестве, почти никого не знал... что бы это значило? Вертел я, как Максудов, в руках письмо, в верхнем углу которого стояло имя прославленного журнала; о, об этом издании я был наслышан, еще бы — один из самых влиятельных и престижных журналов столицы, правда, я в редакции его никогда не бывал, не знал даже, где она находится, — и что же? Перечитывал я: мы искали вас в Петербурге, потом в Перми, а вы, оказывается, живете в Москве. Мы прочитали вашу повесть о парке в «Неве»... Я пожегился. А дальше? Дальше журнал спрашивал неофита, нет ли у меня чего-нибудь новенького, а если есть, то мы его, может быть, и напечатаем, писала неизвестная мне Е. Холмогорова.

Я вышел из трюма романа на палубу и огляделся.

Стоял май 1991 года, гроза омыла Москву, и стал сладостен воздух, и жить захотелось, м-да, вертелся у меня в голове один сюжет, но вот насколько он «неприятелем» для публикации, я не понимал, и все-таки промолчать было бы трусостью и, позвонив по указанному телефону, я сказал, что есть у меня одна штуковина, которую я готов принести в журнал, скажем, в конце лета.

Отлично, ответила телефонная трубка молодым голосом.

Тут мой мемуар неволью замедляет темп, потому как именно журнал «Знамя» венчал меня лаврами публикаций целых 15 лет подряд.

Журнал в России — переиначиваю поэта — больше, чем журнал.

Пожалуй, это единственная экспертная конгрегация в стране, в столице которой установлены памятники писателям и поэтам, в Стокгольме, например, мону-менты — в основном королям, в Риме — святым, а в Париже — революционерам...

4

Написанная к осени повесть «Голова Гоголя» в принципе соответствовала канону дерзости (пиджаку Хармса): череп классика катался по земному шару в поисках ответа на вопрос о красоте пролитой крови во благо свободы, а на страницах в защиту гуманизма гильотины против прежнего колесования выступал сам изобретатель месье Гийотен, Сталин приказывал расстрелять себя как собаку, как неукротимого инквизитора и врага народа, наконец, в небесах над Москвой проплывала исполинская лодка Христа, уснувшего посреди Галилейского моря.

Этот коллаж был сделан по всем лекалам постмодернизма, за одним решающим исключением — я не усердствовал в скепсисе и в богохульстве.

Я сознательно рисковал, но, повторю, то был риск одиночки, иное дело журнал, станет ли он рисковать? Но мне повезло, наступила усталость от возвращенной литературы, и редакция «Знамени» опубликовала мой опус в июльском номере за 1992 год. В ту пору в моде у власти была как раз шоковая терапия. Кроме того, публикация совпала с недавним приходом на пост нового главного редактора Сергея Чуприна, который, по сути, сделал вчерашнему провинциалу имя в тогдашней литературе. Больше того, он нетерпеливо анонсировал мой новый роман, который я еще только дописывал, и дал добро «Эрону», даже не дочитав рукопись до конца.

Сокращая текст для журнала, я кое-какие дерзости оставил за бортом публикации, и все же критика встретила роман в штыхы. Что ж, я получил законные пятнадцать минут славы. Ревнители реализма, преувеличив опасности постмодернизма для устоев канона, устроили автору дружную выволочку. Правда, было бы странно, если бы вышло наоборот: сцена, где исполинская свинья на колхозном поле пожирает грешников, или описание баб с ножищами на скотобойне, распевающих «Волшебную флейту» Моцарта, или... ну и т.д.

Моя цель была — шаг за шагом умножать свободу повествования с тем, чтобы увеличить свободу читателя и одновременно лишить чтение комфорта беллетристики. Современный роман не может взасос расцеловать и полюбить читателя, и цель романного текста — не помочь скоротать твое время, а, наоборот, умножить дискомфорт бытия, утяжелить смысл появления на свет. Понятно, что круг моих возможных читателей будет мал.

Критика *отказа* превратилась для автора в натуральный шторм.

Думаю, что *критическая поддержка* в литературе важнее.

Вот почему я уже столько лет благодарен двум критикам и одному писателю, которых никогда не забуду: критики Елена Иваницкая и Михаил Золотоносов, плюс писатель Анатолий Курчаткин.

Замечу, что полный текст романа (900 стр., 56,5 л.) я смог издать только через 20 лет (!) после журнальной публикации в «Знамени».

Между тем время распада и хаоса я пережил благополучно, мне повезло войти в пятерку победителей конкурса немецкого радио в Кельне на лучшую русскую радиописьму, и гонорар WDR, раздутый чудовищной инфляцией, позволил нам с женой скромно, не шикая, но вполне достойно прожить до 2000 года.

Капитализм тем временем набирал силу вепря.

Деньги — по Марксу — жаждут прибыли, а не истин.

Первым развернули галактику Гутенберга новые русские книжники.

По образу и подобию мексиканских сериалов были молниеносно перелицованы мыльные оперы «Богатые тоже плачут» и «Рабыня Изаура». Язык китча (естественно) строился в декорациях дешевого реализма, литература перешла в ранг ширпотреба, было ясно, что постмодернизму и прочему миру вот-вот откажут в праве существовать. Ни одной даже самой маленькой буковки не будет отдано в пользу эстетики! Контроль над ранжиром писателей и премиями возьмут полиграфические гиганты. Богом станет бестселлер и прочая умная болтовня. В кумиры выйдут лидеры продаж. Права читателя отдадут покупателю...

Причем по содержанию беллетристика может быть вполне радикальной, попадает великое чтиво, но! Но оно вне красоты, по форме это «зеро», эстетический

нуль. Как однажды написал неумолимый Пушкин про живопись, я вижу в этой картине много искусства, но не вижу ни капли творчества.

Для беллетристики не существует вопросов к бездне, над которой горошиной жемчуга висит наша земля.

Чувствуя, что нарратив допроса стал возвращаться, я постарался усилить свою романтическую атаку улана против канона.

Нас было мало на челне постмодернизма.

Кит с деревушкой на горбатой спине уже открыл зев — залив для аргонавтов, — и сигналил, парни, плыви ближе...

Чуждый чарам черный челн был обречен.

Из фильма «Писатель П. Попытка Идентификации» (2015) я узнал, что однажды герой документальной ленты — из аргонавтов — встал на колени в кабинете перед издателем «Вагриуса», о чем сам издатель рассказал с экрана почти мимоходом и без малейшей иронии.

!

Без комментариев.

Несколько лет постмодерн еще держался на плаву в силу инерции, но уже лишился внимания отрицающей критики, став лакомством лишь для филологов.

Вот отметины потопления стиля, испытанные на собственной шкуре.

Усилением ауры постмодерна были отмечены еще три моих текста; первый из трех — это роман «Человек-язык», повествование о несчастном уродце с непомерным языком, которого решила осчастливить одна молодая пара врачей интеллигентов ценой гипертрофированного сочувствия, дошедшего до абсурда, до гримас гуманизма.

Журнал приподнято поместил новинку в первый номер нового века:

№ 1. 2000.

Казалось бы, написан самый наисовременный роман, но!

Но его сюжетным ядром была реальная история из викторианской Англии о несчастном монстре Джоне Меррике и гуманисте докторе Тривзе. Этот классический постмодернистский прием нарочитого сочетания разных эпох тайным образом отключил в тексте электрический свет современности. Напрочь.

В том же счастливом 2000 году уже не «Знамя», а журнал «Дружба народов» опубликовал второй роман из триады: «Змея в зеркале...» (№ 10), и я тоже писал его как современный! Я неуклонно выдерживал самый нынешний ряд событий и только лишь под конец, уже в эпилоге — сам! — обнаружил истинную пружину повествования — гибель олимпийских богов и закат Эллады.

Современность снова отшатнулась от текста.

Между тем тривиальный реализм легко справлялся с этой задачей.

Третьим в той роковой триаде попыток написать *современно* стал роман «Быть Босхом» (2004).

В том романе я вспомнил один престранный зигзаг своей биографии, когда после окончания университета я был призван офицером в армию и одновременно же — по воле компетентных органов — угодил в пути пермского политического процесса против двух диссидентов (Воробьев/Веденеев), а параллельно же переместился в зону на Южном Урале, следователем в дисбат УралВО, мол, привыкай, антисоветчик, к вышкам с автоматчиками по углам квадрата! Где, однако, ночами в офицерском общежитии назло планиде пытался — безуспешно — написать роман о средневековом художнике Босхе.

Но вот какой казус, я-то задумал писать современный роман, а написал *антисоветский* по прежним канонам; текст романа душой остался в 70-х.

Опять *несовременно*.

Я видел, что актуальность выскальзывает из рук словно мыло.

Короче, я и не заметил, как почва ушла из-под ног постмодерна.

Корабль оказался в снегу по самую ватерлинию, в одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем, ну, барин, беда, буран! крикнул впередсмотрящий Линкей.

5

Чем хуже человеку, тем лучше писателю.

Когда «Титаник» тонул и за борт в бездну прыгали сразу три поколения, это вызывало землетрясение души, когда же левиафан погрузился на дно и, став, наконец, членом Союза писателей, я весной свободы, в 1990 году приехал в заветные Дубулты, тсс... в огромной столовой Дома творчества нас было всего лишь четверо. Писатели молниеносно превратились в нищих, но никаких творческих судорог эта тишина поминок уже не вызывала.

Прошло 17 лет!

Только через семнадцать лет после отмены цензуры я смог наконец — в 2007 году — написать свой первый современный роман — «Stop, коса!», где усомнился уже не в советском прошлом, а в будущем, например, в грядущей благодати нанотехнологий и в упованиях московской фирмы «Криорус», которая обещает разморозить твой труп в будущем и, может быть, помочь клиенту обрести бессмертье.

Рецепт современности оказался достаточно прост — ты должен переживать жизнь как соучастник дня, как сиюминутная жертва, а не как наблюдатель из заоблачной выси.

Что ж, я приготовился к заморозке!

Писателю пообещали скидку...

Автор пылал на диспутах трансгуманистов о силе холода в институте Африки, что на Патриарших прудах (опять чертовщина!), читал запоем о том, как переправить труп и его мозг через сто лет, как не поранить льдом кровеносную сеть, размышлял о ненужности людям вообще умирать, наконец, посетил Алабушево под Москвой, бывшую музыкальную школу поселка, где в сосудах Дьюара хранились первые беглецы в будущее, а охраняли ту замерзшую смерть две сытые собаки и охранник, который жарил картошку на сковородке.

Я мысленно примерил те сосуды Дьюара.

Я пережил каждую букву романного текста, словно наколку на теле.

Я постарался стать *документом ситуации* совершенно в реалистическом духе времени. И надо же! современность легко подчинилась перу, наш герой всего лишь умерил игру формы и признал права содержания.

Вот поворотная точка исповеди сына века:

Stop, постмодерн!

По сути, в тот год — тому уже десять лет — я изменил постмодернизму и подобно Катаеву выдумал собственный *мовизм*, нечто типа тех искусных подделок картин Вермеера, которыми блеснул голландец Ван Мегерен, я принялся создавать по-верх жизни копию бытия, которую было бы невозможно отличить от оригинала.

Назову его палимпсест.

Палимпсест — *хоть имя дико, но мне ласкает слух оно* — в древности так обозначалась рукопись, написанная на пергаменте, уже бывшем в подобном употреблении... Этот принцип использовали и средневековые мастера, когда по старым росписям в храмах или иконным изображениям писали иное свое.

Одним словом — ты пишешь новое поверх старого, но насмерть стоишь на том, что твоя копия лучше оригинала.

В стиле палимпсеста мной написаны два последних романа...

Роман «Хохот», о роли священного смеха на Земле, первыми опубликовали болгары в Софии, сначала в журнале «Факел», а летом 2016 года — в книге избранной прозы. В трагикомическую историю кражи бисквитного Элвиса Пресли я — палимпсестом — перенес дневник трех месяцев, которые провел в клинике лечения неврозов им. Соловьева (после смерти матери), что на Шаболовке, и заодно досконально описал потерю собственного чувства юмора длиной в семь лет и чудо его возвращения.

А замыкает пока стиль палимпсеста роман «Дом близнецов», о фиаско научной мысли в попытке отменить философию тайны, для чего я в мельчайших подробностях восстановил 1927 год, куда перенес неделю действия из нашего времени вместе с моим героем, частным сыщиком.

В чем же суть сей новизны?

Мои палимпсесты лишают романый вымысел язв измышления.

Понятно, что причуды немолодого литератора чужды рынку.

Понятно, что окупить затраты в моем случае издателю нелегко.

Слава Богу, «Дом близнецов» был напечатан в московском издательстве Arsis books.

На сегодня это единственная площадка для новинок арт-хауса.

Но вернемся к нашему запыхавшемуся герою.

Описав параболу, стиль постмодерна, начавшись в 50-е годы XX века, сегодня явил беспорные знаки усталости. Скажите, почему... Думаю, причина в новом состоянии европейской цивилизации. Она вступила в фазу войны. Чтобы не погибнуть вместе с Европой, язык бытия примеряет мундир. Шалости ума просто не к месту. Синтез в состоянии войны осколков несостоятелен. А ведь суть постмодерна как раз и есть синтез различий, коллаж катастрофы и умножение экзистенциальной тревоги читателя, в отличие от модерна, каковой боготворит анализ в духе Декарта и балует отменным чтивом читателя Джойса, и уж тем более отличен наш пестрый клоун на проволоке от реализма с его чувством постоянной вины перед каждой недавней классикой и потворством homo-libros.

Умножать тревогу бытия ныне почти тривиальность.

Обожать чары видимости — уже старо.

Петь оду о пользе уязвимости после атаки 11 сентября — нелепо.

Постмодерн в пику реализму дорожит бестолковой бессмыслицей, согласитесь, в шарме Хармса и Льюиса Кэрролла — бездна обаятельных значений и все же, увы, стиль подножек и смеха не заметил, как заигрался на вселенской доске в шахматы непроглядного юмора, меняя правила для каждого хода.

Юмор стал черным.

Дух цивилизации костенеет, как панцирь, поколебать щит доисторической черепахи хохотом? Абсурд!

Время читать кончилось надолго, если не навсегда.

Настало время видеть, а facebook стал самым великим некрополем для нашей энергии.

Лишить хаос (т.е. человечество) переизбытка опасных энергий — цель Интернета.

Марсиане прилетели закачать в летающие тарелки побольше желудочного сока.

Вы звери, господа.

Короче...

Гулливер/постмодерн угодил в страну крестьян великанов и застрял по плечи внутри мозговой косточки в супнице на столе короля Бробдингнега; за столом царит болтовня и резоны, все, что расставлено, стоит больших денег, отныне все права бессмыслицы отданы смыслу, то есть содержанию, а форма не имеет никакого чарующего значения.

В более узком русском смысле канон допроса вернул все прежние права властвовать над пленниками победы и требовать новых последствий для говорящих трофеев (т.е. человека).

Увы, большинство ваших соотечественников, говорит король, ласково рассматривая Гулливера в лупу, — есть порода маленьких отвратительных гадов, самых зловредных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности.

6

Вот уже 9 лет я веду мастерскую прозы в легендарном Литературном институте. Предложение ректора Сергея Есина принял сразу же и с благодарностью... оказывается, однажды я выступал на его семинаре и то и дело косил глазом в записи... обычно писатели к лекции не готовятся, заметил благодушно Сергей и запомнил эти листочки на будущее.

Разбирая в первый раз рукописи, присланные на конкурс, я обнаружил, что из 257 рукописей больше половины — это фэнтези! *Джоан вскочила на коня и поскакала к звездолету*. Бог мой, я давно не читаю такое варево, последнее случилось в конце шестидесятых, когда я открыл повесть Урсулы ле Гуин «Левая рука тьмы». Как оценивать эту волшебную чепуху?.. Читаю... левый мост занят рогаатыми монстрами, правый — тоже, правда, безрогими... по реке плывут пятна огня, полунагая девушка в следах от ударов меча вышла из джунглей, идет к берегу, там мускулистый юноша конопатит лодку — ага — макает кисть в ведро смолы над огнем... вижу?

Да, вижу!

Смоляной борт обсыпан песком. Вижу? Да! Ставлю плюс...

Вдруг в руки попадает текст, отмеченный чисто эстетическим поиском, не верю глазам, единственный из двух сотен! *откуда дровишки?* Бог мой, абитуриент некто Иван Гениберг из родимой Перми... спотыкаюсь... каким же образом моя хмурая уральская земля, город/промзона на берегу Камы, этот насупленный вид исподлобья нависших туч, вдруг да сверкнет алмазом из пепла?

Через четыре года набираю мастерскую № 2.

340 рукописей... Ни одного фэнтези!

Мейнстрим — мягкая эротика, чувственность, бег от стыда.

Особенно изумила рукопись вчерашней школьницы из Мурманска.

Ну, сказал я автору, когда принял ее в свою группу, пожалуй, пока не стоит обсуждать вашу повесть на курсе, гляньте, какие портреты взирают на вас со стен кафедр мастера. Все нахмурились.

Последний набор № 3 опять удивил, среди 400 с лишком рукописей ведущая линия — сатира. Порой политическая. Семь человек на место! Литературный институт в то лето опередил по конкурсу все самые престижные вузы столицы: МГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, МАРХИ...

Подобное нашествие было только во времена СССР.

Итак, сегодня у меня в группе иронисты и разоблачители.

Не понимаю, как одна и та же волна предпочтений общей тенью крыла накрывает пространство от Калининграда до Сахалина и от Мурманска до Ростова.

Попытаюсь хотя в профиль описать своих учеников как *текст*.

В чем его новизна?

Так вот, они ничему и никому не верят, все вокруг обман, лохотрон или ширма, идеалы ищут внутри самих себя, телевизор не смотрят, живут в Интернете, там выстраивают свою сеть открытых связей, капитализм не приняли, русских тем избегают, место действия то Америка, то Швеция, сюжеты спокойно берут из кино, излагают их запросто своим языком, например, «Внутри Льюина-Девиса» братьев Коэн, причем пересказ бывает блестящим, рецензия на себя встраивается легко прямо внутрь рассказа без всяких комплексов... причем пишут без оглядки на реальный расклад сил в литературе, чтиво и беллетристику презирают, к биографиям ЖЗЛ равнодушны, современников почти не читают и не знают, меня, мастера, начинают почитать вполглаза не раньше, чем на третьем курсе, наконец, все как один считают, что писателями не станут, кем же тогда?

В ответ молчание...

При этом семь человек на место!

На первой вступительной лекции я обычно объясняю своим новичкам, что профессии у них, пожалуй, нет. Обычно профессия кормит. А эта не кормит. Сегодня гонорар за книги издатель выдает чаще книжками, порой деньгами. Редкая сумма долетит до середины Днепра. Слезы! Хватит на три месяца жизни. Невольно вспоминаю, что за первую книгу «Страж западни» в 1984 году я получил почти 10 000 советских рублей, огромная сумма по тем временам, можно было купить квартиру. Этой суммы хватило до выхода второй книги... но мимо!

Непонятно другое: писательская судьба моих выпускников — а это две мастерские прозы (около 40 человек) — никак внятно не складывается.

Хоть убей!

Всем уже за 25 и под тридцать, опасный возраст.

Пока единственная книга, подаренная мне моей выпускницей, это... путеводитель по столичным кладбищам... читаю трогательную надпись на титульной странице: дорогому мастеру с благодарностью и т.д.

Почти эпитафия.

С удивлением прихожу вот к каким выводам:

Талант не имеет никакого значения! Все мои студенты талантливы, у всех есть руки, глаза, ноги, а дополнительных рук и ног им не требуется. Все прекрасны, как куст цветущих роз. Оказывается, важно другое — ты должен проявить творческую волю. С этим качеством у всех проблемы. Из кустов роз должна вымахать корабельная сосна, только тогда ее заметит гроза на горизонте бытия; молнии в розы не бьют. Но оказалось, что и это тоже не имеет значения. Можно упорно писать, можно пыхтеть как паровоз, можно торчать рошей корабельных сосен, можно даже написать гениальный текст, и что же... фортуна не видит тебя в упор.

Оказывается, третье *решающее* условие в жизни писателя — это судьба... Ничего не выйдет, если судьба на тебя не идет. Загадочный феномен. Логика в поведении судьбы никакой нет, она ведет себя с хладнокровием высшей несправедливости. Как говорят хасиды о Б-ге: кому хочу, тому даю, — кому не хочу, тому не даю.

И не глине решать, что слепит горшечник — сосуд для фимиама или горшок для мочи...

Тут я рассказываю тот самый эпизод с сюжетом из Фитиля, из которого родником потекла вся моя участь.

(См. начало.)

Поведав ее, я признаюсь в том, что...

Так вот, говорю я студентам своей мастерской, как работает механизм судьбы, мне непонятно, признаюсь, вообще непостижимо, но есть один верный признак — тебе должно иногда везти, чаще по мелочам, реже по-крупному и хотя бы разочек, но баснословно. Если писателю везет для начала, скажем, ну хотя бы лет пять, если твои книги выходят, пьесы ставят на сцене, сценарии снимают... если эта странность продолжается еще, допустим, лет семь, и вот ты уже на премьере переведенной книги в Париже, тогда ты наконец можешь перевести дух, двенадцать лет — это не шутка, ты на верном пути, ты действительно занялся своим делом... стена фатума присматривает за тобой во все широко закрытые глаза.

P.S.

И последнее: я ушел из романистики.

Надолго ль, не знаю.

Практически перестал сочинять прозу: зачем измышлять, например, детектив против засилья позитивизма, когда важнее написать об этом без всякой интриги, без героев, без прикрас стиля, без эквивоков, а прямо по сути проблемы, даже скучно, скажем, языком философии, разве Платон развлекал? Скорее он *увлекал* собственной мыслью.

Инна Булкина

Критика.ru

«Торжество обертон»

Коль скоро это уже второй выпуск «критики.ru», обойдемся без долгих предисловий. Задача у нас все та же: «переучет» той «критической» продукции, которая попадает в соответствующие разделы и рубрики профессиональных изданий (бумажных или сетевых), — то ли по недосмотру, то ли по причине дефицита критики как таковой. Иными словами, это такая школьная или любительская, подчас импрессионистическая, подчас — наукообразная литературная рефлексия. Ее почему-то принимают за критику, — сначала сами авторы, потом редакции журналов, а потом и читатели. В результате происходит размывание границ профессионального поля и, в конечном счете, исчезновение профессиональной критики как института, растворение ее в таком домодельном, необязательном, подчас учено-косноязычном, подчас — наоборот, узорчатом и излишне метафорическом говорении о литературе.

Хвалить нельзя ругать («Звезда», 2016, №№ 8, 9)

В первом выпуске «Критики.ru» бенефициантом был харьковский литератор и постоянный автор «Нового мира» Андрей Краснящих. На этот раз наш герой — один в нескольких лицах, и это целый критический отдел. Вернее сказать — рубрика. Она называется «Хвалить нельзя ругать», и это что-то вроде девичьего кооператива, который отныне в питерской «Звезде» занимает место «Печатного двора». То, что делал прежде один Самуил Лурье (С. Гедройц), теперь исполняется хором и вразнобой, как правило, на три голоса. Елена В. Васильева, Надежда Сергеева и Дарья Облинова — постоянные авторы, иногда к ним присоединяется Маргарита Пимченко, иногда — еще кто-нибудь. Суть в том, что вместо авторской рубрики — коротких, очень субъективных, очень язвительных, блестящих (хотя иные находили их манерными) рецензий-аннотаций, написанных от имени персонажа, т.е. в известной степени отстраненных от автора, мы получили нестройный хор рецензенток со сложной идентичностью (кажется, некоторые из них тоже пытаются «играть в персонажа») и с попытками стиля — разноречивыми, но неубедительными. И с совершенно непонятной задачей (или сценарием) самой рубрики.

В самом деле, если питерские девушки и пытаются играть, то играют они в разные игры.

Вот Елена В. Васильева с места в карьер сообщает: «Книга Лины Данэм “Я не такая” отталкивает буквально всем» («Звезда», № 8). Это энергичное начало, дальше идет рассказ о неудачном переводе, об излишках девичьей откровенности и о пределах подробности («автор собирает книжку из... перечисления ингредиентов своего питания»), наконец, кода: «Если бы Лев Толстой жил в наше время и был девушкой, у него получилось бы что-то похожее». И не знаешь, то ли радоваться за автора, которого назвали Львом Толстым в юбке, то ли обижаться за Льва Толстого, чья откровенность все же была иного порядка.

Та же рецензентка уже в следующем номере читает роман модного таллинского автора:

«Герои “Аргонавта” Иванова так много думают и рефлексиируют, что это загоняет их в угол. Они могут попасть туда по-разному — Иванов изощрен в своих методах», и дальше: «Иванов в очередной раз проявляет себя как отличный стилист, в руки которого попадают неподвижные оболочки героев... а он своим словом вдыхает в них жизнь» («Звезда», № 9). Проблема отчасти та же, что с «ингредиентами питания»: человек пишет слова, которых не слышит, т.е. не чувствует их языковую нишу, и потом с этими словами происходит нечто, им не свойственное: расхожие метафоры «загнать в угол», «вдохнуть жизнь» неуклюжим образом реализуются, и вот «изощренный» Иванов предстает «стилистом с руками», в которые руки попадают несчастные герои, и он не то загоняет их в угол, как тот бильярдист в лузу, не то этими самыми руками... вдыхает в них жизнь.

Надежда Сергеева, надо отдать ей должное, не изощряется в сложных метафорах, в этой игре у нее, похоже, другая партия: она нежная, чувствительная, легко впадающая в транс: «Не успела выйти в “Звезде” моя рецензия на книгу Наринэ Абгарян “С неба упали три яблока”, как я уже строчу новую — на только что изданный сборник “Зулали”. Руки трясутся, сердце колотится, слезы текут — что делает со мной автор?! Приворожила, приворожила, никак иначе!» («Звезда», № 9). Тут строку диктует чувство, тут не до сухого анализа, просто поверьте на слово: «Описывать удовольствие, которое получаешь от... чтения, все равно что восхищаться невероятным вкусом блюда, которое твой слушатель никогда не пробовал. Достаточно прочесть первую повесть из сборника, она так и называется — “Зулали”, и вы сразу попадетесь! Как рыба глотает наживку, так и вы клонете на художественный стиль Наринэ Абгарян». — «Клонете на художественный стиль» — это тоже красиво, но вот третья рецензентка — Дарья Облинова, у нее совсем другая манера, она — деловая девушка, искушенная в литературной политике и книжном промоушене: «Прежде чем выбрать, за какую из “свежих” книг взяться, я, как обычно, заглядываю в списки номинантов литературных премий. Нацбест, Русский Букер, Большая книга... Есть где развернуться» («Звезда», № 8).

Вам это пока еще ничего не напоминает? Характеры вроде прорисовываются, — одна героиня сентиментальная и чувствительная, другая — не без лихости и «знает жизнь», третья — интеллектуалка. Такое ощущение, что перед нами разыгрывают пародию на знаменитый сериал, где некие девушки из большого города отправляются на поиски приключений... Для пушей достоверности — очередная серия, буквально «За-За-Зу»: четвертая участница забега Маргарита Пимченко читает новую книгу критика Льва Данилкина. — «Я совсем не могу описать ощущение, которое охватывает меня, когда я читаю эти тексты. Может быть, самое близкое слово — это “щекотка”: рыбешками щекотится внутренность, иногда щиплет нос, в голове тихонечко начитают щегиниться мысли. И главное, ты настолько этими ощущениями увлечен, что перестаешь замечать окружающее, перестаешь контролировать себя, становишься каким-то комочком радостного любопытства» («Звезда», № 9).

Проблема не в том, что питерские девушки пытаются «играть в критику», проблема в том, что это «разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц». Критик-персонаж — все равно что клоун на манеже, он делает то же, что жонглер и акробат, но его трюк сложнее: он *изображает* трюк! Наши девушки пока лишь роняют шары.

**Елена Погорелая. Человеческое, слишком человеческое?
Валерия Пустовая. Большой роман с вишенкой («Вопросы
литературы», 2016, № 3)**

Это не совсем «критика.ru», просто забавно. В прошлом выпуске речь шла о рецензиях на «Зулейху...» Гюзели Яхиной. Прошло полгода, «Зулейха» остается «темой», и о природе читательского успеха дебютного романа рассуждают Валерия Пустовая и Елена Погорелая в «Вопросах литературы». Кажется, общий смысл подборки в том, что критика, в целом снижодительная без упоения, ведет учет несовершенствам первого романа «неискушенного “пиар-менеджера из Казани”», тогда как

«читательский восторг» и «премиальный шквал» проходят какой-то своей «некритической» стороной. Получается, что «Зулейха» «резонирует с самыми сокровенными страхами, поисками и чаяниями современности» (Погорелая), и что «роману откликнулись глубокие слои литературного бессознательного» (Пустовая). У Погорелой там еще про пресловутый бахтинский «диалог», мол, «Зулейха» не просто «повторствует» вкусам публики, но вступила в диалог с читателем. В этой логике любой успешный «жанр» находится в таком непосредственном «диалоге», коль скоро отвечает ожиданиям и дает то, чего от него ждут. Что же до «литературного бессознательного», то если до сих пор с ним было все мутно и сложно, то отныне стало понятно, кто за него в ответе и в чьем именно лице оно «откликается»: Валерия Пустовая тут ссылается на «чиновника высокого ранга»: «сам Михаил Сеславинский оценил ее («Зулейху». — И.Б.) как повод поговорить о литературе “с самыми разными там людьми, начиная от Станислава Сергеевича Говорухина и заканчивая моей мамой, женой, там какими-то другими близкими”».

Тристик. Рубрику ведет Наталья Мелёхина («Октябрь», 2016, № 8)

В «Октябре», между тем, появилась новая критическая рубрика, — там вообще чрезвычайно много рубрик, они то появляются, то исчезают, в общем... мельтешат. Но эта называется «Тристик», — по числу рецензируемых поэтических книг, (хотя не исключено, что, кроме всего прочего, какая-то особая элегическая скорбь в этом названии заложена). В 8-м номере «Тристик» ведет Наталья Мелёхина, и, похоже, она понимает титульное словообразование совсем буквально: «Юрий Казарин, автор из деревни Каменка Свердловской области, посвящает своей малой родине *стих*, полный умиротворения...».

Вообще-то Наталья Мелёхина пишет деревенские рассказы и печатает их в том же «Октябре». Возможно, ей совсем необязательно знать, что Юрий Казарин не «автор из деревни Каменка», а поэт и профессор из города Екатеринбурга, и что «стих» отличается от «стихотворения», как часть от целого, а стихотворения, в свою очередь, делятся на строфы, а не на первое, второе, третье и пятое «четверостишия». В том же выпуске «Тристиха» Мелёхина представляет «подросткового поэта» Павла Тимофеева, в «рэп-текстах» которого она обнаруживает «торжество обертонов и скрытых смыслов». Как именно должно выглядеть «торжество обертонов», мы из рецензии не узнаем, однако рецензентка уверена, что «подростки их (обертоны. — И.Б.) непременно почувствуют, но вот взрослые еще и поймут, оценят».

Еще несколько образцов поэтической критики. Два журнала — московский «Арион» и ростовская «Prosōdia», очень разные по интенции и по характеру представления поэтов. Главный редактор ростовского журнала Владимир Козлов в первом номере декларирует «университетский взгляд на поэзию», заявив при этом, что «в России до сих пор нет журнала, посвященного поэзии, который хотя бы уважительно относился к филологическому знанию». Не совсем понятно, какой именно из оставшихся двух русских поэтических журналов он имел в виду. Впрочем, «Воздух» сменил место прописки, остается один «Арион», журнал, в самом деле, не «университетского» порядка. И тем не менее заявление его постоянного автора, профессора филологии, об отсутствии в журнале интереса к филологическому знанию звучит несколько странно. Впрочем, по большому счету, он прав, да и в декларативном жанре допустимо некоторое сгущение красок, или, — воспользуемся счастливым выражением Натальи Мелёхиной — «торжество обертонов». Между тем, «Арион», похоже, с таким определением не согласен и в 1-м номере помещает даже не рецензию, но огромный монографический обзор «Крым в русской поэзии».

Татьяна Михайловская. Борьба мифов: русская идиллия и русская героика («Арион», 2016, № 1)

Вероятно, материалом для автора послужили крымские антологии (одна или несколько), за последние два года их было издано немало, — уж так сложилось. Но Татьяна Михайловская нигде об этом не упоминает, в этом обзоре вообще ни единой ссылки. Собственно, и идей в этом большом тексте немного. Первая и главная: поэтический Крым — пространство идиллическое, «русская Аркадия». Похоже, идиллия единственный «античный» жанр, известный автору, поэтому в качестве «крымской идиллии» она приводит разного порядка элегические контексты, в частности пушкинский оммаж Батюшкову «Кто видел край, где роскошью природы...». — «Чем не Вергилиевы “Буколики”! Да и само стихотворение начинается как вольный перевод античного стихотворения, которое многократно отзовется в стихах самых разных поэтов...» — восклицает Татьяна Михайловская. Да, стихотворение, в самом деле, начинается как вольный перевод... песни Миньоны из «Годов учения Вильгельма Мейстера» Гете («Kennst du das Land»), и этот зачин, в самом деле, «многократно отозвался», это самая популярная цитата из Гете в русской поэзии. Она обычно ассоциировалась не с античными, а с итальянскими реалиями, и Пушкин добавляет итальянские смыслы в это, целиком построенное на батюшковских аллюзиях стихотворение.

Со вторым титульным «мифом» — «Крым как русская героика» — все еще сложнее. Похоже, за всю «героику» тут отвечает одна ода Державина, а за Крымскую войну — «неистовый Тютчев» (sic!). «У нашей поэзии плохо с исторической памятью», — замечает Татьяна Михайловская. Да и с идиллией (с которой, по мысли автора, отныне ассоциируется Коктебель), если верить собранным цитатам, не все в порядке, сапгировская рифма «похабель», кажется, ставит точку в теме «русской идиллии», но Татьяна Михайловская, ставит здесь запятую и делает неожиданный вывод: «Как уже было в XIX веке, и сегодня античность в русской поэзии работает на развитие нашей культуры в целом, обогащая настоящее прошлым богатством — свободой плавания к новым берегам».

«Prosōdia», №№ 1–4. Штудии

Но вернемся к ростовскому журналу «Prosōdia». Он, в самом деле, всерьез отличается от «Ариона» по контенту (хотя по рубрикам зачастую совпадает). Центральный раздел — «Штудии», как правило, представляет одного поэта — героя номера. И в 1-м номере Владимир Козлов представляет Евгения Рейна. Если Татьяна Михайловская во всякой элегии видела идиллию, то Козлов ровно наоборот, у него Рейн пишет исключительно элегии, т.е. всякий ретроспективный сюжет здесь понимается как элегический. Очевидный городской романс с аллюзиями на Блока и Полонского «Жизнь прошла, и я тебя увидел / В шелковой косынке у метро», если верить Козлову, — «аналитическая элегия».

Герой «Штудий» следующего номера — Лев Лосев, статья Игоря Ратке называется «“Прохладные сумрачные покои” Льва Лосева», и это очень странная статья. Игорю Ратке не нравится поэт Лев Лосев, причем ему не нравится в этом поэте все — от «дьявольского осколка зеркала в глазу Кая» и этого «последовательного и упорного недоверия ко всем надличностным ценностям» до небрежного и, как ему кажется, неточного словоупотребления (для заведомо каламбурной поэтики замечание, по меньшей мере неожиданное). И самый поразительный упрек ближе к концу статьи, когда речь заходит о «поэтическом междусобойчике»: «Вдруг в Уфлянд сна вбегает серый вольф», «где Рейн ярится и клубится Штейнберг». По мнению сотрудника Центра изучения современной поэзии, редкий читатель «узнает в этих именах круг полуподпольных ленинградских писателей 60-х годов», и наконец: «Положа руку на сердце <...> кроме восхищения мастерством автора, способны ли такие стихи дать еще что-нибудь?». Похоже, пафос «антилосевской программы» Игоря Ратке состоит

в отрицании самой идеи поэзии как «дела частного человека»: «...возможна ли поэзия, обращенная к немногим не по своим объективным свойствам, а по сознательной авторской установке? И велика ли ценность такой поэзии в случае ее возможности? <...> Нет ничего более противного духу поэзии, и не только русской, чем культ самовыражения, чем утверждение частного бытия как нормы».

Было бы странно на третьем веку русской «индивидуальной поэзии» спорить с адептом Писарева и Чернышевского. Но проблема все же в другом: в журнале, который продекларировал «университетский взгляд на поэзию», несколько неожиданно выглядит пафос, позаимствованный из газеты «Комсомольская правда» советских времен.

И все же странность, заставляющая нас, по крайней мере, удивиться, лучше, чем неуклюжий пересказ чужих общих мест. Но именно это проделывает Андрей Рослый в № 4, пытаясь представить «второе дно в посланиях Тимура Кибирова». «Второе дно» здесь надо понимать как пресловутую «интертекстуальность», — все это давно проговорено, но Андрей Рослый умудряется сказать это еще раз новыми словами: «Обрамленные жанром, образы, отсылающие нас к классической русской литературе, позволяют сделать вывод, что именно литература для Кибирова — мерило, главный смысл и итог всего <...>». Я не очень представляю себе, что такое «обрамленные жанром образы», наверное, что-то вроде «торжества обертонов», но дальше этот автор проделывает запредельный трюк: пытается пересказать своими словами кибировское стихотворение (на самом деле пересказ — полезная вещь, начало анализа, как учил нас Михаил Леонович Гаспаров). «...Герой Кибирова, рассуждая о возможностях обретения средств к существованию с помощью бульварной прозы, обращается к самой прозе жизни, которая, будучи помещенной в своей банальности в поэтический контекст, обретает дополнительные эмоциональные смыслы». «Дополнительные эмоциональные смыслы» — это и есть искомые «обертоны», а вот стихи, которые таким образом пересказал Андрей Рослый:

Карман мой пустотой пугает. Раньше фигой
он переполнен был...

Игорь Бобырев. Что такое говорение и как его понять (Ното legends, 2016, № 1)

Все это было «говорение» о стихах, но Игорь Бобырев в «Ното legends» делает «говорение» темой, кажется, он пытается ввести новую категорию, которая, по его словам, составляет «суть поэзии». Что это такое, не очень понятно, хотя могло бы быть интересно, в самом деле. Чем «говорение» отличается от речи, что это — устность, спонтанность, фрагментарность? Ответа нет, зато нам сообщают, что «появление речи как субъекта рекламы современного языка вызывает интерес со времен Уитмена, если не с более ранних». Вот здесь загадочно все: что такое «реклама современного языка», как она выглядит, что за «субъекты» в ней появляются и какое отношение ко всей этой деятельности имеет Уитмен? Про Уитмена, впрочем, мы дальше кое-что узнаем: оказывается, про него писал Делез, и это, вероятно, должно что-то прояснить, но не проясняет. Вообще это тот случай, когда критика изоморфна своему объекту, она и есть «говорение», темное и спонтанное, некий символический акт, в котором — «смысла не ищи», и Бобырев даже произносит ключевое слово «глоссология».

«Настоящее не может оставаться конкретным и подлежит метаморфозе движения в рамках исторической ленты, в которой личные события выходят на первый план как живое Я истории. В этом движении происходит постоянная попытка догнать свое Я, которое может включать Я других, теряющих личные качества внутри текста». Все эти «Я» — свое, чужое, историческое, — все они как-то друг друга догоняют в «метаморфозе движения», и какие-то качества теряют «внутри текста», боюсь, что смысл.

Рената Гальцева

Попутные отклики

Сразу два отклика на две проблемы, обнаруженные в одном номере («Знамя», 2016, № 8).

I

«О, ЕСЛИ Б ТОТ, КТО ЗНАЛ...»

Я весьма польщена вниманием к моей книжке Сергея Ивановича Чуприна (с. 212). Собственно, не к книге как таковой, а к одной-двум ее темам. Критик ставит мне на вид, что я в 90-м году констатирую вспыхнувшую популярность русского культурно-религиозного ренессанса, наконец освободившегося «из-под глыб», вместе с последними томами «Философской энциклопедии», — иначе говоря, «золотого века» русской философии (с конца XIX века принявшей эстафету от Золотого века русской литературы). Недостаток такого рода утверждения, по мысли уважаемого критика, состоит в отсутствии у меня пророческой, или, проще говоря, футурологической пронизательности насчет того, что случится с этим увлечением через четверть века (т.е. «сегодня»), когда те самые тома «заветной серии» «из истории русской философской мысли» заодно с «Ф.Э.» «вовсю» сдаются в пункты приема макулатуры «по восемь рублей за килограмм живого веса».

Независимо от правдоподобия этих утверждений (в чем есть большие сомнения) автор не учел, чему учил «старик» В.Г. Белинский, предупреждавший критиков не предъявлять претензий к автору по поводу того, что не входило в его задачу; но ограничиться тем, что он взялся описывать и анализировать. А он взялся ограничиться текущим, началом 90-х, не претендуя на предсказания будущего.

Критик с сожалением констатирует, что философы русского ренессанса, так увлекшие в свое время умы соотечественников, оказались бессильными наставить Россию на путь истинный.

В страстных спорах о преобразении России, которым «предавались сторонники Солженицына и приверженцы Сахарова, победили, конечно же, бюрократы», тоже, возможно, читавшие подобных философов.

Но у этой победы были иные причины — не потерявшие своей мощи рудименты советского режима.

Христос тоже не одержал победы на земле.

А что касается сегодняшней «надежды» на ее, России, возрождение, о которой упоминает Сергей Иванович, то у меня она как раз сведена к минимуму, что бросается в глаза, стоит только открыть первую же страницу «Содержания» сборника: статья «Почему не удастся обустроить Россию?».

Автор со снисходительной улыбкой упоминает о «привычных спорах» по поводу таких избитых понятий, как «антропологическая революция», «знаки которой и так наглядны». Но наглядны — не значит, что осознаны в качестве катастрофического фактора для рода человеческого и что из этого извлекаются практические культурно-социальные выводы. Когда-то, помнится, этот термин — *антропологическая революция* — был заявлен мною, но он не вошел в наш аналитический обиход, по-

добно понятию «нео- или псевдолиберализм», повисшему в воздухе как не отличае- мый от полярного ему классического либерализма.

При недавней нашей встрече С.И. в разговоре о книге был опечален слишком радостными в ней страницами — в такое-то суровое время?! Но как же не радоваться и не веселиться, когда прорвешься через все рогатки и препоны советской цензуры, когда после изматывающих затяжных стычек с превосходящей силой противника выходишь победителем?! Конечно, С.И. памяты эти чувства из своего трудового прошлого.

Но некоторой части гуманитарного сообщества, если эти годы она провела в кабинетах культурного истеблишмента вдали от полей сражения, понять подобное ликование затруднительно. Но как тогда воспринять парадоксальное на первый взгляд восклицание «Благословенна тюрьма!» Солженицына, главного врага, ненавистника и разоблачителя Архипелага ГУЛАГ?

Нет, только тот, кто знал, каково работать (перефразируя известную фразу) «в красных профсоюзах белым вождям», может разделить эти часы ликования.

P.S. Недавно, прочитав мой очерк «В строю и вне строя» о труженичестве в ИНИ-Оне, один сослуживец меня спросил: а когда было лучше, тогда (еще в советские годы) или сейчас? Я задумалась. Казалось бы, марксистский идеологический ошейник с нас снят... Однако тогда мы знали, с чем и с кем мы боролись (в форме, главным образом, противостояния), знали, кто наш противник, сегодня, в эпоху плюрализма дезинтегрированная цензура предстает в виде россыпи разнообразных властных (так или иначе) мнений, которых заранее не вычислишь, и еще — в ситуации множащихся контролирующих инстанций и лиц с их множающимися инструкциями, подлежащими безотлагательному исполнению.

Из идеологического мы попадаем в чиновничий оборот. Что лучше, судите сами...

II НЕДОУМЕННЫЕ ВОПРОСЫ

В увлекательной статье Ирины Сурат «И меня только равный убьет» (с. 187–191) описываются варианты толкований последнего стиха в стихотворении О. Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков...» — стиха, «настолько мощного, — пишет автор очерка, — что пояснения могут казаться избыточными». Однако, что бы ни «казалось», эти «избыточные» пояснения все же становятся предметом авторского анализа.

И это стремление пояснить последнюю строку «Волка» (домашнее название стихотворения) мне представляется самым естественным, потому что она, при всей ее мощи, не только не ясна, но, может быть, это самая неясная, самая загадочная строка в русской поэзии, обладающая манящей силой глубинной тайны, которая сокрыта в слове «равный».

Первая версия апеллирует к «чудотворному» сану Поэта как служителя Поэзии, которая бессмертна; потому бессмертен и сам поэт. Поэту нет в мире другого «равного», который мог бы его убить. Таким образом, речь идет не о будущей гибели, а о жизни, и даже вечной; Мандельштам возвещает о своем бессмертии.

Вторую интерпретацию предлагает известный переводчик Григорий Кружков, который видит разгадку в звучании этой строки на английском и, по сути, проецирует разговор в правовую плоскость. По-английски «равный» — это «пэр» (peer); «одно из прав, данных Великой хартией вольности, так, у барона существовало право быть судимым только судом пэров. Мандельштам как раз и заявляет свое право на суд равных». Сурат не забывает упомянуть и другого думающего таким же образом — Демьяна Фаншеля, который «прямо возводил» эту строку к Великой хартии вольностей (с. 188). Но «Так ли это?» — заключает автор и сразу переходит к рассмотрению убедительного, с ее точки зрения, разрешения вопроса. (Со своей стороны заметим, что изъян правового подхода в том, что он оставляет как раз неотве-

ченным смысловой вопрос: КТО может быть для поэта «пэром» в этом «парламенте»? Правовая постановка вопроса не наполнена содержанием. Сюда подойдет и ответ, уже описанный ранее, да и всякий другой ответ, претендующий на содержательность.)

Итак, наиболее верное решение автор видит в сюжете «Поэт и Царь», разыгрываемом в новой экзистенциальной ситуации: земной миродержитель — и властитель высшего царства, Поэзии («Поэзия — это власть», по слову Мандельштама). Игра в кошки-мышки коварного садиста-вождя, создававшая впечатление у поэта неких особых личных отношений, только подтверждала в глазах Мандельштама их ноуменальное равенство.

Поэт безумно страшился пыток и казни, потому ужас в этом стихотворении он довел до алогичного предела. Так, Сталин — это волкодав, истребитель волков, одновременно является и волком, вождем свирепой стаи, превратившей мир в кровавое месиво. Но ведь ни тому ни другому поэт как таковой в своем качестве не доступен. И мы снова празднуем его бессмертие, — поскольку суть этого «равенства» сводится здесь, как мы уже усвоили, к заключенной в нем поэтической силе.

Но нам кажется, что Мандельштам, настаивая на неуязвимости поэта со стороны волков и волкодавов, имел в виду нечто иное. Диву даешься, насколько черновые варианты финальных строк стиха разносмысленны, — как будто писались наобум. Но есть среди них одна строчка («Но во мне человек не умрет...»), которая намекает на другое толкование. Оно подтверждает нашу догадку, что неубиваема на самом деле — *человеческая душа, бессмертная человеческая личность*. Об этом же размышляет у Толстого Пьер Безухов перед лицом расстрела: «Это меня хотят убить? Мою бессмертную душу?». Очевидно, может сравняться с ней только иная, подлинно человеческая душа, которая — не душа убийцы. Речь опять идет не о смерти, а о неприкосновенности жизни.

Однако есть еще одна загадка: к кому обращается лирический герой, чтобы вырваться из волчьего мира в первозданность природной гармонии, где сияют «голубые песцы» и «сосна до звезды достает»; кого он просит «запахать» его «в рукав теплой шубы сибирских степей»? Это не Бог, не народ (как в стихотворении «Сохрани мою речь...») и уж никак не земной владыка-волкодав, что лишил его «и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей».

Думая над этой загадкой, я не смогла представить ничего иного, кроме того, что это обращение без конкретного адреса, так сказать, к Риму и миру, предполагает некое Великое инкогнито, неопределенную Высшую силу, от которой одной он ждет отклика и помощи.

р е ц е н з и и**Сатирик или реалист?****Вадим Демидов. #Яднаш. — М.: Эксмо, 2016.**

Вадим Демидов — музыкант, поэт и прозаик из Нижнего Новгорода. В 2011 году в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла его дилогия «Сержант Пеппер, живы твои сыновья!» и «Там, где падают ангелы». «#Яднаш» — третий роман Вадима Демидова.

Структура романа — соединение нескольких повествовательных линий, развивающихся параллельно и циклично повторяющихся.

Основное повествование от третьего лица рассказывает о жизни героя и его брата. Эти части романа поддерживают сюжетную линию, в них умещаются события одного или нескольких дней, а герои практически не раскрываются. Сюжет таков: главный герой Сергей Кротов по воле обстоятельств оказывается на службе в ФСБ, в секретном отделе «Л», выявляющем либерально настроенных пользователей социальных сетей. Задача Кротова — писать ежедневные отчеты о пользователях Facebook, распределяя их по лояльности на «шкале маний Янга — Савицкого» в зависимости от содержания их записей и комментариев.

Как герой относится к своей деятельности, его позиция и внутренний мир раскрываются в частях «Мысли на ночь». Это внутренние монологи Сергея Кротова. Именно из них читатель узнает, что герой ведет двойную жизнь, и все, что он добросовестно делает на работе, приносит ему глубокие страдания. А вот его возлюбленная Мария Дождева, работник отдела «Л» той же службы, раскрывается в официальных донесениях на своего любимого человека, которые она должна писать по долгу службы.

Парадоксально, но из всех форм представленного в книге текста именно донесения написаны самым образным языком, для них вовсе не характерны сухая фактология и канцеляризм: «На улице плыло марево вечера — и из всех подъездов зданий по соседству высыпались люди, словно зерно из элеватора». «Кротов глядел на сражающуюся биомассу, сморщив складку над переносицей и чуть прищурившись. Взвизги и крики, заполошный плач и мятые стенания толпы, казалось, заставляли его страдать. Когда колонны, поистрепанные, вырвались на вольный простор и, как ни в чем не бывало, замаршировали в намеченном направлении, пошел мелкий колючий снег»... В таком лирическом ключе, с вниманием к деталям и к нюансам эмоционального состояния главного героя, написаны служебные документы, и это здесь нормально — художественная реальность романа протекает в несколько абсурдистском ключе. Для Марии Дождевой нет особой разницы между донесением и любовным письмом, для ее начальства, вероятно, тоже.

Важный пласт романа — пространство Интернета и социальной сети Facebook. Это одно из ключевых мест развития действия. Сюжет разворачивается в постах и комментариях. Постепенно персонажи, пишущие посты и известные читателю только под никнеймами, выводятся из виртуального пространства в реальный мир. Но то, что они пишут в социальных сетях, напрямую влияет на происходящее в жизни. Словесные стычки становятся реальными драками, а исчезнув из Сети, некоторые герои исчезают и из жизни.

Такой выбор места действия — социальная сеть Facebook — неслучаен. В последнее время именно социальные сети в куда большей степени, чем более ранние блоги, например, «Живой журнал», отражают происходящее в обществе. Именно там любые личные и общественные события широко обсуждаются.

На сегодняшний день социальные сети — чуть ли не единственная площадка, где можно открыто высказывать все что угодно на правах личного мнения. Тогда как пользователи ЖЖ, на чьи блоги подписано большое количество читателей, несут ответственность за написанное, как и официальные СМИ, и могут быть заблокированы «за распространение экстремистской информации» — этот ярлык можно навесить на все что угодно, для того он и создан, чтобы пугать тех, кто еще ничего не сказал, и наказывать тех, кто высказался не так, как надо.

Основные части романа дополнены вставками рифмованной речи брата Кротова, Ивана, передающей дух хаоса и абсурдности всего происходящего с главными героями: «Встали, люди, в хоровод, не смотри, что идиот. От сумы ты не сбежишь, у тебя в кармане — шиш. Шишел-мышел, миртрудмай, скуку сердца не ломай. В лом с рублем бежать в обменник, я же, братцы, не изменник. Меню доллару найду я в каком-нибудь аду. А в дуду я затрублю, скиньтесь, люди по рублю...».

А вставные эпизоды, описывающие ночь, когда Иван с Сергеем засыпают, повествуют о военных действиях кастрюль, сковородок и тарелок, оживающих на кухне: «Несмотря на перемирие, окруженная возле холодильника группировка тарелок кузнецовского фарфора предпринимает попытки вырваться из окружения, обстреливая позиции салатников и перечниц из минометов и тяжелого вооружения»...

Главный вектор развития романа «#Яднаш» и основной художественный прием — наращивание абсурда. Начинаясь как бытовая история одного конкретного персонажа с вполне ординарной проблематикой — борьбы верности собственным убеждениям и необходимости выживать, — роман перерастает в фантастическое полотно, охватывающее целую страну. Появляются новые сюжетные линии и персонажи: сначала одному из ресторанов города дают новое имя «За Сталина!», потом центральную улицу переименовывают в Сталинский проспект, проходят спиритические киберсеансы со Сталиным, либерализм объявляют официальным заболеванием, лечат от него в клубах анонимных национал-предателей и исцеляют в монастырях кулачными боями, трудотерапией и просмотром центральных каналов. Организация космических коммунистов во главе с Матерью Вселенной ищет по всему городу реинкарнации Ленина и Сталина. В конце концов люди просто теряют человеческое обличье и начинают перерождаться в животных и птиц — в зависимости от их политических и религиозных убеждений.

Название «#Яднаш» не лишено иронии. Во-первых, сразу очевидна параллель с речевкой «Крымнаш», которая также пишется в одно слово. А во-вторых, в продолжение темы социальных сетей автор ставит в начало слова знак решетки: в социальных сетях таким образом образуется хэштег — слово или фраза с предшествующим символом #, которыми пользователи Интернета помечают свой текст. По сути, хэштеги — это ключевые слова. Нажимая на них, пользователь получает возможность быстро найти группу текстов, содержащих конкретное ключевое слово. Ну а яд — та самая пропаганда, управляющая людьми и отравляющая их сознание. «Яднаш попадает в кровь, та становится вязкой, как смола, и перестает обогащать мозг питанием».

Однако напрашивающееся определение романа как сатирического представляется не совсем верным. Сатирику введение фантастических и абсурдистских элементов в произведение обычно нужно для того, чтобы обратить внимание читателей на какие-то зачаточные явления реальной жизни и показать их гипертрофированными, как бы говоря: посмотрите, к чему это может привести и во что развиться. Абсурд же, развивающийся в романе Демидова по всем законам литературы и остающийся в рамках художественной реальности, вполне сопоставим с происходящим в нашей сегодняшней действительности, если не событийно, то интенсивностью нарастания. Как герои романа встроены в систему фантастического и нисколько не удивляются, что начинают вполне реалистично превращаться в мышей и воробьев, так и наше общество совершенно игнорирует весь тот абсурд, который так же, по нарастающей, заполняет все сферы жизни.

Отдел «Л», ведущий слежку за активными пользователями социальных сетей, — в романе засекреченная организация, а в реальности подобные организации существуют открыто, уже ни от кого не засекречиваясь. Ознакомьтесь с тем, как работают подобные программы, очень просто: об этом открыто пишут интернет-издания, ссылаясь на разработчиков и закупщиков. МВД Свердловской области с радостью рассказывает о том, как

им удалось автоматизировать слежку в соцсетях при помощи, например, инновационной программы «Зеус», собирающей информацию о пользователе на основе его круга общения, комментариев, репостов, лайков и страниц, на которые подписан пользователь. Программа собирает информацию и справочники пользователей, вполне возможно, распределяя их по той же «шкале маний Янга — Савицкого». И ни у одного пользователя социальных сетей это не вызывает никакой реакции. Подобные новости в информационном потоке, который набирает силу с каждым днем, стоят на низшей ступени интереса и не вызывают никакого резонанса.

Реабилитация Сталина — тоже уже не гипербола. И дело даже не в том, что в его честь действительно называют рестораны (закрытый пару лет назад ресторан «Коба» в Новосибирске, поныне существующий ресторан «Сталинская дача» в Нижнем Новгороде), где в отзывах посетители пишут: «Приятное, уютное место. Разнообразное меню и демократичные цены», никак не связывая это имя с эпохой террора и убийств. А в том, что каждый год в каком-нибудь городе России открывается новый музей или памятник, посвященный Сталину. Сталина сегодня даже изображают на иконах: в 2015 году в Брянске в Святском монастыре освятили икону ко Дню Победы, на иконе изображена Державная Божья Мать, а под ней — Сталин в окружении маршалов Победы¹ — сюжет, весьма достойный романа «#Яднаш». Вместо того чтобы трезво посмотреть на прошлое, признать ошибки советской власти и взять на себя моральную ответственность за них, сегодняшняя власть дала заказ даже не приукрашивать или сглаживать советскую историю, а просто сносить ее до основания и писать заново. И те подчас уродливые формы, которые принимало управление страной, полностью оправдываются и подаются с позитивной коннотацией. Никто не забывает о том, каких неоправданных жертв стоила победа в Великой Отечественной войне, скольких отнятых жизней и сломанных судеб стоил небывалый экономический рост в эпоху Сталина... Просто к фактам добавляется внушаемое убеждение, что достигнутыми целями оправданы затраченные средства, и мы, живущие сейчас в России, должны сказать «спасибо» своим героическим предкам, а не сыпать обвинениями в адрес тех, кто превратил их из обывателей в героев. Такое чувство, что этот отрезок истории может повториться в любой момент — ведь цели оправдывают средства и сейчас, по той же схеме. Опять государству нужны герои, все больше и больше, и в любой момент все нынешние обыватели могут быть обращены в героев — например, международная обстановка обострится настолько, что к нам прилетят чьи-то бомбы, как наши сейчас на кого-то летят...

В романе очень реалистично схвачены и переданы две основные линии становления сегодняшней идеологии: обращение к эпохе сталинизма с полной реабилитацией этой исторической фигуры и насаждение официальной религии.

Религия всегда помогала человечеству выйти из «эпохи бездомности», как его характеризует философ Мартин Бубер, с одной стороны. А с другой стороны, была мощнейшим рычагом власти над обществом, за который наша власть сегодня взялась с новой силой. В школах предмет «История религии» подменен историей одного лишь православия, длиться будет эта дисциплина, как русский язык и математика, все одиннадцать лет обучения. Как никогда популярны в социальных сетях группы вроде «Батюшки онлайн», где тебе и совет дадут, и за родных помолются, и грехи отпустят. А у основных поисковиков Google, «Яндекс» и «Рамблер» появилась православная альтернатива — поисковик «Рублев. Ищите да обрящете», который на любой нецензурный запрос выдает одну из заповедей («Не прелюбодействуй», например) и текст про то, как выйти из блуда и жить в согласии с Богом... Все эти фарсовые формы существования, становящиеся на один уровень с рекламой, навязывающей потребителю товары, — не художественная правда и не плод воображения автора. Это наша обыденная жизнь. Что делать реалисту в такой реальности?

Жанр романа напоминает социально-политический памфлет, который отрезвляет и заставляет незамутненным взглядом посмотреть по сторонам. Но для памфлета этот текст избыточно художественен — язык романа позволяет соотнести его с лучшими образцами художественной прозы последних десятилетий.

1 <https://meduza.io/feature/2016/02/25/trepeschite-yadom-plyuyte>

Вот такие вопросы задал нам Вадим Демидов. Будем надеяться, что следующие его книги помогут исследователям современной литературы ответить на них.

Полина Щекина

Дорога лучше недороги

Андрей Пермяков. *Темная сторона света.* — Вологда: Том Писателей: Антология новейшей вологодской литературы, 2016.

Проза Андрея Пермякова «Темная сторона света» была опубликована в «Волге» в 2013 году. А вышла отдельной книгой в «Томе Писателей» только в 2016-м. То есть повесть пережила свое второе рождение, а значит, и поговорить о ней можно заново. Может быть, потому, что прошло некоторое время — определенные вещи, рассказанные в ней, стали выглядеть более отчетливо, как и все, что видится на расстоянии.

Начну с того, что сам Пермяков — личность неоднозначная. Пожалуй, в литературном мире у него столько же друзей, сколько и недоброжелателей. Да и то сказать, давно уже прошла мода на «хороших» литературных персонажей — и все чаще герой нашего времени оказывается непрост как в моральном, так и в социальном плане. Вот и Пермяков в «Темной стороне света» — этаким добрый молодец из «Повести о горе и злосчастьи». Молодец этот непутевый, но не злой, добродушный, но не простака, и живет он не всегда в ладу как с окружающими людьми, так и со своими собственными грехами и талантами. Например, герой в начале дает себе обещание в рот не брать ни капли спиртного, а под конец поездки это обещание превращается в устойчивую гордость выживания после очередной пьянки. «Думал, будет у меня тур “Дорога к солнцу”, а получилось опять “Синее кольцо России”».

«Куда бы ты ни поехал, ты все равно берешь с собой самого себя». Эту цитату Пермяков вольно или невольно обыгрывает на протяжении всей книги. И именно оттого, что он не пытается отретушировать свой собственный портрет, — герой книги вдруг приобретает черты собирательного образа и становится архетипом.

В начале книжки автор предупреждает: «...когда автостопом едешь, с тобой часто получается только хорошее и ничего иного. А в тот раз всякое было». Продвигаясь в текст все дальше и дальше, подготовленный читатель уже ожидает трагедию, чувствует, что она где-то на подходе. А ее все нет. Только серый снег, собачий лай, водители-статисты и негрустный Пермяков, готовый к новым дорожным происшествиям. И получается вроде бы, что самое плохое, что может с ним случиться, — всего лишь потеря паспорта и ссора, а затем и расставание с дорожной подружкой Ириной. И это взамен ожидаемых вселенских катастроф. Но автор не обманывает нас. Трагедия у персонажа все равно происходит, хотя и вне книжки. Вне дороги, независимо от путешествия. И горе-злосчастье словно бы «висит» над всем повествованием, еще не случившееся, но предсказанное.

Роман-странствие (в нашем случае — повесть) — имеет в мировой литературе большую историю, и герои этого жанра, от Генриха фон Офтердингена и Франца Штернбальда до Венечки Ерофеева, — народ беспокойный. Все они, как говорится в русской сказке, «или дела пытаются, или от дела лытают». Автостоп — это вызов, отказ от комфорта, от предсказуемых дорожных впечатлений, это погружение в пространство, где нет никаких других законов, кроме случая. По сути, это еще одна жизнь внутри жизни, протекающая по тем же законам. На протяжении всей книги Пермяков пытается это нам объяснить, и иногда объяснения выглядят несколько нарочито, словно ненужные оправдания. А объяснять нашему читателю ничего и не надо: сама идея такого путешествия и такой книги — абсурдна, а значит, правдоподобна. И так же, как Пермяков в самые трудные моменты на дороге начинает размышлять о сути автостопа, человек в сложной ситуации, рефлекслируя, пытается разобраться в смысле жизни. И то и другое безрезультатно.

А по сути, конечно, «Темная сторона света» — это дневник. Вахтенный журнал, в который заносятся любые мелочи, от мозоли на ноге до печальных и смешных историй, рассказанных водителями встреченных «Мерседесов» и «Газелей»: «В автостопе я не люб-

лю, пожалуй, лишь вот эти скользкие моменты: мы ведь, в сущности, развлекаемся. Мир посмотреть, друг друга найти. На крайний случай — время растянуть. А люди тут работают сильно. И люди-то хорошие все. У Васи неприятность, а он нас еще подбирает». Главное, что делает Пермяков в этой книге, — заражает читателя верой в хороших людей. В шоферов, которые не требуют платы за проезд, в прекрасную случайную встречу с красивой женщиной, в честных милиционеров, которые не побьют, а помогут. И ведь не скажешь, что это романтическая выдумка, хотя и вправду, наш герой — романтик, с дзенским спокойствием переживающий неудобства. Это романтическая реальность, сиюминутные чудеса. Ради того и пустился наш персонаж в дорогу, чтобы не забыть, что они случаются. «...Путешествия вольным методом дают сдвинутое представление о населении российских дорог. Кажется, будто здесь собираются лишь равноангельские персонь». Все встреченные Пермяковым герои — водители, попутчики, хозяйева «вписок», милиционеры и кондуктора — пестрый калейдоскоп характеров и портретов, вполне гоголевский. За тем лишь исключением, что души эти — не мертвые, а живые, и у каждого — своя история.

Живые в этой книжке все: от поэтов Наты Сучковой и Марии Марковой до архитектора Тона и царя Василия Шуйского. И каждый встречный-поперечный Пермякову доброе дело делает: то подвезет, то накормит, то на мудрую мысль натолкнет. Вообще же автор ничего никому своим путешествием не хочет доказать. Автостоп Пермякова — это путешествие бианковского муравья по березовой веточке, с последующим возвращением обратно в муравейник к закату солнца. И встречаются ему всякие Жужелицы, Кузнечики, Жучки-блешачки, Гусеницы и Хрущи. Иногда встречаются бабочки, которые улетают от муравья разочарованными. Потому что не орел он. В других же главах невольно вспоминаются круги ада, и путешествие Пермякова уже становится пародией на Данте. Да, вот так пафосно. Но эта мысль при чтении возникает столь же естественно, сколь безыскусно автор описывает путешествие по маленьким городкам, расположенным вдалеке от столиц.

И время в дороге смещается, и пространство. То есть за счет перемещения в пространстве автор создает возможность перемещения во времени: «В Москве или даже в Вологде у каждого дома, может быть, по тысяче событий происходило, и они одно другое затмевают. А тут: скачет князь по льдинам, скачет». Это дается ему легче легкого: вот Пермяков с Ириной спорят о потерянном паспорте, а вот уже и Васька Косой бежит с горы, а молодая игуменья Ульяния подговаривает бесхарактерного батюшку Афанасия и еще пару мужиков, чтобы те извели старую игуменью Марфу. Очень много событий уместилось в небольшой повести Пермякова. То есть «растянуть время» ему удалось на несколько веков.

Кроме всего прочего, Пермяков афористичен: он словно бы и затеял все это путешествие, чтобы найти правильное слово, правильную мысль. «Дай дураку стеклянный стул — он и стул ломает, и руки порежет»; «Ментальная усталость от пребывания рядом с неудачником ведь куда тяжелее усталости дорожной»; «Дорога лучше недорого. Всегда»; «Съезди вокруг. Убедись: мир фрактален по-прежнему»...

Несмотря на то что повесть «Темная сторона света» наполнена массой замечательных находок, под конец повествования все города, через которые проехал Пермяков, у меня начали сливаться в один, все географические названия перепутались, все водители превратились в одного монстра с текучим лицом. Таким оказалось влияние текста, хоть и разбитого на главы, но подчеркнута однообразного по настроению — очевидно, это дорога и дорожная усталость передалась читателю, эмпатически настроенному на автора. Но, пожалуй, такое повествование и не должно быть занимательным, ведь перед нами не приключенческий роман и не любовная история в чистом виде. Перед нами портрет той России, какая у нас есть: не только с ее дураками и дорогами, от которых асфальт отторгается, «будто трансплантат», но и с историей, с «расписанными матерно» церквушками, с надгробиями вдоль федеральных трасс, с оранжевыми машинами, среди бела дня развозящими из города в город ядерные снаряды. Мелькают Уральские горы, меняются часовые пояса, появляются и исчезают придорожные кафе, зазеленелые речки, случайные квартиры, ночлежные монастыри. Люди, не успев материализоваться как следует, — вдруг прощаются и уезжают («аккуратно прощаются», хочется повторить вслед за

автором. Иначе — и не будет больше никакой дороги, без такого вот «аккуратного» прощания.)

И Пермяков убеждает. Действительно, дорога лучше недороги — и писать об этом лучше, чем не писать. А читать — лучше, чем не читать.

Ольга Аникина

Поручик Постмодернистский

Путешествие из Конотопа в Москву. Мемуары поручика Ржевского. — М.: Эксмо, 2015.

Произведение автора, скрывшегося за псевдонимом Е.Н. и скромной функцией публикатора, «Путешествие из Конотопа в Москву» родственно знаменитому радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву». Между собой два текста — двухвековой давности и недавний — связаны не только созвучным заглавием, но и композиционным сходством. Обе книги построены в форме путевых записей. Только у Радищева главы соответствуют местам на карте, а у Е.Н. часть глав тоже называется топонимом, а часть — вольно: «Наша взяла!», «Ночные полеты», «Накануне». Впрочем, заголовки, как и в «Путешествии из Петербурга в Москву», бесхитростны, задача у них простая — указывать на происходящие в главе события.

Встречаются и заголовки в форме цитат: «Властно играют в делах человеческих тайные силы» (из Овидия; речь в главе о неодолимой силе обстоятельств, сталкивающих людей).

Знакомо и краткое вступительное слово к рукописи: «Некоторое время назад мой товарищ, еще со школьных лет утверждавший, что происходит из дворянского рода Ржевских, передал мне рукопись, автором которой, по его словам, был «тот самый» поручик Ржевский, его прапрадед. <...> Готовя заметки к публикации, я по мере возможности старался следовать оригиналу, но, тем не менее, домыслил и реконструировал «выпавшие» события, а нелитературные выражения удалил. Кроме того, людям, обозначенным автором рукописи N, я дал имена и фамилии».

Введение декларирует подлинность ситуации, приведшей к опубликованию рукописи, созданной, судя по стилистике, в XIX веке, и существование манускрипта, якобы прошедшего экспертизу музейных работников, опознавших аутентичную бумагу и чернила. Публикатор всячески старается обосновать свое утверждение: «Словом, все указывало на то, что рукопись настоящая и вышла из-под пера человека, жившего в первой половине XIX века и принадлежавшего... к знатному роду». Убеждает он читателя и в том, что поручик Ржевский — историческая личность. Прообраз этого вступления — не что иное, как «Взявшись хлопотать об издании Повестей И.П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора...».

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина» у Е.Н. отзвучат еще не раз, уже не в «происхождении» книги, якобы опубликованной доброхотами после смерти автора, но собственно в тексте. Иногда цитаты будут приведены в ехидно-искаженном виде: «Поначалу я закусывал жареной курицей и пряженцами, но потом уже всем, что только ни попало мне в руку со стола, — в том числе и черешней. ...откуда же взялась на том столе черешня — ведь май был на дворе... Возможно, на самом деле, это была не черешня, а клюква, однако ж, я прекрасно помню, как выплевывал косточки в пустую бутылку».

Вот во что трансформировался ключевой момент повести «Выстрел»: «Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешнями. ...Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня».

Займования, вошедшие в текст Е.Н., а точнее сказать, его составившие, гораздо шире не только «Повестей Белкина», но и хронологических рамок, в которые те были написаны (завершены в 1830 году).

Это следует уже из первого «прототипа» мемуаров поручика Ржевского — «Путешествия из Петербурга в Москву», написанного в 1780-х годах.

Далее, так как поручик Ржевский перемещается по России преимущественно на бричке, очевидна перекличка этого образа с другим седоком в бричке — Павлом Ивановичем Чичиковым, который явился миру в 1842 году.

Эпизодический персонаж, возникший в тексте в воспоминаниях и вопросах поручика Ржевского, — его кузен Александр: «Мы пробовали с ним скрещивать разные породы животных», — несколько напоминает любителя опытов Евгения Базарова, год литературного рождения которого — 1861.

Страницы об офицерской дуэли явственно напоминают о повести Куприна «Поединок», опубликованной в 1905 году.

И так далее. Почти вся русская классическая литература иронически отражена в «Путешествии из Конотопа в Москву».

То, что «главный» автор не обозначил себя на обложке книги и в ее тексте, ограничившись креатурой Е.Н., неслучайно.

Как мне представляется, в этом литературном произведении абсолютизировано определение: «...постмодернизм ...выдвинул концепцию невозможности существования автономного, суверенного индивида и переосмыслил творчество как скрытую цитацию и рекомбинацию уже написанного» (формулировка О.Ю. Цендровского).

Но основным объектом рекомбинации стало в этом тексте не русское классическое литературное наследие, а гораздо более поздние анекдоты о поручике Ржевском.

Это не моя догадка, а прямой авторский посыл из вступления: «Одним из героев фильма («Гусарская баллада». — Е.С.) был поручик Ржевский, о котором вскоре стали сочинять анекдоты фривольно-сексуального содержания, ставшие народным ответом на морально-этическую пропаганду советского времени».

Анекдоты о поручике Ржевском как о «собирательном образе вульгарного гусара с аристократическими замашками» не исключают, в авторской парадигме, того, «что в девятнадцатом веке жил и реальный Ржевский, служивший в гусарах и сделавший эти записи». Автор напирает на то, что анекдоты вполне соответствуют характеру «реального» поручика, что выяснилось опять же из рукописи: «Встречались в рукописи и рисунки пикантного содержания. Например, на одном из листов была изображена обнаженная особа, лежащая на столе, а рядом с ней — бутылка и бокал. Под рисунком стояла подпись: «мой ужинъ в то время». Были там и стихотворные строчки типа: «Безъ напидков севечоръ я пьянь, потому как N званъ».

Все остановки на пути поручика Ржевского из Конотопа в Москву однообразны, хотя автор и старается подчеркивать их разнообразие. Разнообразие на первый взгляд наличествует. Но вскоре оно прискучивает, вполне в логике текста о бесконечных похождениях бонвивана: разные зачины подразумевают одно и то же развитие микродействия, приводящего поручика к «ужину» с очередной избранницей, и это повторяется до полного утомления — и поручика, и читателя.

Многократное повторение одних и тех же деталей с небольшими девиациями — тоже один из краеугольных камней художественного метода постмодернизма.

Впрочем, может ли быть скомпонован иначе текст, начинающийся с рассказа о конотопской кузнечихе Ганне, каковая «причинным своим местом уж не могла управлять — оно сжималось, как железные клещи, едва поблизости оказывалась особь мужского пола». В силу этой своей особенности Ганна осталась без венчаного мужа, сбежавшего от нее после непоправимого увечья, и сама стала заниматься кузнечным делом, а в праздники на ярмарке тем же местом на потеху публике разгибала гвозди. Разумеется, гусары поспорили на пятьдесят рублей, что сумеют побороть стихийное сопротивление Ганны, и, разумеется, в состязании победил поручик Ржевский, а деньги благородно отдал кузнечихе.

Эта пикантная схватка не раз потом аукнулась поручику, он даже всерьез подозревал, что в Петербург его вызвали из-за скандальных слухов. Так гласят мемуары, но мы не будем обманываться — на деле завязка сюжета в виде публичной победы поручика Ржевского над женским естеством понадобилась автору для эффектного начала стилизации.

Но она сослужила автору плохую службу. Дальнейшая сюжетная и смысловая линия «мемуаров» сведется к смене обстановки подобных приключений поручика, но даже стилистика описаний этих эпизодов повторяется от примера к примеру. «Хулиганское» начало задает крупной вещи облик и тон непомерно растянутого скабрёзного анекдота.

Приведу в пример сцену, когда поручик, полковник и денщик после победы над Ганной меряются тем, что поручик откровенно, но целомудренно называет «уд»: самый маленький оказывается у полковника, самый большой — у поручика, а у денщика — почти такой же, как у поручика. А не забавнее было бы, если бы у поручика сей орган был самый маленький? Ведь не в габаритах дело, а в обаянии?..

Ближе к финалу мемуаров Ржевский словно спохватывается, что его жизнь бесславно проходит в пьянстве и разгуле, и паузы между «любовными баталиями» заполняет умствованиями: «Так почему же мой разум, по мощи своей многократно превосходящий мышинный, не может постигать то, что скрыто за сферами обычных чувств и знаний?».

Спohватился создатель текста, возможно, дабы придать образу героя-рассказчика Ржевского отличие от анекдотов. Или ради придания конечного смысла повествованию. Но последними словами в записках поручика станет восклицание: «Елки-палки — как бездарно прожита жизнь!». Завтра поручик, слегка остепенившийся и создавший семью, будет убит на дуэли драгунским капитаном Ерлуковым. Опасную встречу с ним Ржевскому предсказал таинственный дневник, писанный, по мнению поручика, самим чертом и подброшенный нашему герою. Сюжет встречи с чертом, однако, как-то скомкан.

Не стоило бы, наверное, и говорить об этой книге в контексте высокой литературы, но изрядная литературная эрудиция автора и убедительность стилизации заставляют все-таки на ней остановиться.

Мне хочется окрестить главного героя «поручик Постмодернистский» и спросить у автора: стоило ли перелопачивать такой объем классики, чтобы повторить анекдоты?

В чем смысл соединения фольклорного героя и мотивов всей русской классики? Игра это или насмешка? В чем смысл окликания и Радищева, и Вен. Ерофеева с еще более углубленной иронией: герой Ерофеева спасается пиететом перед русской культурой, тогда как продолжатель их традиции не оставляет на ней живого места?

В чем смысл возвращения к постмодернистскому приему именно сейчас? Возможно, это произведение характеризует дух времени, новый виток застоя с новым напором консерватизма и плохо закамуфлированной цензуры? И самочувствие автора, отказывающегося от авторства и уходящего во всеразъедающую иронию.

Елена Сафронова

Высвеченные из небытия

Уйти. Остаться. Жить. Антология литературных чтений «Они ушли. Они остались» (2012–2016). Составление: Б.О. Кутенков, Е.В. Семенова, И.Б. Медведева, В.В. Коркунов. — М.: ЛитГост, 2016.

Писать отклик на такое издание — не слишком простая задача. С одной стороны, живы многие близкие и друзья поэтов, которые могут воспринять любую критику весьма чувствительно. Мемориал на то и мемориал. При этом сами стихотворцы уже не могут что-либо возразить или как-то изменить свою поэтику. С другой, перед нами — собрание текстов, и относиться к ним приходится именно как к текстам, ни больше, ни меньше. В данном случае рецензенту чуть легче, хоть и ненамного — за единственным исключением, я не был знаком лично с представленными здесь авторами.

Возрастной границей для «поэтов, ушедших молодыми» был выбран рубеж в сорок лет включительно. Это кажется не вполне правомерным. Полное развитие человеческого организма заканчивается примерно в двадцать пять лет, термин «молодежь» в широком смысле объединяет людей в возрасте до тридцати, возрастная планка для различных молодежных мероприятий, в том числе литературных, обычно находится на уровне тридцати пяти лет (в частности, это предельный возраст для участия в Форуме молодых писателей в Липках и при выдвижении на премию «Дебют»). До сорока доступны разве что совещания молодых писателей при Союзе писателей Москвы (но не для поэтов, там ограничение — тоже тридцать пять) и Липки для участников из стран СНГ, что выглядит неоправданной форой, но это уже совсем другая тема. В этот временной промежуток

укладываются целиком жизни очень многих знаменитых поэтов прошлого. Из отечественных: Кантемир, Барков, Хемницер, Рылеев, Веневитинов, Дельвиг, Пушкин, Александр Одоевский, Лермонтов, Надсон, Мирра Лохвицкая, Блок, Гумилев, Хлебников, Есенин, Маяковский, Поплавский, Вагинов, Олейников, Павел Васильев, Введенский, Хармс, Павел Коган, Уткин, Кедрин, Аронзон, Рубцов, Евгений Харитонов, Губанов, Башлачев. И еще некоторое количество менее известных. Я намеренно привожу имена различные по величине (но до определенного уровня), из самых разных групп и течений — не то чтобы для сравнения, а скорее для осознания масштаба, да и судьба у каждого из них оказалась, разумеется, своя. В то же время мир сильно изменился, средняя продолжительность жизни стала выше, глобальных исторических потрясений, хотя бы в сравнении с тем, что происходило сто лет назад, на большей части русскоязычного пространства в последние годы нет, поэтому подобное повышение возрастных критериев может выглядеть оправданно.

Период, охваченный томом свыше четырехсот страниц, небольшой — двадцать шесть лет, от гибели при невыясненных обстоятельствах в 1990-м Евгения Шешолина до трагического ухода в нынешнем году Романа Файзуллина. Как жизнь Лермонтова — ничтожный по историческим меркам срок. Каждой подборке предшествует краткая биографическая справка и почти всегда удачное послесловие. По объему следующее за стихами примерно равновелико собственно поэтическому творчеству. Часто эти тексты написаны профессиональными литераторами, порой знавшими ушедших лично, и представляют собой, к счастью, не некрологи, а фотографические или импрессионистские портреты, нередко с подробностями жизни автора стихов, порой относительно счастливой, иногда, напротив, совершенно беспросветной и даже жуткой. Помимо самой поэзии и биографий здесь же собраны эссе о проекте и информация об обстоятельствах смерти от составителей и примкнувших к ним писателей. Отдельной темой стоит упомянуть затронутый Еленой Семеновой вопрос предсказания поэтом своей гибели, вплоть до подробностей. Среди представленных авторов такие провидческие моменты, случайно или нет, но проскальзывают — в стихах у Алексея Ильичева, Ольги Подъемщиковой, Дмитрия Банникова.

В антологии — тридцать один автор в алфавитном порядке. Это уже статистическая выборка, а значит, можно сделать и какие-то общие наблюдения. Условных новаторов и безусловных традиционалистов — примерно один к двум, что уже не так плохо. Основная масса текстов написана привычной силлаботоникой, это неудивительно, по чуть-чуть — верлибров и белого стиха. Для некоторых из писавших «по-другому» (Эдуард Кирсанов, Евгений Хорват) в издание оказались включены почему-то вещи, не позволяющие составить цельную картину их творчества. Про кого-то, увы, не получится сказать ничего существенного — несмотря на грамотную версификацию, эти стихи почти не отличаются от того, что производят их рифмующие сверстники (и еще два поколения вглубь). На некоторых именах, напротив, стоит специально остановиться, насколько это позволяет объем рецензии.

В книге присутствуют три поэта, о которых сказано уже немало: Денис Новиков, Анна Горенко и недавно ушедший Алексей Колчев. Обсуждать в подробностях ту небольшую часть их творчества, что вошла в антологию, особого смысла не имеет, благо эти авторы более-менее изданы и вроде как известны всем, кто мало-мальски разбирается в современной поэзии. Но эти подборки удачны и само присутствие таких голосов знаково. Еще один не менее яркий, но мрачный (простите за оксюморон) поэт, метареалист (или все же, как считает Мария Галина, постакмеист?), малооцененный и при, и после жизни, которого, к счастью, начали издавать, — принадлежавший к литературной группе «Полуостров» москвич Михаил Лаптев: «Тяжелая слепая птица / назад, в язычество летит, / и мир асфальтовый ей снится, / и Гегель, набранный в петит. / Молчанье жирное зевает. / Она летит, в себе храня / густую память каравая / и корни черные огня». Заставляют к себе возвращаться и другие его стихотворения из первого посмертного сборника: «Я с вами говорю из ада...», «Страшен был город Китеж...». Даже если слова, что в архиве Лаптева сохранились «многие тысячи стихов», — художественное преувеличение, все равно, похоже, перед нами действительно открытие в русской поэзии конца XX века.

Можно отнести к постакмеистам петербуржца Алексея Ильичева, успевшего перед гибелью выпустить сборник и переоткрытого журналом «Волга» восемнадцать лет спус-

тя: «Поодаль кто-то глядит на тебя с усмешкой, / Понятной, как подтверждение, похожей на опасенье. / И если твоя монета упала на землю решкой, / Орел пролетает сверху, ее закрывая тенью». Изысканные, хоть и не всегда глубокие стилизации принадлежат участнику Ордена куртуазных маньеристов Константану Григорьеву, зато неизменно с юмором: «Вся летучими мышами переполнена столица. / А над нею черный купол — он от солнца защитит. / Вот Госдума. Депутатов сытые повсюду лица. / Вот Лубянка. В кабинете Дракулы портрет висит». У другого члена Ордена, Александра Бардодыма, к легковесной любовной лирике парадоксальным образом добавляются милитаристские кавказские стихи. Стилизация, но высокого порядка — творчество Сергея Казнова из Саранска. Эстрадно-иронический вариант поэзии 80–90-х представлен в подборке Андрея Туркина, в лучших своих вещах выходящего за границы жанра: «А птицы вжик по небу, вжик! / Как будто пули. / Когда нам дали эту жизнь, / Нас обманули».

Не лишены иронии и определенной брутальности стихи уральца Тараса Трофимова, фронтмена рок-группы и лауреата известной в свое время премии «ЛитератураРентген»: «Если кончатся ноги, ладонями я / Как туда, так обратно. / Если кончусь я весь — зеркало занавесь. / Был хороший, и ладно». Любопытна в своей фантазмагоричности поэзия Леонида Шевченко из Волгограда: «и ты выходишь на балкон, / клянешься тьмою и могилой, / но я не птица, я — дракон / чешуйчатый и многокрылый». Преломление фольклора можно увидеть в творчестве сибиряка Андрея Тимченова, которое отчасти напоминает песни Дмитрия Ревякина, который немногим старше Тимченова и тоже из Сибири, но также и уходит от народности дальше, к самой что ни на есть прозе жизни, касаясь и «темной стороны»: «Но туда, / Мария, / Где Марченко — могильщик от сельсовета / За бутылку закопает любого, / Туда ни за что на свете / Не приводи Второго!».

Наконец, нельзя пройти мимо собрания заслуживающих внимания свободных стихов у авторов, схожих не столько выбранной стратегией письма, сколько осознанием своей роли в литературе. Нередко тяготеющие к минимализму верлибры — у поэта, больше известного как московский культуртрегер 90-х и издатель, Руслана Элинина. Вот пространственный, но характерный его текст памяти Венедикта Ерофеева: «И вот — собираюсь я в гости / и весь истерзался / какие взять тексты / и галстук какой повязать / Вдруг заходит сосед с поллитровкой «Агдама» / и начинает бубнить что нечаянно мол / потерял мою книжку Батая / да черт с ней отвечаю ему / и вдруг понимаю / что без галстука лучше / а текст лучше взять / тот». Верлибры и гетероморфные стихи — тоже у культуртрегера, организатора фестивалей из Петербурга, Василия Кондратьева. Поэзия Кондратьева, направленная вовне, исходит при этом из вполне интровертного сознания: «Мне, обменявшему «есть» на «могло быть», / мир открыт, шумят золотые кроны. / Только ветра не слышно — стеклом окруженный, / я не чувствую воздуха, сперто дыханье, / и железные клещи держат мой голос, / тонкий, невнятный голос».

К подавляющему большинству антологий можно предъявить претензию в неполноте — само собой, у разных критиков и списки будут разные. И состав авторов для данного собрания оказался очень разноплановым. Тем не менее, на мой субъективный взгляд, среди тех, о ком говорили в программе чтений, но кого нет в подборках, не хватает нескольких имен. Из напрашивающихся сразу это совершенно разные по поэтике Борис Рыжий и Виктор Иванов, а также менее известные Максим Анкудинов и Мирослав Андреев. И ни разу не упомянутая, но по известности превосходящая чуть ли не всех приведенных выше Янка Дягилева. Что это — проявление личных вкусов или проблемы с авторскими правами — нигде не оговорено.

Необычная идея издания, как мы узнаем из сопутствующего текста, стала отчасти результатом «эстетизации смерти» для зачинателя данного проекта — Бориса Кутенкова, правда, в дальнейшем он от этого понятия отказался. Образ поэта, несчастного, непризнанного и умирающего в раннем возрасте, идет от романтизма, и оказал он на культуру последних двух с лишним веков влияние, скорее, вредное. Отход от такой картины представляется разумным — ничего красивого в смерти нет. И часто нет ничего выдающегося в преждевременной смерти — прожить полный, отмеренный природой срок, как правило, гораздо сложнее... А вот культуртрегерская идея полностью снимает вопрос о задаче антологии. Если всмотреться, получится, что сами безвременно ушедшие поэты лучше кого бы то ни было говорят об этом: «за белый свет и вот за них за всех / мы

никуда отсюда не умрем / ... / мы никогда до смерти не умрем» (Алексей Сомов). И все становится совсем очевидным, если «стихи, что письма с того света» (Роман Тягунов). Остается только поблагодарить составителей за возможность знакомства с рядом имен, часть которых могла остаться неизвестной вне самого узкого круга, и напомнить о тех, кто иным образом о себе уже не заявит.

Иван Стариков

Георгий Радов и его «Сферы»

Георгий Радов. *Гречка в сферах.* — М.: Художественная литература, 2015.

К столетию со дня рождения писателя и публициста Георгия Радова выпущен толстый том его произведений. На обложке — картина Зинаиды Серебряковой «Озимь». Широкими, свободными мазками — русское поле, далеко простирается взволнованная ветром густота посевов. Поле кажется бескрайним, убегает под самый розовато-серый горизонт. Рядом с картиной оформители расположили фото самого Радова — черно-белое, времен фронтового затишья.

Смотришь на эту фотографию и ощущаешь всецелую причастность Радова к глобальной русской жизни и судьбе. Он до глубины своих мыслей был и остался русским, несмотря на английское — по деду — происхождение и на обвинение — в связи с этим — в шпионаже... Фамилию, унаследованную от предка — Вельш, — пришлось сменить на более «советскую». Фамилия Радов — бравая, бодрая — звучала в унисон с идеологией «светлого будущего» и потому делала возможным литературное творчество.

С детства, которое Радов провел в Краснодарском крае, он запомнил воздух села, его культуру, привычки, самобытную жизнь и проблемы — которые позже будет освещать в своих публицистических очерках с неподкупной честностью. Даже название газеты, работа в которой стала ключевым поворотом в его деятельности, символично: «Курская правда». Правда — вот что интересовало писателя в его творческих исканиях, в описании быта, жизни, труда людей. Но просто описать — мало: надо еще измыслить, ухватить психологический тип каждого человека, прочувствовать его суть...

Радов — прежде всего публицист, и для него художественная правда и правда жизни настолько тесно переплетены, что сливаются воедино. Это и плюс, и минус. Сам Радов говорит об отрицательной стороне своего, как он говорит, «ремесла», сравнивая его с приготовлением из сельскохозяйственных культур витаминных гранул: «Не так ли и мы: сперва в поездках и встречах набираем охапки впечатлений, ярких, взъерошенных, как трава луговая. А потом в публицистическом рвении, чтобы добраться до полезного «каротина», прессуем их и прессуем, добиваясь плотности брикетов...». На выходе получаются «сухие мертвые цилиндрики — гранулы», и «процесс этот кажется святотатственным — душа его не приемлет...». И все-таки жертва обдуманна и оправданна. Опустив многое, можно сказать главное, с наиболее возможной емкостью и доходчивостью фраз.

Приведенные цитаты — из цикла «Председательский корпус». В поездках по стране Радов познакомился с немалым числом колхозных председателей, многие из которых стали его хорошими друзьями. Но даже не стань они таковыми, задачи Радова от этого не изменились бы — описать колхозную жизнь и передать значимость роли тех, кто в то или иное время стоял у руля четвертьмиллионной армии сельскохозяйственных коммун. Важно то, что по судьбам колхозных председателей и множества других сельских тружеников Радов прослеживает историю родной страны. На страницах очерков широко развернута панорама нескольких десятилетий, сопряженных со становлением и развитием коллективных хозяйств. С любовью к датам и деталям, достойной документалиста, писатель подкрепляет содержание своих очерков подробными описаниями сельскохозяйственных работ, подсчетами урожаев, простой арифметикой с количеством уродившегося зерна, хлеба... На первый взгляд кажется, излишняя роскошь — занимать этим целые главы. Но роскошь ли, когда хочешь максимально реалистично представить картину событий? Скорее — необходимость. Не зная всей подноготной колхоза, не зная кухни такого

явления, как колхоз, о нем правдиво и не напишешь. На фоне всех других специалистов председатель должен быть универсалом: вникать во все сферы, разбираться в хозяйственных тенденциях и новшествах. И нести колоссальную ответственность: за каждое решение и результат приходилось отвечать чуть ли не головой...

Радов анализирует жизнь и деятельность тех, с кем довелось общаться, и составляет типологию членов председательской когорты. Практиков без дипломов, дипломированных практиков, специалистов «очных» и «заочных»... Борьба «практиков» и «кабинетчиков» безмолвно присутствует в радовских произведениях, и симпатии писателя безусловно на стороне первых.

Радовские размышления — обо всем злободневном. О том, как тяжело колхозникам совмещать работу и высшее образование (вспомним заглавного героя его повести «Гречка в сферах» Антона Гречку, с деликатным вздохом ставящего в графе анкеты «н. высшее»). О том, что неплохо бы обеспечивать ветеранам труда достойную старость. Достойная старость подразумевает вознаграждение за долгий, неблагодарный и горький труд, личную пенсию и должное уважение...

Не надо думать, что Радов идеализирует своих героев. Он с теплом и симпатией пишет о председателях «первого эшелона», находя в их общем облике нечто «шолоховское», «рыцарское» — как дань их самоотверженности и трудолюбию, но тут же критически замечает, что «с их грамотой уже в тридцать третьем руководить было трудновато, если не сказать, что нельзя». Он повествует о «бессменных» председателях, уникальном явлении, каково не встретишь, например, в промышленности, когда и тридцать, и сорок лет люди оставались на председательском посту, верные делу. «Честная государственность» — вот что удерживало их в седле. Да, председательская политика знавала разные методы, и не всегда они гарантировали успех... Не всегда люди умели оценить разумность новой политики. Так, например, косились на торговлю, учиняемую Лаврентием Гречкой, прототипом героя «Гречки в сферах»: по тогдашним меркам коммерция шла вразрез с «советским» курсом развития... Радов обо всем этом размышлял и делился размышлениями с теми, кто был готов к бескомпромиссной честности. Перед взором читателей проходила история страны в именах. Разные люди трудились на колхозной ниве, по-разному складывались их судьбы, нитями этих судеб ткалась история. Что для чего является фоном: судьбы людей для истории или история для людей? История — это и есть люди, хотя порой кажется, что она — механизм, людей губящий. По Радову, люди сами этот механизм создают каждодневно. Идея коммунизма — «светлое будущее» — прекрасна и жестока одновременно своей идеалистичностью. Идеализм жесток, потому что требует от людей подвигов. Не богатыри, не уникамы, а обыкновенные люди должны добиваться нечеловеческих результатов — рекордных сроков, рекордных урожаев... И они добивались, но без восторженного идеализма, а с угрюмым осознанием необходимости. Успехи в тяжелом труде давались им ценой здоровья и жизни.

Один из ключевых моментов в творчестве Радова — вопрос нравственности. Можно долго рассуждать, что правильнее: ни на пядь не отходить от общественного мнения, чтобы никто не мог предъявить претензий, — или своим умом и своей порядочностью добиваться блага? Общего блага, смеем заметить. Каков хороший председатель: твердо-честный аскет или, как Лаврентий Гречка, понимающий, что «без материального интереса вообще нельзя вести колхозное дело»? И ведь приносящий реальную выгоду своему колхозу, даже когда «махлюет». Вопрос о том, кто прав, остается открытым для самого Радова: он признает, что «не уразумел до конца» — по молодости лет, по неопытности (всего девятнадцать ему было на момент знакомства с Лаврентием) — дальновидную политику председателя.

Очерки очень ценны: это взгляд очевидца на эпоху. Живой, внимательный и взыскательный взгляд. Независимое авторское мнение. К тому же «Председательский корпус» для Радова — возможность увековечить те имена, что всю жизнь были на устах людей — и тем не менее оставались в тени, ибо ждать славы было неприлично, не то воспитание. Радов сетует на специфику публицистики, из-за которой многие яркие, самобытные черты характеров поддаются «прессовке», отсеиваются. Он нашел выход: друзья-председатели стали героями его повестей и рассказов, в первую очередь — Лаврентий Гречка стал прототипом Антона Гречки в повести «Гречка в сферах». В названии повести

(вынесенном на обложку ныне изданной книги) фамилия главного героя, весьма символично и органично созвучная с названием сельскохозяйственной культуры, соединилась со словом «сферы» — загадочным, серьезно-красивым и оттого манким для слуха. А впрочем, в Гречкиной работе не до высокопарности: речи колхозников, пересыпанные украинизмами («лышенько», «трошки»), суетные будни, секретность миллионных операций...

Гречка — характер размашистый, с удалством, сользой слова и хитрецей; он стихийный психолог и артист, а еще он «председатель старой формации» и «практик», что, как мы помним, симпатично Радову. Если уж он «махлюет», то на благо колхоза, и он — фигура авторитетная. Впрочем, не фигура, а личность!

Чем отличается личность от фигуры? Ответ — в рассказе «Великомученик», где бригадир Степан Галабурда говорит новому секретарю райкома о двух комбайнерах, молодом и старом: «Не-ет, Корней Тихонович, как хотите — может, вам и фигуры требуются, а нам личность давайте... Игнат — он чем берет? Лихостью, моторностью, запалом. А Трофимыч... приверженностью берет, преданностью... Там и опыт, и душа...». Исконно русская душа с ее честной скромностью — вот что дорого Степану Галабурде и самому Радову в старике-комбайнере, скрепя сердце лагающему дно своей разваливающейся машины, лишь бы не отдавать на снос, не списывать — ведь «вся жизнь на нем»... А про орден Звезды, который ему сулят, отвечающий тихо: «Не положено...» — считает, что не заслужил никаких наград, ведь ничего особенного не сделал, работал, как все. И в этом его главная красота как труженика и человека.

Эта скромность, вкупе с бескомпромиссной честностью, — важные черты и в рассказе «Теща»: попутчик героя «в контрах» со своей тещей, в обиде на ее честность, которая его самого привела в тюрьму и от которой сладко не пришлось ни теще, ни ее близким. И одновременно он восхищается ею как настоящей труженицей, человеком большой духовной силы. Когда дочка-доярка заслужила Звезду — мужчина не выдерживает: выговаривает председателю за тещу, которая не в тепле, да не с электродойкой, как молодая, трудилась, а в отстающем колхозе, вдобавок с кулаками воевала, здоровье сорвала... Но теща не принимает никаких наград, ее возмущают мысли зятя: не за награды она советской власти служила... Идеализм? Или просто желание жить по совести, чтоб самой себе стыдно не было и за других краснеть не пришлось?

Угрюмая радовская теща не умеет жить иначе, и в этом ее красота. Эта теща — олицетворение всех «Палашек и Машек», о которых с воодушевлением писал автор, всех героических женщин, матерей и жен; «высохла, поседела, куда и делась бабья ее красота», — говорит Радов об Анне Степановне и о тысячах других женщин, чья молодость потихоньку проходит в черед будней. Множество женских образов рисует Радов в своих произведениях. Это и черноволосая круглолицая Мотя, с «горькой неутоленной нежностью» глядящая на Антона Гречку, который «никогда, наверно, не смотрел на Мотю как на женщину, да и человека-то в ней вряд ли разглядел». И красавица-бригадирша Марфа Шевчукова, и председательские жены, о которых Радов не стеснясь говорит доброе слово. Ведь женщины эти трудятся наравне с мужчинами, и помощи им ждать неоткуда, а они еще успевают исполнять свое природное назначение... Преждевременно увядающие прекрасные женщины и молодежавые, бодрые мужчины, ловкие в работе и неуклюжие в любви... Радов понимал: за любым коллективом, за любой работой прежде всего стоят простые человеческие отношения.

И он умел разбираться в тонкостях этих взаимоотношений. Как говорит он сам в «Гречке в сферах» (и не в последнюю очередь слова эти можно отнести к нему самому): «Интеллигентные люди, разбирающиеся в психологии, нужны селу не меньше, чем оборотистые хозяева».

Ксения Приходько

Двадцатый век: эстетика и поэтика

Л.А. Колобаева. От А. Блока до И. Бродского. О русской литературе XX века. — М.: Русский импульс, 2015.

Автор, в отличие от многих, не выдает сборник статей за монографию — пишет только о литературе Серебряного века и еще недавних десятилетий, середина опущена. Тематика статей разнообразная. Но через всю книгу проходят, скрепляя ее, основные — и весьма масштабные — мысли. Главная из них: «Поэзию И. Бродского и Серебряный век русской литературы можно рассматривать как некие концы и начала XX в. В них, в этих концах и началах, по размышлению открывается определенное и на первый взгляд удивительное, упрямое и драматическое единство литературы XX столетия». В этом веке литература стала идеологически и эстетически гораздо разнообразнее, чем в любом предшествующем. Но и столетием раньше в ней видели несовместимые вещи, а наш современник М.Л. Гаспаров в статье «Прошлое для будущего» констатировал ныне очевидное: «Для нескольких поколений Фет и Некрасов, Пушкин и Некрасов были фигурами взаимоисключающими: кто любил одного, не мог любить другого. Теперь они мирно стоят рядом, под одним переплетом». Кто из наших критиков пишет о В. Гроссмане и И. Бродском, тот не пишет об А. Солженицыне и В. Распутине, и наоборот. Литературовед Колобаева сумела найти общее у Бродского и Распутина. Для героя «Новых стансов к Августе» оставшееся время жизни стало «*лишним, лишними днями*, и в этом открывается вся глубина его чувства любви и сжатого в кулак ужаса, холода ее утраты». Вот и «в ранней, сильнейшей повести В. Распутина “Последний срок” <...> лишний срок жизни героини, умирающей крестьянки Анны, связывается с затянувшимся и напрасным ожиданием *любви* дочери, с неоправдавшейся надеждой на радость последней встречи с ней». А в «Жизни и судьбе» В. Гроссмана выделено его рассуждение о трусливой, часто подлой надежде (конечно, непохожей на надежду старухи Анны, хотя она тоже обречена) узников немецких концлагерей выжить даже на краю могилы; восстания там происходили лишь «из суровой безнадежности». И сталинская тема в романе сильна не столько изображением арестов, лагерей, сколько глубоким анализом «разлагающего их влияния на души людей, их нравственность». Конечно, Бродский, и Распутин, и Солженицын, каждый по-своему, тоже больше всего размышляли о душах людей. В этих размышлениях и обнаруживаются точные соприкосновения столь непохожих художников.

Обнаруживаются они и у представителей литературы самого многообразного периода в рамках XX столетия — Серебряного века (недаром в последнее время распространилось понятие «постсимволизм», объединяющее вроде бы несовместимых футуристов и акмеистов, да и не только). «Когда-то нам казалось, что в отношении Бунина к модернизму не было ничего, кроме отторжения». Но сам писатель говорил, что приемлет очень многое в подлинно символической мировой литературе. Таковая существовала задолго до символизма рубежа XIX–XX веков, но, как и в нем, важнейшим для Бунина стал образ «*памяти*, причем не столько в своей “отражающей”, сколько *преобразующей* функции, когда *память* отбирает лишь то, что ее “достойно”, стирает границы времени и пространства, отбрасывает как поверхностные детерминистские, причинно-следственные отношения в сюжете».

Бунина сближают с последовательным реалистом Чеховым как изображающих драматизм *повседневности*. Однако он фокусом своих произведений, особенно эмигрантских, делает, в противоположность Чехову, «редкие моменты человеческой жизни (вспышку любовного чувства, несчастье, катастрофу, смерть), когда в сознании героя происходит взрыв повседневности, “солнечный удар”, слом привычного, и у него рождается “второе” зрение, он открывает для себя всю красоту мира и свое “полное присутствие” в нем <...>». Л. Колобаева соглашается с Ю. Мальцевым в определении «Жизни Арсеньева» как феноменологического романа и напоминает, что «феноменологическая эстетика, идущая от философии Э. Гуссерля, от эстетических учений Р. Ингардена, Н. Гартмана, Г. Шпета и А. Лосева, основывается на рефлексии переживаний, видит сущность прекрасного в его неповторимости и соответственно вершиной литературно-художественного творчества считает *не тип*, а воплощенную в

образе незаместимую индивидуальность, исходит из положения о единстве *субъекта* и *объекта* в искусстве <...>». Трагедия России в XX веке произошла, по Бунину, из-за недостаточного развития личностного, индивидуального начала, подчиненности множества людей власти большинства, привычки действовать «как все» (из-за этого крестьяне бунтуют еще в повести «Деревня»). Но и много лет спустя И. Бродский делал акцент «на мысли, что спасение — не в массе, а в независимой личности, — убеждении, близком многим крупным художникам рубежа XIX–XX вв.».

Андрей Белый в начале 1920-х годов пытался издавать журнал «Эпопея», впрочем, полагая, что ответ истории на революцию определится для России в 30-е. Официальная литература 30-х действительно стала ориентироваться на эпичность и даже «эпопейность». Однако Белый уже во второй половине 20-х — начале 30-х годов написал «московскую трилогию», в финале которой (это ключ к роману «Маски») «дается образ *взрыва миров*, прообраз атомной катастрофы, — разрыва времен и пространств. И ключ этот уже не ожидаемый, не эпопейный, не величественный и героический, а, скорее, наоборот, *антиэпопейный*». Эпичность — это народное единение. В романах же Белого о Москве эпохи 10–20-х годов воссоздается «гротескно-символический дух всеобщего *разброда*, “разрыва”, *разъединения*». И нечто аналогичное в литературе XX века может происходить даже на материале эпохи, дававшей почву для подлинной «эпопейности». При задержанном опубликовании «Жизни и судьбы» у многих возникли ассоциации с «Войной и миром». Теперь Л. Колобаева утверждает, что если это эпопея, то «совсем иного рода, чем “Война и мир”», и поддерживает устно высказанную мысль А. Адамовича: толстовское видение мира в основе гармонично, а духовный опыт человечества в XX веке, угаданный и предвосхищенный Достоевским, — дисгармонический. В судьбах главных героев романа В. Гроссмана, пишет исследовательница, кроме неизбежных во время войны страданий запечатлено «и нечто словно роковое — образ распадающейся внутренней цельности. Жизнь каждого из них — Крымова, Штрума, Новикова, Грекова, Евгении Николаевны Шапошниковой — затягивается в некий неразвязываемый узел, в какое-то неожиданное и парадоксальное противоречие». А поэтика диссонанса была отточена в Серебряном веке, в послетолстовскую по существу эпоху революций и войн, когда был открыт новый тип личности «со свойственным ему повышенным градусом драматизма бытия». Даже героика в «Жизни и судьбе» не толстовская (хотя, заметим, тут и там непатетическая). «Если Л. Толстой видит в героизме прежде всего проявление *необходимости*, то В. Гроссман — следствие и форму *свободы*».

При любых различиях между писателями начала и второй половины XX века лучших из них объединяет стремление к всестороннему синтезу, между тем как классика XX столетия — главным образом аналитическая. «Поэт мрачных состояний, Анненский все-таки не мрачен. Трагик на древний лад, он по-сегодняшнему ироничен. Художник, лелеющий в своем сознании тысячелетнюю давность человечества, далекую античность, он остро современен для своего поколения. Певец «тихих песен», поэт с нежным и стыдливым сердцем (как о нем сказал В. Брюсов), Анненский — громовержец в своих трагедиях, мифах о героях с исполинскими страстями». Не мрачен и трагизм Бунина, который как художник сражался с двумя ужасами — «всепожирающим *временем* и *страхом смерти*». Его прозу отличает пушкинская поэтическая «легкость» (как и другие деятели Серебряного века, он сближал поэзию и прозу). В нем преобладало «желание не развенчать “обман” бытия, как это делали многие символисты (вспомним “многоцветную *ложь бытия*” в поэзии Сологуба), но передать в образах свою замороженность его вечной красотой и мерцающим в ней высшим смыслом». Блоковские «двенадцать» и «скифы» — символы и святости, и жестокости. Л. Андреева характеризуют не только безнадежное отчаяние, разрушительный нигилизм, растерянность духа, свойственные «смутному» времени, но и потребность освобождения от иллюзий, как у И. Анненского (сложнее двойственная позиция Горького в отношении к правде: в драме «На дне» иллюзии тоже развенчиваются, но *лукавый* утешитель Лука — все-таки самый симпатичный и действенный персонаж), «императив трезвости в противовес утопиям общественного сознания. В свое время «интеллектуальной трезвости» в пересмотре представлений о человеке высказывает и Бродский. И «об ужасе исторического бытия» этот поэт, подобно Бунину в его трагических сюжетах типа «Легкого дыхания» и «Митиной любви», «говорит *легко*», в

чем сказались также традиции метафизической поэзии Джона Донна — сближение далекого, сведение воедино крайностей. О. Мандельштам в своих стихах сводит мировое с домашним, вековечное с житейским, обыденным, фантастическое с достоверным, сплетает ассоциациями современное и давно минувшее, скоротечное и непреходящее, обиходное и легендарно-мифологическое, запечатлевая тем самым «глубочайшее чувство драгоценности жизни», утверждая вечное, фундаментальные начала бытия. Вместе с тем он вместе с Ахматовой открыл художественную трактовку личности, которая «помогла проложить дорогу многим поэтам нашего столетия — от Пастернака до Бродского. Мандельштам и Ахматова утверждали в поэзии личность, при всей своей индивидуальной неповторимости отказавшуюся от претензий на исключительность, личность диалогического типа». При этом, «гармонически соединив и уравновесив в себе две стихии — женственности и мужественности, робкую нежность чувств с победительным рационально-волевым, активно-действенным началом, лирика Анны Ахматовой обретает полноту всечеловеческого своего звучания». Отличают ее и эпические мотивы, развившиеся в связи с двумя мировыми войнами. В этих стихах одическая торжественность сочетается с «удивительной домашней простотой и доверительностью тона, возможной только в общении с самыми близкими». Далее, анализируя «крохотки» Солженицына, Л. Колобаева отказывается признавать их лирикой в прозе. Для писателя в этих миниатюрах главное — не субъективные впечатления от явлений жизни, но «их суть, переданная по большей части эпически-повествовательно, если не в последовательности событий, то в связке знаменующих подробностей. «Крохотки» — это чаще всего «сгущенные» до грани афоризма рассказы, самый малый эпос».

Жанрово-родовой синтез тоже свойствен литературе XX века. Ранние произведения Горького, ныне утратившего популярность (а зря), «своеобразные, романтически вдохновенные драмы в прозе, новаторски преображали форму рассказа». Их традиции усматриваются в «героико-романтических рассказах В. Богомолова, Г. Бакланова», во многих рассказах В. Тендрякова с их чрезвычайными положениями, резкой борьбой характеров, «в новеллах В. Шукшина, с его замечательным умением за причудливыми и крутыми виражами чувств и событий открывать их глубинный, общезначимый нравственный смысл». В горьковских «маленьких драмах» человеческий мир схвачен в единстве его психологического, социального и философского измерений, автор ищет в человеке социально значимое, сокровенно-индивидуальное и общечеловеческое. Этой целостности, художественной синтетичности «так ждала литература нового века», в том числе в жанровом отношении — не только русская. «Новая драма» со времен Метерлинка «была творческим экспериментом, пробой “синтезирования”, соединения разных родов литературы и искусства — с широким включением в драму музыки, лирического и эпического начал, начала “романтического” с присущим ему психологизмом. В творчестве русских символистов драма изменялась прежде всего под влиянием лирики <...>». Пьесы И. Анненского соединяют «лирическое и драматическое начало с элементами прозаизации. И это философские, лирико-философские трагедии <...>». Во второй половине XX века Бродский в «Новых стансах к Августе», своем любовном романе, соединил «современные жанровые модификации элегии, оды, послания, лирические монологи с вкраплениями воображаемых диалогов, воспоминания и фантазии в сочетании с пейзажными зарисовками, запомнившимися интервьюерами и деталями совместных путешествий, медитации и философские раздумья, озвученные различными интонациями — романтическими, ироническими, идилическими, трагическими и пр.». В стихотворении «На смерть Жукова», парафразе державинского «Снигирия», «элегия соединяется с одой, а ода вбирает в себя ноты острого критицизма, нехарактерного для оды негатива». Вообще-то негатив был уже в одах Державина, но морально-бытовой, а не социально-исторический.

Приветствуя всевозможный синтетизм в литературе, Л. Колобаева не говорит прямо, однако наглядно показывает, что иногда он и недостижим. Так, ни одна из трех «дорог», доступных горьковской Мальве, — оставаться с Василием, связаться с его сыном Яковом или бродяжкой Сережкой — не позволит ей «соединить свободную жизнь с “нужной”». Особенно показателен уникальный трагизм Блока «Соловьиный сад» (без трагического конфликта, жертв и т. д.). Совместить два притягательных образа жизни оказывается невозможно. Возвращение героя на круги своя — не торжество, а именно

трагедия. В поэзии Блока состояние «меж двух огней» превращается «в черту русской истории вообще, в черту национального характера. <...> Острейшее ощущение непримиримых противоречий жизни входит уже в его лирику второго тома и заполняет собой стихи третьего».

На первый взгляд странно, что Андрей Белый, О. Мандельштам, да и другие выступили против психологизма; его избегает, например, Бунин в «Господине из Сан-Франциско». Но психологизм не сводится к исповедальности. «Вместо психологизма анализирующего, дробящего целостное образное впечатление, Мандельштам оперирует психологизмом предметно-символическим». Принцип Ахматовой — «не высказывать того, чего больше всего хочешь или страшишься». Это самообуздание личности вело в сторону не блоковского открытого, безудержного драматизма, но «закрытого, молчаливого, стoisчески — по-мужски — укрошенного», лирики без лиризма как эмоциональной взволнованности автора, захватывающей читателя. «Этот феномен стал знаменательным, характеризующим дальнейшее движение русской лирической поэзии в XX веке — от О. Мандельштама, Н. Гумилева, А. Ахматовой до И. Бродского и последующих поэтов». Ахматовский лиризм стал молчаливым, косвенным, проявляющимся в вещах обстановки, психологической реакции на них.

Философско-психологическая проблематика в прозе второй половины и конца XX века рассмотрена в книге на примере повестей Василя Быкова и рассказов Валентина Распутина.

Сходство между весьма непохожими писателями недавно ушедшего столетия обнаруживается не только на уровне синтетизма. «Распад характера, феномен неопределенности человека запечатлевается в русской литературе особенно пристально на рубеже XX века и в своих разных модификациях проявляется позже почти во всем вековом поле литературного движения — от Чехова до Вампилова, от Анненского до Бродского, от Солугуба до Набокова и дальше».

Лирика Бродского насквозь иронична ради «интеллектуальной трезвости», но у него ирония и трагизм «неотделимы от абсурда в отличие от Анненского, в поэзии которого элементы абсурда только намечаются». Зато их было достаточно во «Взвихренной Руси» А. Ремизова и, конечно, у Андрея Белого и футуристов. С последними Белого сближали также гиперболизм, гротескность образов, установка на произнесенное слово. Не только он влиял на Хлебникова, Маяковского и других. Например, в отношении неологизмов ошутимы его переключки с теоретическими послылками Хлебникова.

То, что книга Л. Колобаевой составлена из разновременных статей, местами чувствуется. Есть повторения, статья «И. Бродский и Дж. Донн» представлена как «доклад», исследование рассказов покойного Распутина, написанных не позднее 90-х годов, заканчивается словами: «Творчество последних лет писателя подтверждает тот неоспоримый факт, что В. Распутин остается замечательным художником современности». К сожалению, имеются ошибки. Ахматова родилась не «в день Сретенья (15 февраля)», а 11 (23) июня. Ее сборник 1940 года назывался не «Из шестой книги», а «Из шести книг». Древними монастырями названы не самые древние — Новодевичий (Ново-!), Зачатьевский и совсем уж новая, созданная в начале XX века, Марфо-Мариинская обитель (в ней оказывается героиня буининского «Чистого понедельника»), которая и монастырем не была (это община сестер милосердия). В цитате из К. Бальмонта «И вот почему я не могу, не терплю / В заветных глубинах признаться» определено лишнее «я» нарушает размер. Трехтомник публицистики Солженицына вышел не в Москве, а в Ярославле. Встречаются и небольшие погрешности типа опечатки «Александр II» вместо «Александр I» (роман Мережковского).

Порой не хватает сопоставления с другими эпохами. Л. Шестов утверждал, что «фантастическое реальнее естественного», явно под влиянием Достоевского, о котором он много писал. У символистов роль сновидческого начала «из вспомогательной, какой она была в произведениях классиков-реалистов, становится стилеобразующей». Конечно, о снах тогда писали реже, но роль снов Обломова, Раскольникова, Андрея Болконского (предсмертный) и Пьера Безухова, Веры Павловны у Чернышевского, повлиявшего на литературный процесс больше многих классиков, выходит далеко за рамки стилеобразу-

ющей. «Символика воображения, фантастика вообще играют небывалую роль в искусстве XX столетия. <...> С точки зрения психологической роли *стихии воображения* в литературе огромный интерес представляют романы А. Платонова, Е. Замятина, М. Булгакова». Но противоречие между «мечтой» и «существенностью» — чуть ли не главная тема классики XIX века (мечтателями были Чацкий, Онегин, Печорин, Обломов, толстовские Андрей Болконский и Пьер Безухов, чеховские три сестры и т. д.), только тогда это не грозило социально-историческими потрясениями. В том, что Копенкин в «Чевенгуре» воображает волосы Розы Люксембург «гаинственным садом», проявляется не только его фантастическая мечта, но и подсознательно-архаическое представление о дереве как символе плодородия и энергии, а о волосах — как о символе мистической силы (в «Песни о Роланде» Бранимонда говорит про Карла Великого: «Борода императора цветет, как яблонь» — перевод О. Мандельштама). Родовой синкретизм «античных» драм Анненского был позаимствован этим филологом-классиком прямо из греческой трагедии, как мотив самоослепления героя с его внутренним прозрением — тоже из античных представлений о слепых мудрецах и особенно из мифа об Эдипе.

Все же никакие промахи и упущения не снизят достоинств этой воистину замечательной книги.

Сергей Кормилов

Кимрообраз

Владимир Коркунов. *Кимры в тексте.* — М.: Академика, 2015.

Эта книга — не только краеведческое исследование, в котором собраны исторические сведения и интересные, не известные большинству факты истории небольшого приволжского городка, но и попытка творчески осмыслить образ Кимр в печатных текстах, причем не только литературных.

Текстуализация пространства, впервые предпринятая В.Н. Топоровым в отношении Петербурга, уже превратилась в исследовательский жанр: появились «московский текст», «крымский текст»... Доходит очередь и до малых пространств.

Признаюсь, до своей недавней поездки в Кимры я слышала об этом городе, но в моем сознании он не ассоциировался ни с Тверской областью, к которой он относится, ни с Савеловским вокзалом. Кимры малоизвестны, а точнее — незаслуженно забыты...

Что примечательно — все московские вокзалы названы в честь крупных городов, один — даже в честь целой бывшей союзной республики, а ныне отдельного государства. И лишь Савеловский носит имя села, которое было присоединено к территории города Кимры в 1934 году! Еще в столице есть Савеловский район, Савеловский суд, а до 1961 года в Бабушкине, который затем вошел в состав Москвы, была улица Савеловская. Савелово принимают за отдельный населенный пункт, порой даже приписывая ему статус города. Оговорки порождают стереотип, а стереотип, обрастая деталями, превращается в некую легенду. Алла Боссарт написала рассказ «Город Савелов», в котором мифический город становится для главных героев романтическим, а затем и трагическим пространством. В начале совместной жизни счастливые молодожены «работали в Курчатовском институте, катались на лыжах в Туристе, атакуя электрички на Савеловском вокзале и весело удивляясь, что это за город такой — Савелов, куда никто никогда не едет...». Когда любовь героини прошла, ее муж выбрал необычный способ суицида — ушел в лес, «где и исчез навсегда. Может, ушел в город Савелов, где никто никогда не бывал»¹. Этакий Китеж-град в мифологии современной Москвы.

Образ смерти и разрушения в Кимрах увидел и В.В. Коркунов вслед за А.В. Полуботой в остове заброшенного дома-призрака: «...За треснувшими окнами лежит снег. От умирающего дома осталась одна оболочка»².

1 А.Б. Боссарт. *Город Савелов.* — <http://magazines.russ.ru/october/2006/12/bo1.html>

2 Полубота А.В. *Деревянный модерн и православие в Кимрах...* С. 2.

Выделю еще несколько аспектов образа Кимр.

Географо-экономический. Кимры — это город или село?

Кимры (Кимра) впервые упомянуты в грамоте 1546 года Великого князя Ивана Васильевича (Грозного) о беспошлинной торговле солью в Кимре. Летопись указывает на торговое значение села. В 1846 году село выкупилось от помещицы Ю.П. Самойловой за огромную по тем временам сумму в 495 тысяч рублей, что свидетельствует о несомненном богатстве Кимр. Состоятельность кимряков (в свое время — кимрян) обусловлена сапожным промыслом. Ярмарочная составляющая роднит Кимры с другими волжскими городами, как и «особый говорок», отличающийся северным оканьем и специфическими тверскими диалектизмами.

Теофиль Готье в «Путешествии в Россию» подчеркивает торговое и ремесленное значение села, а также богатство нарядов жителей. Относительная близость к Москве (130 км) сформировала особую культуру кимряков. С одной стороны, это провинциальность, некоторая отсталость, но с неперенной «оглядкой на столицу»; а с другой — самобытность, проистекающая из кустарной обособленности и ремесленной гордости. Кимрский сапог был известен не меньше вологодского кружева и тульского самовара.

Кимры обрели статус города в 1917 году указом Временного правительства, ранее предпочитая оставаться юридически сельской местностью лишь по экономическим соображениям: в городе были выше налоговые ставки.

Топонимика. Кимры расположены на Волге при впадении в нее Кимрки (Кимерки). Удобный речной путь, близость к Москве и Санкт-Петербургу, не слишком приспособленные для ведения сельского хозяйства земли, болотистая местность и создали предпосылки для кустарного производства.

Рыбную ловлю как второй по значению источник благополучия кимряков подчеркивал А.Н. Островский в «Дневнике путешествия по Волге 1856 года». По воспоминаниям вдовы О.Э. Мандельштам, «Жители Савелова работали на заводе, а кормились рекой — рыбачили и из-под полы продавали рыбу»³.

Сам Мандельштам во время пребывания в Кимрах посвятил разновысотным берегам Волги такие стихи:

Против друга — за грехи, за грехи
Берега стоят неровные,
И летают за верхи, за верхи
Ястреба тяжелокрылые
За коньковых изб верхи...

Еще одна особенность Кимрского края — коварные болота, в которых во множестве гибли люди. Сложилось множество местных легенд о возникновении и исчезновении озер, и некоторые подтвердились научно. Так, в 1920 году «вблизи деревни Моршихино Ильинской волости (входившей в Кимрский уезд) появилось озеро Новое, которое в настоящее время снова стало болотом. Одна из версий происхождения слова «Кимра» — литовское слово *Kumzupė*, означающее «болото, где много гнилых пней». «Болотный миф» связан неразрывно и с традиционными мифологическими обитателями болот — кикиморами.

«Обувная тема». Производство обуви в качестве ключевого промысла стало развиваться в Кимрах в XVI–XIX веках. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасов называет товар кимрских кустарей «первейшим сортом». Однако очерк В.А. Гиляровского «Под китайской стеной», посвященный московским ворами и мошенникам, дает совершенно иную характеристику сапогам и башмакам кимрского производства, отмечая, что в 70-х годах XIX века у них были бумажные подметки. Ненадолго помогли и телесные наказания, примененные к обувщикам и скупщикам бракованного товара. Во время русско-турецкой кимряки вновь были «вовлечены в невыгодную сделку», как они объясняли на суде, поставщиками на армию, которые дали огромные заказы на изготовление сапог с бумажными подметками. И лазили по снегам балканским и кавказским солдаты в ра-

3 Мандельштам Н.Я. Воспоминания. — М., 2006. С. 336.

зорванных сапогах, и гibli от простуды»...⁴. С одной стороны, искусство сапожников, а с другой — халтура, оправданная коррупцией...

Последнее ассоциативное упоминание Кимр по «обувной теме» можно проследить во времена афганской кампании. «Кимры» — это название кроссовок соответствующего производства, причем в текстах подчеркивается их качественность.

А что сейчас с кимрской обувью? В московских магазинах ее не видно, что подчеркивает чисто декларативный характер «политики импортозамещения». В самом городе я лично купила две пары — дешево и добротно.

О пьянстве сапожников. В рассказе «Башмаки» М.М. Пришвин пишет, что сапожник, получив деньги за работу, начинает пить, спуская с себя все, и к новому заказу остается лишь в двух фартуках, и то хозяйских. Уроженец Кимр М.А. Рыбаков, сам родившийся в семье батрака-сапожника, литературный дебют которого состоялся под псевдонимом Макара Сапожник, оправдывает пьянство кустарей их нищенскими заработками и беспросветной жизнью. Видимо, недаром существует поговорка «пьян, как сапожник» — почему-то именно представителям этой профессии было свойственно особое пристрастие к зеленому змию. На мой взгляд, из-за русской депрессивности на почве «недооцененности» искусства.

Кимры — малая столица наркомании. В 1990–2000 годах за Кимрами утвердилась слава «малой столицы наркомании» («Большая столица» — это некогда процветающий Новокузнецк на границе с Казахстаном⁵). Приезжали столичные журналисты (в т.ч. с телеканала НТВ), и, согласно их выводам, причиной столь стремительного распространения «белой смерти» был назван расположенный в городе цыганский табор (например, в статье «Табор уходит в кайф» в газете «Известия»⁶).

Помимо цыган, В. Коркунов наряду с публицистами видит и другие причины этого зла в родном городе. Это «ломка морали и нравственности, проявившаяся в 1990-е гг. ... массовые продажи муниципальной недвижимости, брошенность и ненужность подрастающего поколения, кризис 1998 г. — маркеры окружающей действительности, тем более заметные в небольших городах».

Зона 101-го километра. По рассказам местных жителей, в Кимры издавна ссылали неугодных детей царедворцев. В романе А. Толстого «Петр Первый» выведен второстепенный персонаж — кимрянка Домна Вахрамеева, которая подговаривала мятежных царевен ездить в немецкую слободу. Уроженка Кимр санитарка Боткинской больницы Т.А. Быкова, с которой подружилась Белла Ахмадулина, поведала поэтессе, что кимрским няням отдавали своих незаконных младенцев придворные дамы.

Главным образом Кимры стали известны исследователям творчества О.Э. Мандельштама как место ссылки опального поэта. Последний, так называемый «савеловский период» его творчества. В. Коркунов подчеркивает, что данный термин неточен, поскольку ко времени ссылки Мандельштама поселок Савелово уже стал частью города. Право на прежнее название остается благодаря личному восприятию семьей Мандельштамов своего пребывания в этом приволжском городке: «...не собирались пускать корней и жили как настоящие дачники. Это была временная стоянка...»⁷. Осип Эмильевич, лишенный возможности постоянно быть с друзьями, постоянно метался в столицу, лелея несбывшуюся надежду окончательно туда вернуться. Единственное, что несколько скрасило его пребывание в провинции, — это романтическая влюбленность в Е.Е. Попову (Лили), жену артиста В.Н. Яхонтова, которой и посвящены стихи, написанные в Савелово.

Еще одним из значимых для Кимр имен является имя философа М.М. Бахтина, который начал там писать свой труд «Франсуа Рабле в истории реализма». Ученый страдал от отсутствия необходимой литературы и, так же, как и Мандельштам, — из-за оторванности от Москвы.

4 <http://lib.ru/RUSSLIT/GILQROWSKIJ/gilqrowskij.txt>

5 Американцы удивляются России: «Каждый пятый новокузнецчанин — наркоман!» — <http://www.city-n.ru/view/336669.html>

6 Дмитрий Соколов-Мумрич. «Табор уходит в кайф» — <http://izvestia.ru/news/309507#ixzz2gHS5PMfb>

7 Мандельштам Н.Я. Воспоминания... С. 331.

Кимры в истории литературы и литература Кимр. Кимры были малой родиной А.А. Фадеева, и хотя он там не жил, в течение жизни неоднократно посещал родной город. Во время первого своего визита он написал обращение к жителям города, опубликованное в местной газете, побывал в библиотеке, в клубе Савеловского машиностроительного завода. В творчестве писателя Кимры нигде не упоминаются.

Владимир Коркунов рассказывает о судьбе и творчестве Сергея Петрова — талантливого местного поэта, умершего в немецких лагерях в самом начале Великой Отечественной войны. Автор подчеркивает пророческий характер его стихов. Перед войной он пишет «Враг будет бит», а также лирические строки, которые как бы предвосхитили судьбу его жены:

Нес ноябрь седеющую морось,
 Рассыпая листья серебром...
 Всхлипывала девка у забора,
 Провожая милого на фронт.
 Знала Маша: милый не вернется,
 И катилась горькая слеза,
 Помнит, как у этого колодца
 Он ей долгожданное сказал.
 Ну а после, с утренней зарею,
 Потянулись к станции воза.
 Удивлялся черномазый поезд
 И грустил по рекрутам вокзал.

Упомянутого выше М.А. Рыбакова автор считает чисто региональной фигурой. В автобиографической трилогии «Пробуждение», «Лихолетье», «Бурелом» он выступает подражателем своего кумира Горького. Литературное время охватывает жизнь Кимрского края с царских времен до 1930-х годов. Книги Макара Рыбакова вышли большими тиражами и сыграли существенную роль для локального самосознания.

Белла Ахмадулина никогда не бывала в Кимрах, но в ее творчестве этот маленький городок обрел свое лицо. Источником вдохновения стали рассказы кимрячек — санитарок Боткинской больницы. Поэтесса, являясь москвичкой чисто географически, отождествляла себя с провинцией, искала в ней исконную Россию, уходящую и разрушающуюся. Как некогда Марсель Пруст, вдохновленный лишь книгами, смог описать готические соборы с «эффектом присутствия», Ахмадулина создала совершенно «живой» образ Кимр. В стихах есть кимрские детали: «ярмарки», «особый говорок», «танцплощадка», «горпарк», «скорбященская церковь» и т.д. Стихи о Кимрах были последними в творческой биографии Ахмадулиной, они проникнуты своеобразным больничным настроением:

В ночи мой почерк прихотлив, заядл.
 Но все-таки — какая одинокость:
 «Скорбященским» кладбищем ум занять
 и капельницы славить одноногость...
 Привыкнув жить внутри, а не вовне,
 страшусь изведать обитаний разность.
 Я засыпаю. Сплю уже. Во сне
 ко мне нисходит
 «Всех скорбящих радость»⁸...

Марианна Бойко

⁸ Белла Ахмадулина. *Глубокий обморок. Семнадцать стихотворений.* — «Знамя», 1999, № 7.

СПЕКТАКЛЬ

Драматургия поэзии и прозы

Последний котильон. По мотивам произведений Бориса Голлера «Сто братьев Бестужевых», «Вокруг площади», «Петербургские флейты». — Учебный театр «На Моховой» (Санкт-Петербург). Режиссер Юрий Красовский.

*Ваш последний котильон! Почему последний?..
Просто котильон — последний танец бала!
Но будет следующий бал!.. Ничего не будет!..*

Борис Голлер. «Сто братьев Бестужевых»

Можно ли считать свидетельством взросления факт осознания себя как существа смертного, и смертного бесповоротно? На момент восстания действующим лицам было: Николаю Бестужеву — 34 года, Александру Бестужеву — 28 лет, Михаилу Бестужеву — 25 лет, их младшим братьям Петру и Павлу — 21 год и 17 лет, Кондратию Рылееву — 30 лет; будущему императору Николаю I — 29 лет, его младшему брату, великому князю Михаилу Павловичу — 27 лет. По современным меркам, все — либо совсем молодые, либо довольно еще молодые люди, хотя сейчас и принято говорить, что «тогда выросли раньше». Впрочем, никакого единого представления о том, что следует понимать под «взрослением», не существует. Что это: наличие жизненного опыта? В таком случае — насколько очевидно то, что сегодняшние 25–30-летние обладают жизненным опытом меньшим, нежели их сверстники из позапрошлого века?

Итак, можно ли считать свидетельством взросления факт осознания себя смертным? Если да — то и в этом случае едва ли можно возлагать на тогдашних молодых людей больше ответственности и предполагать в них больше понимания того, на что они шли. Это не означает, что они не понимали, к чему себя готовить, — вполне понимали. Более того, все они были офицерами, а значит, их помимо разнообразных наук и правил обхождения в обществе учили еще и презрению к смерти. Но кровь их была не менее горяча, чем кровь молодых сегодняшних, а может быть, и более, и едва ли можно списать со счетов их молодость — молодости присущ романтизм, обостренное чувство справедливости, если угодно, поэзия. И, быть может, угасание этого романтизма и замена поэзии прозой — если не точное определение, то вполне справедливая метафора взросления. Прозой, которая порой оборачивается нездоровым консерватизмом и глухим неприятием всего нового.

В судьбе Бориса Голлера был период, когда его пьесы не звучали со сцены на русском языке, — примерно двадцать лет. Это значительный срок, особенно если учитывать, с каким успехом шли первые их постановки: со спектакля «Сто братьев Бестужевых», поставленного Владимиром Малыщицким в 1975 году, фактически начался Ленинградский Молодежный театр (ныне — Театр на Фонтанке). В этом смысле «Последний котильон» — событие, значимое уже фактом своего существования. С другой стороны, то, что в спектакле заняты не профессиональные актеры, но студенты Института сценических искусств (РГИСИ, бывшая Академия театрального искусства — СПбГАТИ), и притом не выпускного курса, а всего только пятого семестра, делает его не менее, а может быть, и более интересным: в декабристах важно очарование молодости, стремление сделать революцию «парадом молодых и свежих сил», порыв во имя высшей идеи уважения к человеку. В противном случае при всем желании трудно было бы оправдать произошедшее: на Сенатской (тогда — Петровской) площади в день 14 декабря 1825 года погибло более тысячи духот человек. Император Николай, когда Михаил Бестужев признает перед ним свою вину, говорит ему — важно, что и в пьесе, и в спектакле в большинстве сцен царь не кричит, но именно говорит, притом довольно тихо: «Что мне с твоей вины? Это воротит их с того света, что ли?». Нужно сказать, что Николай I и его

брат Михаил в исполнении Петра Севенарда и Сергея Серегина настолько убедительны, что временами равновесие зрительского сочувствия очевидно склоняется на сторону Романовых, в то время как текст предполагает равное сопереживание обеим сторонам.

Здесь, по-видимому, нужно сделать небольшое отступление: как в текстах Бориса Голлера, так и в постановке Юрия Красовского на переднем плане — стремление декабристов изменить старую, косную жизнь, и лишь в финале, когда мятежникам зачитывается приговор, произносятся слова об «умысле на цареубийство». 22 июля 1826 года русский поэт и государственный деятель Петр Андреевич Вяземский писал о восстании: «Помышление о перемене в нашем политическом быту роковою волною прибывало к бедственной необходимости цареубийства и с такою же силою отбивало, а доказательство тому: цареубийство не было совершено. Все осталось на словах и на бумаге, потому что в заговоре не было ни одного цареубийцы. Я не вижу их и на Сенатской площади 14 декабря, точно так же, как не вижу героя в каждом воине на поле сражения. Вы не даете Георгиевских крестов за одно намерение в надежде будущих подвигов: зачем же казните преждевременно и убийственную болтовню (...) ставите вы на одних весах с убийством, уже совершенным»¹. И ведь действительно: Михаил Бестужев охранял царя, был начальником караула внутренних покоев дворца, и — не поднял на будущего самодержца руку, и двигало им то же рыцарское чувство, которое подвигло его и его товарищей вывести на площадь полки и — «умышлять на цареубийство». Во всем этом нет и не может быть однозначности, как во всех случаях, когда долг сталкивается с чувством, необходимость — с совестью, и так далее — подобных бинарных оппозиций можно привести множество. Одно можно сказать с уверенностью: декабристы были революционерами-романтиками, верившими в то, что «низкие средства не ведут к высоким целям», и в этом, может быть, одна из причин их трагической неудачи, а их неудача, в свою очередь, — одна из причин того, что позже придут революционеры-прагматики, которые ради достижения своих целей не погнушаются никакими средствами.

Столкновение «поэзии» с «прозой» — одна из основных тем если не творчества Бориса Голлера в целом, то его драматургии; из этого столкновения возникает неразрешимый конфликт одних, обреченных на поражение (декабристы, выходя на Петровскую площадь, не слишком надеются на победу: «...пока все идет, как надо! Мятеж — без войску и вождь без голоса!...»), и других, не желающих или не имеющих силы изменить существующее положение дел. Драма — не противостояние условных «добра» и «зла», но напряжение, возникающее между болью одного и болью другого. В этой ситуации размывается грань между правыми и неправыми, а в момент, когда проливается кровь, размываются и стираются вообще все грани: очень трудно сказать, кто виноват в этой крови, и если бы не пролилась она — кто сказал, что не пролилась бы другая? Очевидно, что пролилась бы. В каких масштабах? Это одному только Богу известно. Режиссер Юрий Красовский не упрощает взаимоотношений между персонажами и не изымает из текста сюжетных линий (а их немало, тем более что в постановке соединены две большие пьесы и повесть), благодаря чему спектакль, весьма сдержанный по части декораций и традиционный по решению костюмов, допускает не только режиссерскую, но и зрительскую трактовку: если такое суждение правомерно по отношению к театру, то в данном случае зритель настолько же свободен, насколько свободен читатель книги.

Сегодня декабристов забывают так же незаслуженно, как незаслуженно «романтизировали» их в советское время (неслучайно пьесы Бориса Голлера о декабристах имели столь трудную судьбу именно в советское время, противореча официальной идеологии слишком человеческой авторской позицией), впрочем, с историей во все времена обращаются примерно одинаково: ее либо забывают, либо переименовывают. В этом смысле художественный исторический текст для постановки на театре особенно сложен: он слишком легко превращается в публицистику, теряя многоплановость. Избежать этого в «Последнем котильоне» удалось не во всех случаях, и периодически актеры, обращаясь к залу, выразительно произносят текст, декламируя-декларируя позицию персонажа или автора. В литературе и, возможно, на театре также, важно уметь сказать все, не сказав

1 Вяземский П.А. Записные книжки. — М.: Русская книга, 1992. С. 81–82.

ничего: есть хрестоматийный пример из флоберовской «Госпожи Бовари», в котором автор не сообщает, что героиню знобит, но заставляет ее сесть поближе к огню. В «Последнем котильоне» есть несколько замечательных сцен, в которых это сделать удастся: так, когда в финале император выходит зачитывать приговор декабристам в одной рубашке и босиком — это производит сильное впечатление, но, помимо того что сильное, — и неоднозначное, побуждающее к размышлению. Прекрасен танец девушек, в котором кавалеров им заменяют ружья, хорош и финальный танец — «последний котильон» жен декабристов с идущими на смерть мужьями, который можно назвать одним из самых выразительных пластических жестов спектакля. Иными словами, метафора всегда была и остается основным инструментом искусства, и выход к прямому высказыванию крайне редко оказывается оправдан. Если литература — отчасти рассказывание истории, то театр — целиком и полностью ее проживание.

«Последний котильон» — постановка, в которой ощущается *интонация* текста: пожалуй, никакие изменения, которым обыкновенно подвергаются пьесы при перенесении на сцену, не сказываются на драме столь существенно, как изменение этой самой интонации — чего-то трудно уловимого и прочитывающегося не столько в словах, сколько между слов. В «Последнем котильоне» эта интонация сохранена и не сбивается все три часа сценического действия. В спектакле можно отметить несколько выдающихся актерских работ: помимо упомянутых братьев Романовых, глубокий и запоминающийся образ Михаила Бестужева удалось создать Владиславу Ставропольцеву, трагическую и трогательную Наталью Рылееву сыграла Анастасия Смоляниченко, очень хороша в роли Елены Бестужевой Ольга Ким. Очевидно, есть и другие интересные работы: в спектакле несколько актерских составов.

«Последний котильон» посвящен памяти Антона Кузнецова — трагически ушедшего из жизни режиссера «Декабристов», — спектакля, поставленного по трилогии Бориса Голлера в театре Де Л'Юньон (Франция, Лимож). В рецензии на «Декабристов» Кузнецова, показанных в 2014 году на сцене Малого драматического театра (Санкт-Петербург), театральный критик Елена Алексеева замечает: «Этические идеалы рыцарей чести и свободы (...) каким-то фантастическим образом передаются из поколения в поколение. И даже, как выясняется, перелетают через границы. Печально, что отечественная сцена этих героев не слишком жалуется. Вроде и запретов никаких нет, но темы этой театры по-прежнему избегают. Теперь уже — по другим причинам. Слишком серьезно, слишком сложно, да и герои нынче — другого сорта»².

По всей видимости, что-то все же меняется к лучшему.

Анаит Григорян

ПРОЗА

АСТВАЦАТУРОВ Андрей — Комедия дель арте. № 6

БЕЛОМЛИНСКАЯ Юлия — Лотерейный билет. Рассказ. № 12

БЕРЕЗИН Владимир — Борщевик. Ботаническая повесть. № 7

БУЙДА Юрий — Покидая Аркадию. Рассказы. № 5

ВЕНЕДИКТОВА Надежда — Жизнь как автор. Роман-полдень. № 9

ВИНОКУРОВ Алексей — Люди Черного Дракона. Амурские сказы. № 7

ДАВЫДОВ Александр — Мечта о Французике. Повесть. № 6

ДАВЫДОВ Георгий — Серебчик. Рассказ. № 9

ДАТНОВА Ася — Оккупанты. Повесть. № 12

ДЕРГУНОВ Александр — Горячо — холодно. Рассказ. № 9

ДОЛГОПЯТ Елена — Дети. Цикл рассказов. № 7

ЖЕРЕБЦОВА Полина — У Лукоморья. Рассказ. № 6

ЗАБОРОВ Борис — То, что нельзя забыть. Автобиографическое повествование. № 3

ЗИБЗЕЕВА Ольга — Март. Из записок, найденных в коммунальной квартире. № 9

ЗОРИН Леонид — Мастерская Волина. Диалоги. № 2; Братья Ф. Повесть. № 8

ИВАНОВ Дмитрий — Праздник урожая. Повесть. № 4

ИЛИЧЕВСКИЙ Александр — Два рассказа. № 7

КАБАКОВ Александр — Вне зоны действия сети. Из телефонной лирики. № 8

КАЗАКЕВИЧ Вячеслав — Дача. Рассказ. № 10

КАЛЕДИН Сергей — Госпожа удача. Рассказ. № 12

КАНДЕЛЬ Феликс — «...но смыслов бродят сонные стада...». Рассказы. № 4

КИМ Наталия — Родина моя, Автозавод. Рассказы. № 5

КОВАЛЕНКОВА Настя — Толя еще будет. Рассказ. № 5

КОРИОНОВ Олег — Три рассказа. № 2

КОРНИЛОВА Галина — Путешествие. Рассказ. № 8

КОЧЕРГИН Илья — Ich любэ dich. Повесть. № 8

КОЧЕРГИН Эдуард — Россия, кто здесь крайний?.. Рассказы. № 6

КРАВЧЕНКО Владимир — Не поворачивай головы. Просто поверь мне... Роман. №№ 3–4

ЛИТВИНЕЦ Нина — Антиквар. Рассказ. № 10

ЛУКЪЯНЧЕНКО Олег — Под салютом всех вождей. Лирические клипы. № 9

МАРКИШ Давид — Из писем пожилого господина. № 10

МОКЕЕВА Мария — Дневник Аси Морозовой. Вступление Евгении Вежлян. № 1

НЕКРАСОВА Евгения — Молодильные яблоки. Рассказ. № 3

НИКОЛАЕВА Олеся — Двойное дно. Рассказы. № 2

ОГАНДЖАНОВ Илья — Уроки житейской мудрости. Рассказ. № 1

ОЛЬШЕВСКИЙ Вадим — Амонтильядо. Рассказ. № 8

ОСИПОВ Максим — На Шпрее. Рассказ. № 6; Добрые люди. Рассказ. № 10

ПЕТКЕВИЧ Юрий — Лопнула струна. Рассказ. № 4

РЫБАКОВА Мария — Алиса Розенбаум. Рассказ. № 10

СЕНЧИН Роман — Сугроб. Рассказ. № 8

СЕРГЕЕВ Слава — Гнев. Повесть. № 1; Впечатлительные люди. Записки времен украинской войны. № 12

СЛАПОВСКИЙ Алексей — Неизвестность. Старый дневник. № 9

СОКОЛОВСКАЯ Наталия — Буквы. История одного безумия. № 6

СТАВЕЦКИЙ Вячеслав — Необъявленные хроники Запада. Вступление Анатолия Курчаткина. № 3; Квартира. Повесть. № 5

СТЕСИН Александр — Птицы жизни. Повесть. № 10

ТЯЖЕВ Михаил — Жизнь продолжается. Рассказы. № 4

УСТИМЕНКО Алексей — Палочки ореховы. Рассказ. № 8

УСЫСКИН Лев — Дом на горе. Рассказ. № 7

ФИЛИПЕНКО Саша — Травля. Роман. № 2

ХАФИЗОВ Олег — Райсуд. Рассказ. № 12

ШЕНДЕРОВИЧ Виктор — Савельев. Повесть. № 12

ШИШКИН Михаил — Гул затих... № 10

ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь — Золотая блесна. Книга радостей и утешений. Послесловие Валентина Курбатова. № 1

ПОЭЗИЯ

АЙЗЕНБЕРГ Михаил — Слово на ветер. № 2

АРИСТОВ Владимир — Ночная июльская даль. № 10

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Юлия — леденцовые ножи. № 7

БАБИНОВ Олег — Очкарик городской. № 8

БАЙТОВ Николай — Некая умная нефть. № 12

БАХАРЕВ-ЧЕРНЁНОК Антон — Грунтовые воды. № 8

БЕЗНОСОВ Денис — бежево-серый кислород. № 12

БЛИЗНЮК Дмитрий — сладкие пыльные ягоды. № 8

БОГОМЯКОВ Владимир — Помню, в поезде Хабаровск — Москва. № 7

БОРОДИЦКАЯ Марина — кочерга за кушаком. № 12

ВАНЕЯН Елена — Цветы и звери вернулись. № 3

ВЕДЕНЯПИН Дмитрий — О перемене ума. № 1

ВЕРГЕЛИС Александр — Что-то другое. № 5

ВИТКОВСКИЙ Евгений — Поток Персеид. № 1

ГАЛКИНА Мария — яндекс наш поводырять усталый аэд. № 1

ГАНДЕЛЬСМАН Владимир — Чёрные зонтики. № 3

ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — Сказка. № 7

ГODOVANEЦ Юрий — Смотритель. № 10

ГОРБОВСКАЯ Екатерина — «Я вспоминал тебя, Загускина...». № 6

ГРИШИН Константин — По всему Транссибу. № 4

ДЕЛЬФИНОВ Александр — Седой бродяга со змеиным взором. № 3

ДЕНИСЕНКО Александр — Мальвы наломаны. № 12

ДОЗМОРОВ Олег — Неистребимый уральский акцент. № 3

ДОЛИНА Вероника — Плаванья и полёты. № 2

ЕВСА Ирина — Отпустила всех, кто хотел уйти. № 5

ИВАЧЕВСКИЙ Евгений — ты теперь гулливер. № 10

ИГНАТОВА Елена — Дело в мире. № 9

КАЛЬПИДИ Виталий — Свердловские стансы. № 12

КАРЕНИНА Ирина — «А я сойду по ягоду в Боярах...». № 10

КВАДРАТОВ Михаил — Вольная Чеганда. № 4

КЕКОВА Светлана — Сон в Лазареву субботу. № 8

КЕНЖЕЕВ Бахыт — Когда б не Египет, не Ирод... № 5

КНЯЗЕВ Григорий — ...И как пчёл ловлю для парника. № 6

КОЛЧИН Денис — Лермонтов по имени Хосе. № 9

КОСТИН Андрей — Милан ушедший. № 7

КУШНЕР Александр — Над обрывом. № 6

МАРК Григорий — Персия. № 6

ПАВЛОВА Вера — Время обнимать. № 1

ПОЛЯКОВ Андрей — Из Симферополя. № 4

ПСУРЦЕВ Дмитрий — Поход охотников. № 4

ПУРИН Алексей — Рычажки «ундервуда» и хром серафимовых крыл. № 2

РАБИЧЕВ Леонид — Остальные на войне. № 5

РЕЙН Евгений — Свет навстречу. № 10

РЕЦЕПТЕР Владимир — Манна небесная. № 3

РУСАКОВ Геннадий — Поздняя пчела. № 7

РЯШЕНЦЕВ Юрий — Форма Измайловского полка. № 2

СОЛДАТОВА Светлана — Гадание на хлебных крошках. № 9

УЛЮКАЕВ Алексей — Не гул пространств, не божий суд... № 1

ЧУХОНЦЕВ Олег — Два стихотворения. № 9

ШУБИНСКИЙ Валерий — Тёмная ночь. № 8

ЮЗЕФОВИЧ Леонид — Мемуар. № 6

ЯКОВЛЕВ Сергей — Ещё не темнота. № 9

№ 11

Тема номера:

«ОДНАЖДЫ В ДЕТСТВЕ»

ЕВСА Ирина — Фрагмент. *Стихи*

КУРАЕВ Михаил — Операция «Бучков хвост». *Повесть*

ЛЕВИН Александр — Хомякадзе. *Стихи*

КЮНЕ Екатерина — Здесь должна быть я. *Повесть*

РАДАШКЕВИЧ Александр — Последняя дорога к маме. *Стихи*

ДРАГУНСКИЙ Денис — Секрет. *Рассказ*

ПОЛЯКОВА Наталья — Учись рубить. *Стихи*

СОКОЛОВСКАЯ Наталия — День космонавтики. *Рассказ*

МУХАЧЁВ Дмитрий — таблетки от тоски по детству. *Стихи*

РИЗДВЕНКО Татьяна — Двести сорок седьмой. Рассказы

ЧИКУНОВ Владимир — Ювенальная юстиция. Рассказ

НЕПРОШЕДШЕЕ

Однажды в детстве

РЕЙН Евгений — Кинотеатр «Уран»

БАРХИН Сергей — Самый первый театр

ГОРЕЛИК Людмила — Много черных и красных ленточек

НИКОЛАЕВА Олеся — Тайник и ключики на шею

ШАРОВ Владимир — Мелкий грех

БОРОДИЦКАЯ Марина — Насчет микида-ции

ГАНИЕВА Алиса — Батончики и секретики

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЕЛИСТРАТОВ Владимир — Зато у всех было детство

ЕРШАНСКАЯ Александра — Керосинка, авоська и другие. *Вещи моего детства*

РУБАНОВА Наталья — Childhood в [doc]-ах. *Эссе по-деццки*

STUDIO

БУНИМОВИЧ Евгений — И что вас ждет, мои ученики? *Записки на полях школьных тетрадей*

СОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ИВАНИЦКАЯ Елена — Один на один с государственной ложью. *Несколько тезисов о нашем советском детстве*

КРИТИКА

ЗАХАРОВ Кирилл — «Странные» детские книги: эксперименты для всех возрастов

ЭКСПЕРТИЗА

КОЛОСОВА Елена. ЧУДИНОВА Вера — Появятся ли новые «золотые полки»? *Родители о детской литературе*

ПЕРЕУЧЕТ

ПОДЛУБНОВА Юлия — Саквояж без правил. *Взрослые о детях и о детской литературе*

туре в «толстых» журналах и альманахах 2015–2016 годов.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Рецензии

АНДРИЯНОВА Виктория — Одним приемом. Эдуард Веркин. Пролог

СЕКРЕТОВ Станислав — Беги, Форрест, беги! Алексей Смирнов. Виолончель за бу-мажной стеной

ВОРОНИНА Юлия — *Записывать за Богом.* Дмитрий Емец. День карапузов. Художник Виктория Тимофеева

НОВИКОВ Алексей — *Вневременность детства.* Георгий Балл. Солнечные пряжки

Обзор

ЗИБЗЕЕВА Ольга — *Отражение.* Детские серии издательства «Время»: *Время — детство:* Булат Окуджава. Прелестные приключения; Марина Аромштам. Другая дорога; Артур Гиваргизов. Записки выдающегося двоечника; Артур Гиваргизов. Дима, Дима и Дима; Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Открытый финал. Уроки истории: Андрей Усачев, Алексей Дмитриев. Этот древний-древний-древний мир! Урок 1

Серия

АЛЕКСЕЕВА Алена — *Новые сказки нового времени.* Здесь (Екатеринбург). Новые волшебные сказки. — М.: Клевер-Медиа-Групп: Алексей Лисин. Алфавитные сказки; Алена Кашура. Мечтай, Марсель, мечтай; Алексей Алехин. Расскажу про Пятилапа; Эдит Несбит. Тысяча верных копий; Кузька Кузякин, Е.А. Доброва. Каждый может стать принцессой. Сказки о девочке из дворца

Незабытые книги

БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — *Что хотел сказать автор? (О книгах Леонида Пантелеева и Аркадия Гайдара)*

Проект

РУМЯНЦЕВА Ольга — *В странствиях с книгами.* Бампер: детский книжный автобус (СПб.)

Конкурс

САФРОНОВА Елена — *Забег на дистанцию длиною в жизнь.* Книга объединяет поколения. Литературный марафон. (*Рязань*)

КАРТ-БЛАНШ

ИСАКЖАНОВ Дмитрий — Вновь я посетил.
Повесть. Карт-бланш Николая Кононова.
№ 9

**АРХИВ.
СВИДЕТЕЛЬСТВА.
МЕМУАРЫ**

БАЖЕНОВ Виктор — Фотоувеличение.
Венедикт Ерофеев и Алексей Зайцев. № 10

БОЛОХОВ Владимир — Астафьевский
триптих, или О том, чему названья нет. № 2

ВОЙНОВИЧ Владимир — Сценарий жизни
Петра Тодоровского. № 5

ГЛАДКОВ Александр — Дневниковые
записи. 1972 год. Публикация, предисло-
вие и комментарии Михаила Михеева.
№№ 3–4

ГРОССМАН Василий — Письма Семену
Липкину (1949–1963). Предисловие, пуб-
ликация и комментарии Елены Макаровой.
№ 6

ДЕМИДОВ Георгий — Кружок Петефи. Рас-
сказ. Публикация В.Г. Демидовой. Предис-
ловие Э. Мороз. № 7

ДРАГОМОЩЕНКО Аркадий — С именем
изумрудным. Стихи. Публикация Зинаиды
Драгомощенко. № 2

ЗОРИНА-КАРЯКИНА Ирина — Наш Эмка.
№ 6

КЕДРИНА Светлана — С папой и без папы.
№ 5

ЛИСНЯНСКАЯ Инна — Ненапечатанное.
Стихи. Публикация Елены Макаровой. № 8

НОВИКОВ Денис — Радиоэссе. Публика-
ция Ф. Чечика. № 10

СЕРГЕЕВА Людмила — Конец прекрасной
эпохи. Воспоминания очевидца об Иосифе
Бродском и Андрее Сергееве. № 7

СКУЛЬСКАЯ Елена — Вопросительная за-
пятая, или Почему Андрей Вознесенский не
хотел хранить невинность в борделе. № 1

ТОДОРОВСКИЙ Петр — Кто меня больше
всего удивляет — так это люди. Публика-
ция Миры Тодоровской. № 5

ТОПОЛЯНСКИЙ Виктор — Лейб-хирург
последнего императора. № 8

ШЕВЧЕНКО Леонид — От бедной «Slavy»
корпус золотой. Публикация Сергея Ка-
лашников. № 5

ПУБЛИЦИСТИКА

*Между жанрами. Образ мысли.
Образ жизни. Studio.
Непрошедшее. Экспертиза*

АЙЗЕРМАН Лев — В колее. № 10

АЛАВЕРДОВА Лиана — Исчез тот город.
№ 1

БАРУ Михаил — Мещанское гнездо. № 8

БОРОВИКОВ Сергей — В русском жанре-52.
№ 6

ВОЛКОВ Владимир — О войне, памяти и
беспамятстве. № 5

ГОЛОВАНОВА Наталья — В поисках дет-
ской литературы. № 5

ГОФМАН Ефим — Виктор Некрасов в род-
ном городе. № 10

ГУШАНСКАЯ Елена — Сергей Довлатов:
«Есть кое-что повыше справедливости...».
№ 9

ИВАНОВ Дмитрий — Время Че — XXI век.
№ 12

КОМАРОВ Юрий — Черный хлеб и остро-
ва преткновения. № 3

КОРОЛЕВ Анатолий — Стена с глазами.
Заметки о приключениях постмодерна из
первых рук. № 12

НОРДШТЕЙН Михаил — Бактерии на го-
сударственной службе. № 8

ОГНЕВ Игорь — От кризиса до кризиса...
№№ 2, 7

СИМКИН Лев — Голем. № 6

СОЛОВЬЕВ Владимир — Канун 2017: в
условиях постиндустриального феодали-
зма. № 4

ТАРАЩАНСКИЙ Марк — Город. Записки из
Луганска. № 1

ХАРИТОНОВ Марк — Разговоры шестиде-
сятых. № 3

ЦИРЕЛЬ Сергей — Что нас ждет? № 9

КРИТИКА

*Пристальное прочтение.
Книга как повод. Сюжет судьбы.
Русский язык: новости*

АБДУЛЛАЕВ Евгений — Профессия —
поэт? № 9

АМУСИН Марк — Метапроза, или Сеансы
литературной магии. № 3

АРЬЕВ Андрей — Привычка жить. К 80-ле-
тию Александра Кушнера. № 9

БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — О холопстве и барстве. № 10

БУЛКИНА Инна — Назначение поэзии и поэзия по назначению. № 2

ЕЛИСТРАТОВ Владимир — Короче на самом деле как бы реально, да? № 2

ЕРМОЛИН Евгений — с поэзией что. № 9

ИВАНОВА Наталья — Преодоление гравитации. *Игорь Виноградов и шестидесятники*. № 8

КЛИНГ Олег — Платиновый век в русской литературе. № 8

ЛЕКМАНОВ Олег — Загадка названия. Рассказ Юрия Казакова «Вон бежит собака!» (1961). № 8

СКВОРЦОВ Артём — Сотканное. № 6

СОБОЛЕВ Александр — Убежище. № 8

СТЕПАНИАН-РУМЯНЦЕВА Елена — Хранители ключей. № 7

СУРАТ Ирина — Язык пространства, сжато до точки. № 1

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ. ДИСКУССИЯ

БЕРЕЗИН Владимир. Предчувствие жизнеравного и соприродного; **ЕРМОЛИН Евгений**. Актуальный автор и его прикладная флюидоскопия; **ИВАНОВА Наталья**. В сторону воображаемого non-fiction; **КОСТЫРКО Сергей**. Что может и чего не может критика; **ПУСТОВАЯ Валерия**. Долгое легкое дыхание — Современный роман в поисках жанра. № 1

АЙЗЕНБЕРГ Михаил, **КЕНЖЕЕВ Бахыт**, **КИРОВ Александр**, **ОСИПОВ Максим**, **ТУРКОВ Андрей** — Говорят лауреаты «Знамени». № 3

СЕНЧИН Роман — Большой роман не является готовеньким. № 5

БЕРЕЗИН Владимир, **БЫКОВ Леонид**, **ЕРМОЛИН Евгений**, **КИРОВ Александр**, **ПОЛЯН Павел**, **САМСОНОВ Сергей**, **СИДОРОВ Евгений**, **СТАВЕЦКИЙ Вячеслав** — Уроки Виктора Некрасова и современная российская военная проза. № 10

ГОД МАНДЕЛЬШТАМА

ИВАНОВА Наталья — «Просвет в беспредельной покинутости...». *Мандельштам и Пастернак: перечитывая переписку*. № 2
АЙЗЕНБЕРГ Михаил. «Пора вам знать: я

тоже современник...»; **АРИСТОВ Владимир**. «Всех живущих прижизненный друг...»; **ВИДГОФ Леонид**. Найти новый язык; **КОМАРОВ Константин**. Страшный провиденциализм. — Осип Мандельштам и современная поэзия. № 4

АБДУЛЛАЕВ Евгений. Поэт и империя; **КРУЖКОВ Григорий**. Функция подъемного моста в «Ламарке»; **КУТЕНКОВ Борис**. Поэтика ассоциаций: «биографическое» и «бессознательное» в поэтическом процессе. Сегодня и вчера; **КУШНЕР Александр**. Вместо «величания» — Осип Мандельштам и современная поэзия. № 6

СУРАТ Ирина — «И меня только равный убьет». № 8

НЕРЛЕР Павел — Осип Мандельштам: рождение и семья. № 12

ГУТЕНБЕРГ

ИВАНОВА Наталья — Пестрая лента-11. *Евгений Бунимович. Вкратце жизнь* • Литературный Чистополь • «Улица Мандельштама». Литературный фестиваль • Александр Флоренский. Воронежская азбука • Евгений Белодубровский. Тринадцать петербургских пальто. № 1; Пестрая лента-12. *Словарь перемен-2014*. Автор-составитель М. Вишневецкая • Алексей Варламов. Шукшин • Дмитрий Иванов. Где ночуют боги • Иосиф Бродский и Литва. Составил Рамунас Катилиус • Наталья Игрунова. *Воздух времени. После СССР: мы и наши мифы*. № 3; Пестрая лента-13. *Стоп-кадр. Ностальгия* • Поэзия. Учебник • Артем Скворцов. *Поэтическая генеалогия* • Василий Аксенов. «Ловите голубиную почту...». № 5; Пестрая лента-14. *Михаил Зыгарь. Вся кремлевская рать* • Роман Сенчин. *По пути в Лету* • Самуил Лурье. *Вороньим пером* • Василий Кандинский. *Контрапункт: «Композиция VI» — «Композиция VII»*. № 7; Пестрая лента-15. *П.А. Дружинин. Идеология и филология*. Т. 3. *Дело Константина Азадовского* • Ф.С. Сонкина. *Юрий Лотман в моей жизни* • Анна Чайковская. *Триумф красной герани* • Гриша Брускин. *Все прекрасное — ужасно, все ужасное — прекрасно*. № 9

ЧУПРИНИН Сергей — Попутное чтение. *Игорь Волгин. Персональные данные* • Светлана Шишкова-Шипунова. *Десять прavitелей Кубани: от Медунова до Ткачева* •

Уральская художественная энциклопедия • Елена Скульская. Мраморный лебедь. № 2; Попутное чтение. Олеся Николаева. Грузинская рапсодия • Анна Наринская. Не зяблик • Андрей Вознесенский. Стихотворения и поэмы. № 4; Попутное чтение. А.Э. Мильчин. Человек книги • Яков Гордин. Пушкин. Бродский. Империя и судьба • Анатолий Копейкин. Сухой док. № 6; Попутное чтение. Рената Гальцева. Эпоха неравновесия • Олег Хлебников. Крайний • Ефим Гофман. Необходимость рефлексии • Аксу Акмальдинова, Олег Лекманов, Михаил Свердлов «Ликует форвард на бегу...». № 8

ПЕРЕУЧЕТ

БОРОВИКОВ Сергей — О том, что было и чего не было. Архивные публикации и мемуары в «толстых» журналах весны – лета 2016 года. № 10

БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — Реальность и ее осмысление. № 6

БУЛКИНА Инна — Критика.ru. № 5; Критика.ru. «Торжество обертонов». № 12

КУТЕНКОВ Борис — Критика в литературных журналах зимой 2015–2016 годов. № 4

РУДНЕВ Павел — Некоторые театральные впечатления осени – зимы 2015 года. № 3

САФРОНОВА Анна — Простое и сложное. № 7

СЕНЧИН Роман — Рассказы в литературных журналах первой половины 2016 года. № 9

ШУБИНСКИЙ Валерий — Бытие и становление. Поэтические публикации в «толстых» журналах в 2015 году. № 1

РЕЗОНАНС. ФОРУМ. ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ГАЛЬЦЕВА Рената — Попутные отклики. № 12

КОМАРОВ Юрий — Последний призыв. № 5

СТЕПАНЯНЦ Ольга — Чем помочь рыбаку. № 1

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Рецензии. Книжные сери. Обзоры. Резонанс. Симптом. На другом языке. Дважды

АБЕЛЬ Илья — Классическое интермеццо. Томас Венцлова. Искатель камней. Избранные стихотворения. Перевод с литовского В. Гандельсмана. № 3; *Минор и мажор в контексте литературы.* Владимир Зисман. Путеводитель по оркестру и его задворкам. № 9

АЛАВЕРДОВА Лиана — Приношения от преклонения. Валентина Полухина. Из не забывших меня. Иосифу Бродскому. In memoriam. № 10

АНДРИЯНОВА Виктория — Сказка живая и сказка мертвая. Игумен Варлаам. Кампан. № 8

АНИКИНА Ольга — Дорога лучше недороги. Андрей Пермяков. Темная сторона света. № 12

АНТОНИЧЕВА Марта — Дистопия. Дэвид Кроненберг. Употреблено. Перевод с английского: Л. Тронина. № 2

БАЛЛА Ольга — Область беспокойного знания. Елена Зейферт. Неизвестные жанры «золотого века» русской поэзии. Романтический отрывок. № 2; *На стыке исповеди и исследования.* Валерия Пустовая. Великая легкость. Очерки культурного движения. № 9

БОЙКО Марианна — Кимрообраз. Владимир Коркунов. Кимры в тексте. № 12

БОЛОХОВ Владимир — О непростительном. Юрий Фаранов. Пятнадцать лет ГУЛАГа. № 8

БОРОВИКОВ Сергей — Скиталец. Евгений Попов. Прощание с Родиной. № 7

БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — Пойми меня. Жаклин Келли. Эволюция Кэлпурнии Тэйт. Перевод с английского Ольги Бухиной и Галины Гимон. № 1; *Никто нигде и никогда.* Виктор Пелевин. Смотритель. Том I. Орден желтого флага. Том II. Железная Бездна. № 4; *Да здравствует Рабле!* Мария Ремизова. Веселое время: мифологические корни контркультуры. № 5

ВАСЬКИН Александр — «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» По поводу одной рецензии. № 5

ВОРОНИНА Юлия — *Поэзия и гендер*. Алисса Динегга Гиллеспи. Марина Цветаева: по канату поэзии. Перевод с английского: М. Маликова. № 8

ВЫГОВСКИЙ Ян — *Мерцание места*. Владимир Аристов. По нашему миру с тетрадью (простодушные стихи). № 2

ГАВАЛЬДА Руслан — *«Тихий» блокбастер?* Виктор Пелевин. Смотритель. Том I. Орден желтого флага. Том II. Железная Бездна. № 4

ГРИГОРЯН Анаит — *Картинки времен империи*. Сергей Солоух. Похождения бравого солдата Швейка: комментарии к русскому переводу романа Ярослава Гашека. № 5; *Персонажи Истории*. Сергей Носов. Конспирация, или Тайная жизнь петербургских памятников — 2. № 9; *Закономерности случайных совпадений*. Леонид Юзефович. Зимняя дорога. Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в Якутии. 1922–1923 годы. № 10

ГРИЦАЕНКО Дарья — *Эхо с Матеры*. Роман Сенчин. Зона затопления. № 3

ГРОДСКАЯ Елена — *Свечи рязанские*. Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева. Подготовка текста, предисловие, комментарии: Г.В. Зыкова, Е.Н. Пенская. № 10

ГУШАНСКАЯ Елена — *За честь культуры фехтовальщик*. Е. Яковлева. Михаил Пиотровский; М.Б. Пиотровский. Мой Эрмитаж. № 2; *«Шумного признания вы не получите...»*. Олег Базунов. Записки любителя городской природы. № 5

ЕРМОШИНА Галина — *О многих странностях мира*. Андрей Сен-Сеньков. Воздушно-капельный теннис. № 7

ЕСИПОВ Виктор — *О времени, людях и музыке*. Владимир Мощенко. Голоса исчезают — музыка остается. № 2

ЕФИМОВ Михаил — *Виски, авокадо и конец света*. Владимир Мартынов. 2013 год. № 7

ЖИВАЕВА Валентина — *Из Екатеринбургa с верой*. Анна Матвеева. Завидное чувство Веры Стениной. № 8

КОЗЛОВА Мария — *Общее дело*. Вальдемар Вебер. 101-й километр, далее везде. № 9

КОМАРОВ Константин — *Сомнительная разноголосица*. Ars Poetica. Искусство поэзии. Стихи вильнюсских поэтов в переводах Виталия Асовского. № 7

КОРКУНОВ Владимир — *Мальчишеская скорбь*. Илья Фаликов. Борис Рыжий. Дивный камень. № 3; *Между детством и вечностью*. Дмитрий Веденяпин. Стакан хохочет, сигарета рыдает; Дмитрий Веденяпин. Домашние спектакли. № 6; *Танцующий эзотерик*. Андрей Белый. Автобиографизм и биографические практики. Сборник статей. Редакторы-составители: К. Кривеллер, М.Л. Спивак. № 8; *Жуткописание эпохи*. Враги народа. Реквием по русским интеллигентам. Составитель Г.А. Демочкин. № 9

КОРМИЛОВ Сергей — *Двести лет — вместе?* Леонид Фризман. Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе. № 1; *Литературоведение как оно есть*. В.Е. Хализев, А.А. Холиков, О.В. Никандрова. Русское академическое литературоведение. История и методология (1900–1960-е годы). № 3; *...познать добро путем познания зла...* Константин Васильев. «Что брать с берущей в долг души?». № 4; *«Затеяла сама в дородстве с ним сравняться...»*. По поводу одной претензии. № 5; *Обаяние личности ученого*. Е.А. Маймин. О русском романтизме. Русская философская поэзия. Лев Толстой: Путь писателя. Воспоминания. Переписка. Под редакцией Н.Л. Вершининой и Е.Е. Дмитриевой-Майминой. № 10; *Двадцатый век: эстетика и поэтика*. Л.А. Колобаева. От А. Блока до И. Бродского. О русской литературе XX века. № 12

КОТЮСОВ Александр — *Где тонко, там рвется*. Полина Жеребцова. Тонкая серебряная нить. № 5

ЛОЙТЕР Анастасия — *Притомный свидетель*. Евгений Долматовский. Очевидец. № 2; *Обретение связности*. Повседневная жизнь в годы Великой Отечественной войны: Историко-антропологический словарь. Составитель С.Б. Борисов. № 5; *Звучание смысла*. Григорий Дашевский. Избранные статьи. № 7

МАСЛЕННИКОВА Ангелина — *Поток мысли как отражение сущности бытия*. Александр Давыдов. Бумажный герой. Философические повести А.К. № 7

МЕЛИХОВ Александр — *«У нас это невозможно»*. Яков Гордин. Дело о масонском заговоре. Издание второе, исправленное и дополненное. № 10

МОВЧАН Елена — *При свете памяти*. Сергей Цимбал. Острова в океане памяти. № 3

МОЛОДЯКОВ Василий — *Своевременные напоминания*. Всеволод Иванов. Красный лик. Мемуары и публицистика. Составление, вступительная статья: В.А. Россов. № 3; *Символизм как история*. А.В. Лавров. Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации. № 6

МОРОЗ Э. — *Отдельный*. Илья Крупник. Струна. № 3

МОРОЗОВА Татьяна — *Юрист с писательским лицом*. Лев Симкин. Завтрак юриста. Занимательные истории из прошедшего и непрошедшего времени. № 1; *Ткань жизни*. Борис Минаев. Мягкая ткань. Книга первая. Батист. № 2

НАРЫШКИНА Наталья — *О слабых мужчинах в большом городе*: Алексей Шепелев. Москва-bad. Записки столичного дауншифтера; Фарид Нагим. Мужчины рождения. № 1

НЕВЗГЛЯДОВА Елена — *Сюжет как лирика*. Олег Левитан. Дорожное эхо. № 3

НОВИКОВ Алексей — *Глобализация в действии*. Сергей Носачев. По ту сторону листа; Владислав Резников. Знаки пустоты. № 7

ОГНЕВ Игорь — *Портреты элиты*. Александр Вычугжанин, Дмитрий Мизгулин. Деньги, банки, перо. № 8

ОСОКИН Артем — *Инфантильность или молодость?* Поэтическая строка. Новые имена в поэзии. Составление, предисловие: Р. Рубанов. № 9

ПАНАРИНА Татьяна — *Дар Германии*. Василий Молодяков. Джордж Сильвестр Вирек: больше чем одна жизнь (1884–1962). № 1

ПЕРМЯКОВ Андрей — *Децимет*. В.О. Кальпиди. Избранное = Izbrannoe. № 4; *Геометрия воды, огонь хлеба*. Александр Петрушкин. Геометрия побега. № 10

ПОНОМАРЕВА Виктория — *Пепел истории*. Людмила Черная. Косой дождь. № 10

ПРИХОДЬКО Ксения — *Георгий Радов и его «Сферы»*. Георгий Радов. Гречка в сферах. № 12

РАМЕНСКАЯ М.Е. — *История и романтика*. Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис. Российские геологи рассказывают о себе. Тексты с комментариями. Книга I. Открытия и находки, прозрения и разочарования. Книга II. Геологическое поле. Книга III. Советская геология. № 8

РУМЕР-ЗАРАЕВ Михаил — *Власть веры и вера власти*. Александр Нежный. Вожделение. № 6

САФРОНОВА Елена — *Отрицание ответственности*. Екатеринбург: Евдокия, 2014–2015: Максим Кабир. Осечка; Ирина Любильская. Ключ; Сергей Комлев. Похороны Солнца; Сергей Слепухин. Женщины и самолеты. № 1; *Поручик Постмодернистский*. Путешествие из Конотопа в Москву. Мемуары поручика Ржевского. № 12

СЕКРЕТОВ Станислав — *Заросший парк*. Лена Элтанг. Картахена. № 1; «А потом пошел снег...» Екатерина Марголис. Следы на воде. № 2; *Богатыри в XX веке*. Сергей Самсонов. Железная кость. № 5; *Переживание пространства*. Александр Иличевский. Справа налево. № 6

СОЛОВЬЕВ Владимир — *Обогнать себя*. В.И. Самохвалова. Сверхчеловек: Образ. Метафора. Программа. № 1

СОЛОУХ Сергей — *Смена жанра*. Мария Галина. Автохтоны. № 1; «Динамо», совсем необязательно московское. Дмитрий Данилов. Есть вещи поважнее футбола. № 10

СТАРИКОВ Иван — *Высвеченные из небытия*. Уйти. Остаться. Жить. Антология литературных чтений «Они ушли — они остались» (2012–2016). Составление: Б.О. Кутенков, Е.В. Семенова, И.Б. Медведева, В.В. Коркунов. № 12

СТЕПАНЯНЦ Ольга — *ЛЕФ XXI века*. Феликс Сандалов. Формейшн. История одной сцены. № 7

СЫЧИКОВ Яков — *Лишняя пара берцев*. Захар Прилепин. Семь жизней. № 9

ТУРКОВ Андрей — *Урожай с шести соток*. А.В. Симолин. Шесть соток (Журнал фенолога, читателя и деда). № 5; *Сага о «посредственном» театре*. Инна Соловьева. Первая студия. Второй МХАТ. Из практики театральных идей XX века. № 10

ТЮНЯЕВА Ольга — *Русский дом французского поэта*. Анри Абриль. Дом русской птицы. № 8

УЛАНОВ Александр — *По течению слов*. Михаил Ямпольский. Пригов: Очерки художественного номинализма. № 4

ХОЛМОГОРОВ Михаил — *Человек среды*. Варвара Малахеева-Мирович. Маятник жизни моей. Дневник русской женщины 1930–1954. Автор проекта и предисловия Наталья Громова. № 6

ЧАЙКОВСКАЯ Ирина — *Возвращение в мир*. Николай Боков. Дни памяти и ночи сновидений. № 6

ШИШКОВА-ШИПУНОВА Светлана — *Одна жизнь Зулейхи Валиевой*. Гузель Яхина.

Зулейха открывает глаза. № 4; «Приеду домой, — ты меня, мама, не буди...». Письма с фронта. Сборник. Составление: Т. Василевская. № 9

ЩЕГЛОВА Евгения — *Вера, истина, справедливость — и дочка Маша*. Леонид Пантелеев. История моих сюжетов. Составление и предисловие С. Лурье. № 4; *Чему бы жизнь нас ни учила...* Лев Разумовский. Нас время учило. № 9

ЩЕКИНА Полина — «И нет нежизни...». Алексей Дьячков. Игра воды. № 5; *Современность и книга*. Игорь Савельев. Вверх на малиновом козле; Игорь Савельев. Зевс. № 6; *Сатирик или реалист?* Вадим Демидов. #Яднаш. № 12

Спектакль. Телеспектакль

ГЕНИНА Анна — *Русский блюз, бессмысленный и беспощадный*. Русский блюз. Поход за грибами. Инициатор похода Дмитрий Крымов. — Москва, театр «Школа драматического искусства». № 3

ГРИГОРЯН Анаит — *Принцип калейдоскопа*. Tate Modern. По пьесе Юлии Савиновской «Tate Modern». — СПб.: Авторский театр. Режиссер Олег Дмитриев. № 2; *Иллюстрация к судьбе*. Крещенные крестами. По роману Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами». — Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург). Режиссер Вениамин Фильштинский. № 4; *Драматургия поэзии и прозы*. Последний котильон. По мотивам произведений Бориса Голлера «Сто братьев Бестужевых», «Вокруг площади», «Петербургские флейты». — Учебный театр «На Моховой» (СПб.). Режиссер Юрий Красовский. № 12

МАТУСЕВИЧ Александр — *Нижегородский эксперимент*. Леонид Клиничев. Анна — Марина. Моноопера. — Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина. Режиссер Андрей Сергеев. № 6

ШУЛЬГИН Алексей — *И «солнечные мальчики» в глазах*. Пьер Паоло Пазолини. Солнечные мальчики. Режиссер Татьяна Стрельбицкая. М.: Дом Балтрушайтиса. № 1

Юбилей

ВЛАД Михал — «О, Осип, Осип — ангел легкокрылый...». № 6

Незнакомый журнал. Знакомый журнал. Незнакомый альманах. Издательство. Незамеченная книга

ГРИГОРЯН Анаит — *Дорога домой*. Заповедник (СПб.). № 8

КОМАРОВ Константин — *Звучная просодия*. Prosodia (Ростов-на-Дону). № 9

ЛОЙТЕР Анастасия — *Экспертное мнение*. Историческая экспертиза (Санкт-Петербург). № 6

ПОДЛУБНОВА Юлия — *Разве читатель хочет становиться чтением?* Здесь (Екатеринбург). № 10

СЕКРЕТОВ Станислав — *Молодежи сюда*. ИЛ-music. № 7

СЕНЧИН Роман — *Городской журнал российского значения*. Сердоболь (Сортавала). № 4

Фестиваль

МАТУСЕВИЧ Александр — *Москва доминирует, Екатеринбург удивляет*. Золотая Маска-2016. Музыкальный театр. № 9

Конференция

КОНДРАШИН Денис — «Мил моему сердцу Чистополь...». Первые Пастернаковские чтения в Чистополе: Международная научно-практическая конференция. № 2

СКАРЛЫГИНА Елена — *Михаил Шишкин в Кракове*. Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкин. Международная конференция. — Краков, 2016. № 8

in memoriam

ЧУПРИНИН Сергей — Памяти Андрея Туркова. № 10

а

АБДУЛЛАЕВ Евгений — №№ 6, 9
АБЕЛЬ Илья — №№ 3, 9
АЙЗЕНБЕРГ Михаил — №№ 2, 3, 4
АЙЗЕРМАН Лев — № 10
АЛАВЕРДОВА Лиана — №№ 1, 10
АЛЕКСЕЕВА Алена — № 11
АМУСИН Марк — № 3
АНДРИЯНОВА Виктория — №№ 8, 11
АНИКИНА Ольга — № 12
АНТОНИЧЕВА Марта — № 2
АРИСТОВ Владимир — №№ 4, 10
АРХАНГЕЛЬСКАЯ Юлия — № 7
АРЬЕВ Андрей — № 9
АСТВАЦАТУРОВ Андрей — № 6

б

БАБИНОВ Олег — № 8
БАЖЕНОВ Виктор — № 10
БАЙТОВ Николай — № 12
БАЛЛА Ольга — №№ 2, 9
БАРУ Михаил — № 8
БАРХИН Сергей — № 11
БАХАРЕВ-ЧЕРНЁНОК Антон — № 8
БЕЗНОСОВ Денис — № 12
БЕЛОМЛИНСКАЯ Юлия — № 12
БЕРЕЗИН Владимир — №№ 1, 7, 10
БЛИЗНЮК Дмитрий — № 8
БОГОМЯКОВ Владимир — № 7
БОЙКО Марианна — № 12
БОЛОХОВ Владимир — №№ 2, 8
БОРОВИКОВ Сергей — №№ 6, 7, 10
БОРОДИЦКАЯ Марина — №№ 11, 12
БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — №№ 1, 4, 5, 6, 10, 11
БУЙДА Юрий — № 5
БУЛКИНА Инна — №№ 2, 5, 12
БУНИМОВИЧ Евгений — № 11
БЫКОВ Леонид — № 10

в

ВАНЕЯН Елена — № 3
ВАСЬКИН Александр — № 5
ВЕДЕНЯПИН Дмитрий — № 1
ВЕНЕДИКТОВА Надежда — № 9
ВЕРГЕЛИС Александр — № 5
ВИДГОФ Леонид — № 4
ВИНОКУРОВ Алексей — № 7
ВИТКОВСКИЙ Евгений — № 1
ВЛАД Михал — № 6
ВОЙНОВИЧ Владимир — № 5

ВОЛКОВ Владимир — № 5
ВОРОНИНА Юлия — №№ 8, 11
ВЫГОВСКИЙ Ян — № 2

г

ГАВАЛЬДА Руслан — № 4
ГАЛКИНА Мария — № 1
ГАЛЬЦЕВА Рената — № 12
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир — № 3
ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — № 7
ГАНИЕВА Алиса — № 11
ГЕНИНА Анна — № 3
ГЛАДКОВ Александр — №№ 3–4
ГОДОВАНЕЦ Юрий — № 10
ГОЛОВАНОВА Наталья — № 5
ГОРБОВСКАЯ Екатерина — № 6
ГОРЕЛИК Людмила — № 11
ГОФМАН Ефим — № 10
ГРИГОРЯН Анаит — №№ 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12
ГРИЦАЕНКО Дарья — № 3
ГРИШИН Константин — № 4
ГРОДСКАЯ Елена — № 10
ГРОССМАН Василий — № 6
ГУШАНСКАЯ Елена — №№ 2, 5, 9

д

ДАВЫДОВ Александр — № 6
ДАВЫДОВ Георгий — № 9
ДАТНОВА Ася — № 12
ДЕЛЬФИНОВ Александр — № 3
ДЕМИДОВ Георгий — № 7
ДЕНИСЕНКО Александр — № 12
ДЕРГУНОВ Александр — № 9
ДОЗМОРОВ Олег — № 3
ДОЛГОПЯТ Елена — № 7
ДОЛИНА Вероника — № 2
ДРАГОМОЩЕНКО Аркадий — № 2
ДРАГУНСКИЙ Денис — № 11

е

ЕВСА Ирина — №№ 5, 11
ЕЛИСТРАТОВ Владимир — №№ 2, 11
ЕРМОЛИН Евгений — №№ 1, 9, 10
ЕРМОШИНА Галина — № 7
ЕРШАНСКАЯ Александра — № 11
ЕСИПОВ Виктор — № 2
ЕФИМОВ Михаил — № 7

Ж

ЖЕРЕБЦОВА Полина — № 6
ЖИВАЕВА Валентина — № 8

З

ЗАБОРОВ Борис — № 3
ЗАХАРОВ Кирилл — № 11
ЗИБЗЕЕВА Ольга — №№ 9, 11
ЗОРИН Леонид — №№ 2, 8
ЗОРИНА-КАРЯКИНА Ирина — № 6
ИВАНИЦКАЯ Елена — № 11
ИВАНОВ Дмитрий — № 4
ИВАНОВ Дмитрий — № 12
ИВАНОВА Наталья — №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
ИВАЧЕВСКИЙ Евгений — № 10
ИГНАТОВА Елена — № 9
ИЛИЧЕВСКИЙ Александр — № 7
ИСАКЖАНОВ Дмитрий — № 9

К

КАБАКОВ Александр — № 8
КАЗАКЕВИЧ Вечеслав — № 10
КАЛЕДИН Сергей — № 12
КАЛЬПИДИ Виталий — № 12
КАНДЕЛЬ Феликс — № 4
КАРЕНИНА Ирина — № 10
КВАДРАТОВ Михаил — № 4
КЕДРИНА Светлана — № 5
КЕКОВА Светлана — № 8
КЕНЖЕЕВ Бахыт — №№ 3, 5
КИМ Наталия — № 5
КИРОВ Александр — №№ 3, 10
КЛИНГ Олег — № 8
КНЯЗЕВ Григорий — № 6
КОВАЛЕНКОВА Настя — № 5
КОЗЛОВА Мария — № 9
КОЛОСОВА Елена — № 11
КОЛЧИН Денис — № 9
КОМАРОВ Константин — №№ 4, 7, 9
КОМАРОВ Юрий — №№ 3, 5
КОНДРАШИН Денис — № 2
КОРИОНОВ Олег — № 2
КОРКУНОВ Владимир — №№ 3, 6, 8, 9
КОРМИЛОВ Сергей — №№ 1, 3, 4, 5, 10, 12
КОРНИЛОВА Галина — № 8
КОРОЛЕВ Анатолий — № 12
КОСТИН Андрей — № 7
КОСТЫРКО Сергей — № 1
КОТЮСОВ Александр — № 5
КОЧЕРГИН Илья — № 8
КОЧЕРГИН Эдуард — № 6
КРАВЧЕНКО Владимир — №№ 3–4
КРУЖКОВ Григорий — № 6

КУРАЕВ Михаил — № 11
КУТЕНКОВ Борис — №№ 4, 6
КУШНЕР Александр — № 6
КЮНЕ Екатерина — № 11

Л

ЛЕВИН Александр — № 11
ЛЕКМАНОВ Олег — № 8
ЛИСНЯНСКАЯ Инна — № 8
ЛИТВИНЕЦ Нина — № 10
ЛОЙТЕР Анастасия — №№ 2, 5, 6, 7
ЛУКЬЯНЧЕНКО Олег — № 9

М

МАРК Григорий — № 6
МАРКИШ Давид — № 10
МАСЛЕННИКОВА Ангелина — № 7
МАТУСЕВИЧ Александр — №№ 6, 9
МЕЛИХОВ Александр — № 10
МОВЧАН Елена — № 3
МОКЕЕВА Мария — № 1
МОЛОДЯКОВ Василий — №№ 3, 6
МОРОЗ Э. — № 3
МОРОЗОВА Татьяна — № 1, 2
МУХАЧЁВ Дмитрий — № 11

Н

НАРЫШКИНА Наталья — № 1
НЕВЗГЛЯДОВА Елена — № 3
НЕКРАСОВА Евгения — № 3
НЕРЛЕР Павел — № 12
НИКОЛАЕВА Олеся — №№ 2, 11
НОВИКОВ Алексей — №№ 7, 11
НОВИКОВ Денис — № 10
НОРДШТЕЙН Михаил — № 8

О

ОГАНДЖАНОВ Илья — № 1
ОГНЕВ Игорь — №№ 2, 7, 8
ОЛЬШЕВСКИЙ Вадим — № 8
ОСИПОВ Максим — № 3, 6, 10
ОСОКИН Артем — № 9

П

ПАВЛОВА Вера — № 1
ПАНАРИНА Татьяна — № 1
ПЕРМЯКОВ Андрей — №№ 4, 10
ПЕТКЕВИЧ Юрий — № 4
ПОДЛУБНОВА Юлия — №№ 10, 11
ПОЛЯКОВ Андрей — № 4
ПОЛЯКОВА Наталья — № 11
ПОЛЯН Павел — № 10

ПОНОМАРЕВА Виктория — № 10
 ПРИХОДЬКО Ксения — № 12
 ПСУРЦЕВ Дмитрий — № 4
 ПУРИН Алексей — № 2
 ПУСТОВАЯ Валерия — № 1

Р

РАБИЧЕВ Леонид — № 5
 РАДАШКЕВИЧ Александр — № 11
 РАМЕНСКАЯ М.Е. — № 8
 РЕЙН Евгений — №№ 10, 11
 РЕЦЕПТЕР Владимир — № 3
 РИЗДВЕНКО Татьяна — № 11
 РУБАНОВА Наталья — № 11
 РУДНЕВ Павел — № 3
 РУМЕР-ЗАРАЕВ Михаил — № 6
 РУМЯНЦЕВА Ольга — № 11
 РУСАКОВ Геннадий — № 7
 РЫБАКОВА Мария — № 10
 РЯШЕНЦЕВ Юрий — № 2

С

САМСОНОВ Сергей — № 10
 САФРОНОВА Анна — № 7
 САФРОНОВА Елена — №№ 1, 11, 12
 СЕКРЕТОВ Станислав — №№ 1, 2, 5, 6, 7, 11
 СЕНЧИН Роман — №№ 4, 5, 8, 9
 СЕРГЕЕВ Слава — №№ 1, 12
 СЕРГЕЕВА Людмила — № 7
 СИДОРОВ Евгений — № 10
 СИМКИН Лев — № 6
 СКАРЛЫГИНА Елена — № 8
 СКВОРЦОВ Артём — № 6
 СКУЛЬСКАЯ Елена — № 1
 СЛАПОВСКИЙ Алексей — № 9
 СОБОЛЕВ Александр — № 8
 СОКОЛОВСКАЯ Наталия — №№ 6, 11
 СОЛДАТОВА Светлана — № 9
 СОЛОВЬЕВ Владимир — №№ 1, 4
 СОЛЮХ Сергей — №№ 1, 10
 СТАВЕЦКИЙ Вячеслав — №№ 3, 5, 10
 СТАРИКОВ Иван — № 12
 СТЕПАНЯН-РУМЯНЦЕВА Елена — № 7
 СТЕПАНЯНЦ Ольга — №№ 1, 7
 СТЕСИН Александр — № 10
 СУРАТ Ирина — №№ 1, 8
 СЫЧИКОВ Яков — № 9

Т

ТАРАЩАНСКИЙ Марк — № 1
 ТОДОРОВСКИЙ Петр — № 5
 ТОПОЛЯНСКИЙ Виктор — № 8
ТУРКОВ Андрей — №№ 3, 5, 10

ТЮНЯЕВА Ольга — № 8
 ТЯЖЕВ Михаил — № 4

У

УЛАНОВ Александр — № 4
 УЛЮКАЕВ Алексей — № 1
 УСТИМЕНКО Алексей — № 8
 УСЫСКИН Лев — № 7

Ф

ФИЛИПЕНКО Саша — № 2

Х

ХАРИТОНОВ Марк — № 3
 ХАФИЗОВ Олег — № 12
 ХОЛМОГОРОВ Михаил — № 6

Ц

ЦИРЕЛЬ Сергей — № 9

Ч

ЧАЙКОВСКАЯ Ирина — № 6
 ЧИКУНОВ Владимир — № 11
 ЧУДИНОВА Вера — № 11
 ЧУПРИНИН Сергей — №№ 2, 4, 6, 8, 10
 ЧУХОНЦЕВ Олег — № 9

Ш

ШАРОВ Владимир — № 11
 ШЕВЧЕНКО Леонид — № 5
 ШЕНДЕРОВИЧ Виктор — № 12
 ШИШКИН Михаил — № 10
 ШИШКОВА-ШИПУНОВА Светлана — №№ 4, 9
 ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь — № 1
 ШУБИНСКИЙ Валерий — №№ 1, 8
 ШУЛЬГИН Алексей — № 1

Щ

ЩЕГЛОВА Евгения — №№ 4, 9
 ЩЕКИНА Полина — №№ 5, 6, 12

Ю

ЮЗЕФОВИЧ Леонид — № 6

Я

ЯКОВЛЕВ Сергей — № 9

Сергей ЧУПРИНИН

главный редактор
(495) 699 52 38, chuprinin@znamlit.ru

Наталья ИВАНОВА

первый заместитель главного редактора
(495) 699 39 60, ivanova@znamlit.ru

Елена ХОЛМОГОРОВА

ответственный секретарь
(495) 699 46 24, holmogorova@znamlit.ru

Евгения ВЕЖЛЯН

отдел прозы
(495) 699 47 84, vejlyan@znamlit.ru

Ольга ЕРМОЛАЕВА

отдел поэзии
(495) 699 42 64, ermolaeva@znamlit.ru

Анна КУЗНЕЦОВА

отдел библиографии
отдел публицистики
(495) 699 52 18, kuznecova@znamlit.ru

Карен СТЕПАНЯН

отдел критики
(495) 699 48 71, stepanyan@znamlit.ru

Ольга ТРУНОВА

отдел прозы
(495) 699 47 84, trunova@znamlit.ru

Елизавета ПОЛУКЕЕВА

корректор

Евгения БИРЮКОВА

допечатная подготовка, производство,
распространение
(495) 699 80 67, (495) 699 29 66
bir@znamlit.ru

Валерий КАЛНЫНЬШ

художник

Людмила БАЛОВА

исполнительный директор
(495) 699-48-98, (495) 699 31 12
buch@znamlit.ru

Марина ГАСЬ

гл. бухгалтер
(495) 699-48-98, (495) 699 31 12
buch2@znamlit.ru

Наталья РОГОЖИНА

компьютерный набор
(495) 699-48-71

Марина СОТНИКОВА

заведующая редакцией
info@znamlit.ru
(495) 699-52-83, (495) 699 29 66

**Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям**

Сайт журнала «ЗНАМЯ»: <http://znamlit.ru>

Электронная версия журнала:

<http://magazines.russ.ru/znamia/>

адрес редакции:

123001, Москва, ул. Большая Садовая, 2/46
(вход с улицы Малая Бронная).
Для справок: (495) 699 52 83,
(495) 699 29 66 т/факс, info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации №20 от 28.08.1990.
Учредитель — трудовой коллектив
редакции журнала «Знамя»
Издатель — ООО «Знамя»

Сдано в набор 15.010.2016.
Подписано к печати 24.11.2016
Формат 70x108 1/16.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз.
Заказ № 2594-2016

Отпечатано в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское ш., д.38
Тел.: (495) 941-28-62, 941-34-72, 941-31-62
www.redstarph.ru, e-mail: kr_zvezda@mail.ru

**Журнал «Знамя» благодарит фонд
«Содействие», который выписал
и направляет часть тиража
в библиотеки экономического профиля**

**Журнал «Знамя» благодарит фонд
«Достоинство» за благотворительную
акцию по безвозмездной передаче 500
комплектов журнала в библиотеки
г. Москвы и Московской области**

**СВЕЖИЕ НОМЕРА «ЗНАМЕНИ»
И НОМЕРА ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО
ПРИБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ**

Метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, 2/46,
вход с Малой Бронной ул., тел. (495) 699 80 67

*Присланные рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Редакция не имеет
возможности вступить в переговоры
и переписку по их поводу, а только извещает
авторов о своем решении.*

*Материалы, поступившие по e-mail, а также
рукописи объемом более 10 авторских листов
(400 000 знаков) не рассматриваются.*

Белла АХМАДУЛИНА. *Неизвестные письма*
Виктор БАЖЕНОВ. *Фотоувеличение*
Наталья БОРИСЕНКО. *А где у вас книжный?*
Вера БУНИНА. *Письма*
Дискуссия «Литература за пределами премий»
Елена ДОЛГОПЯТ. *Русское*
Леонид ЗОРИН. *Бубенчик*
Тимур КИБИРОВ. *Генерал и его семья*
Константин КУПРИЯНОВ. *Новая реальность*

Анатолий КУРЧАТКИН. *Минус 273 по Цельсию*
Майя КУЧЕРСКАЯ. *Голубка*
Владимир ЛИДСКИЙ. *Игра в пепел*
Алексей МАЛАШЕНКО. *Записки отсталого человека*
Максим ОСИПОВ. *Риголетто*
Дмитрий ОРЕШКИН. *Россия наизнанку*
Ольга СЕДАКОВА. *Новый перевод из «Божественной комедии» Данте*
Евгений ЯМБУРГ. *Нет, ребята, все не так...*

новая проза

Юрия БУЙДЫ,
Алексея ВИНОКУРОВА,
Марины ВИШНЕВЕЦКОЙ,
Натальи ГРОМОВОЙ,
Олега ДАРКА,
Дениса ДРАГУНСКОГО,
Александра КАБАКОВА,
Романа КОЖУХАРОВА,
Ильи КОЧЕРГИНА,

Юлии ЛУКШИНОЙ,
Елены НЕСТЕРИНОЙ,
Романа СЕНЧИНА,
Ольги СЛАВНИКОВОЙ,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Михаила ТЯЖЕВА,
Льва УСЫСКИНА,
Саши ФИЛИПЕНКО

НОВЫЕ СТИХИ

Михаила АЙЗЕНБЕРГА,
Николая БАЙТОВА,
Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,
Игоря ВОЛГИНА,
Константина ГАДАЕВА,
Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Екатерины ГОРБОВСКОЙ,
Ирины ЕВСЫ,
Михаила КВАДРАТОВА,
Светланы КЕКОВОЙ,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Тимура КИБИРОВА,
Григория КРУЖКОВА,
Бориса КОЧЕЙШВИЛИ,
Алексея КУДРЯКОВА,

Михаила КУКИНА,
Александра КУШНЕРА,
Марины КУРСАНОВОЙ,
Александра ЛЕВИНА,
Ирины МАШИНСКОЙ,
Олеси НИКОЛАЕВОЙ,
Дениса ОСОКИНА,
Веры ПАВЛОВОЙ,
Андрея ПОЛЯКОВА,
Алексея ПУРИНА,
Евгения РЕЙНА,
Геннадия РУСАКОВА,
Юрия РЯШЕНЦЕВА,
Марии СТЕПАНОВОЙ,
Олега ЧУХОНЦЕВА,
Игоря ШКЛЯРЕВСКОГО

адрес редакции:

123001, Москва

ул. Большая Садовая, 2/46

телефон/факс: 699 52 83

e-mail: info@znamlit.ru